Н. НАРОКОВ

МНИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

Н. НАРОКОВ

МНИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Роман в 2-х частях



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк 1952

Printed in the United States of America

— Правда ли, что мнимая величина, т. е. $\sqrt{-1}$ реально не существует?

— Безусловно. Все остальные величины, целые и дробные, положительные и отрицательные, рациональные и иррациональные, существуют реально. Мнимая же величина реально не существует.

— Однако, возведенная в квадрат, т. е. помноженная **сама на себя,** она становится минус единицей: вполне действительной величиной! Над этим, право, следует задуматься.

— Над чем?

— Над тем, что для своего превращения в действительную мнимая не требует никаких дополнительных величин. Она в самой себе таит загадочную способность превратиться в действительную величину.

(Из случайного разговора).



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

То, что произошло около 5 часов вечера 16 июля 1937 года, сыграло большую роль в жизни Евлалии Григорьевны. А произошло оно так, словно было не только заранее обдумано, но было и тщательно срепетировано.

Автомобиль шел совсем не так уж быстро, и был он, как показалось Евлалии Григорьевне, еще настолько далеко, что она успевала перейти через улицу. Ей ничуть не надо было торопиться, и она свободно могла бы подождать, пока он пройдет, но она, ускорив шаги почти до бега, пошла через улицу, все время смотря не перед собой, а влево, сторожко вглядываясь в автомобиль: не попасть бы под него. Шофер, видя, что она не ждет его проезда, а все же переходит через улицу, взял вправо, под тротуар, чтобы открыть ей дорогу и обминуть ее сзади, но она, в ту же самую секунду, опомнилась и, испугавшись, что не успеет перейти, метнулась назад, к тротуару. Следующие два движения (ее и шофера) были вызваны не рассуждением, а шестым чувством, и шестые чувства обоих пошли совершенно параллельно, отличаясь друг от друга лишь долей секунды: сначала движение шофера, а потом — тут же, сразу — движение Евлалии Григорьевны.

Получалась как будто бы игра. Получалось так, будто бы автомобиль убегал от Евлалии Григорьевны, а она быстро и ловко, как тренированный игрок, повторяла его движения, стараясь во что бы то ни стало попасть под него. И автомобиль, уже потерявший всю скорость и почти уже остановившийся, не-

сильно ударил ее. Она упала. Автомобиль остановился.

И сейчас же подбежали прохожие, сейчас же откуда-то взялся милиционер. А из автомобиля выпрыгнул невысокий, но чрезвычайно плотный и крепкий мужчина с сосредоточенным и повелительным лицом. Следом за ним, сильно хлопнув дверцей, выскочил шофер и подбежал с таким видом, будто он не боится никаких обвинений, а, наоборот, сам готов обвинять всякого и негодовать на всякого.

Евлалии Григорьевне помогли подняться, и она встала на ноги, немного смущенно улыбаясь и стряхивая с себя пыль. Кто-то поднял ее сумочку и подал ей. Она машинально взяла ее, растерянно оглянулась и сделала нерешительный шаг куда-то в сторону.

— Ну? — спросил ее мужчина, выскочивший из автомобиля. — В порядке? Целы?

— Так ведь я же... — в преувеличенном негодовании начал было шофер, горячо наскакивая на Евлалию Григорьевну.

— Погоди, Вася! — остановил его мужчина. — Ушиблись? — сурово и резко спросил он.

— Да, немного! — виноватой улыбкой улыбнулась Евлалия Григорьевна. — Локоть и...

— Скорую помощь надо, — угрюмо и неприязненно сказал кто-то.

— А вы не учите! — не повышая голоса, но очень веско повернулся к нему мужчина. — Здесь и без вас всё знают.

Тон был такой, что сказавший о скорой помощи сразу же осекся и немного попятился назад. Выскочивший мужчина посмотрел на Евлалию Григорьевну и, нахмурив брови, что-то сообразил.

— Садитесь, коли так. Подвезу! — немного недовольно решил он. — Вам куда? Далеко?

— Да я дойду, ничего! — попробовала отказаться Евлалия Григорьевна, чувствуя себя в чем-то виноватой.

— Садитесь! — не слушая ее, коротко и очень беспрекословно приказал мужчина. Он взял ее под локоть и почти насильно посадил в машину, а потом повернулся к милиционеру, который только стоял, но ни во что не вмешивался.

— Номер видел? Записал?

— Записал! — почему-то не совсем уверенно ответил милиционер и с тем же неуверенным вопросом посмотрел на мужчину.

— Ну, и доложишь там у себя! Поехали, Вася! — крикнул он шоферу.

Щелкнули дверцами и поехали. Милиционер посмотрел на собравшихся, которые не хотели расходиться и как будто еще чего-то ожидали.

— Расходитесь, граждане! — очень мирно не то приказал, не то посоветовал он. — Все в порядке.

Шофер на малой скорости проехал с полквартала и оглянулся.

— Куда ж ехать? — очень недовольным тоном спросил он.

— Куда? — повернулся к Евлалии Григорьевне мужчина.

— Мне? Мне, собственно, на Некрасовскую надо, но...

— На Некрасовскую! — приказал мужчина шоферу, а потом посмотрел на Евлалию Григорьевну. — Как же это вас так угораздило? — чуть заметно ухмыльнулся он. — Вы, словно бы, нарочно...

— Испугалась... — созналась Евлалия Григорьевна.

— А пугаться нечего.

Евлалия Григорьевна посмотрела на него сбоку. Лицо было некрасивое, даже чем-то неприятное, властное и, как показалось Евлалии Григорьевне, надменное. Во всех чертах, а особенно во взгляде, было что-то тяжелое, придавливающее и никак к себе не располагающее. В позе чудилась такая уверенность в себе, которая так часто переходит в презрение к дру-

гим. Одет он был не по-советски хорошо: добротно и солидно.

Он посидел так с минутку, а потом медленно повернул голову к Евлалии Григорьевне.

— Служите, небось, где-нибудь? — без любопытства, а только для того, чтобы не молчать, спросил он.

— Да, служу...

— Плановик? Инженер? Учительница?

— Нет, я на машинке. Я — машинистка.

— Ага! Где?

— В облместпроме. Знаете?

— Знаю. Площадь Карла Маркса, 3. У Чубука?

— Да. Он начальник у нас.

— Он — начальник. Не очень прижимает-то?

— Нет. Я ведь... Я его никогда и не вижу.

— Что ж не посмотрите?

Он задавал короткие вопросы и все посматривал каким-то не совсем обыкновенным взглядом: все видящим и все запоминающим. И Евлалия Григорьевна чувствовала, что она почему-то робеет.

— Куда? — слегка повернулся и задержал машину шофер, когда выехали на Некрасовскую улицу.

— Куда? — спросил мужчина Евлалию Григорьевну.

Та словно спохватилась.

— Номер 32-ой... Это вот немного дальше, на правой стороне.

Когда подъехали к дому, мужчина первый выскочил из автомобиля и сделал вид, будто помогает Евлалии Григорьевне выйти. И жест у него получился не вежливый, а деловой.

— Высоко вам? — спросил он. — Я уж вас до самой квартиры доведу.

— Да нет! — слегка сконфузилась Евлалия Григорьевна. — Зачем же? Я и сама дойду, я ведь и не ушиблась вовсе, а так только!

— Подождешь, Вася! — крикнул шоферу мужчи-

на, так пренебрегая несмелыми возражениями Евлалии Григорьевны, как будто их и не было.

Подняться пришлось на 4 этаж. Евлалия Григорьевна открыла дверь английским замком и вошла в темную переднюю. Мужчина вошел за нею.

— Вот сюда, пожалуйста... — не совсем уверенно и все чего-то конфузясь, сказала Евлалия Григорьевна.

Она пошла коридором, в котором было почти совсем темно и очень тесно. Стояли чьи-то шкафы, в одном месте были наставлены друг на друга три поломанные стула, а дальше (тоже один на другом) стояли ящики и корзины, кое-как прикрытые старыми, пожелтевшими газетами, порванными и запачканными. Пахло пылью и кошками.

— У нас много жильцов! — словно извиняясь в чем-то, сказала Евлалия Григорьевна.

— Понятно. Коммунальная квартира. Человек пятнадцать?... двадцать?..

— Да. Вероятно, даже больше. Здесь 6 комнат и... И есть еще одна маленькая, вроде чуланчика, но только она светлая. Там тоже живет одна старушка.

— Где-нибудь жить же надо.

Евлалия Григорьевна подошла ко второй двери и подергала за ручку. Дверь была заперта. Она порылась в сумочке, достала ключ и отперла замок.

— Заходите, пожалуйста!

Мужчина вошел в комнату, снял свою добротную, солидную, видимо, очень недешевую кепку и огляделся. Он не стал рассматривать, а одним взглядом успел все увидеть и, словно бы, сфотографировать: и то, что часть комнаты отгорожена буфетом, шкафом и ширмой, и то, что в другом углу стоит плохо застланная кровать, и то, что мебели в комнате так много, что почти не остается свободного места, и то, что на стенках не было ни портрета Ленина, ни портрета Сталина, и то, что на письменном столе ужасный хаос.

Мебель была старая, но хорошая и когда-то да-

же элегантная, попавшая в эту коммунальную комнату из оседлого уюта старой дворянско-чиновничьей семьи 90-х годов. Она скучно и уныло, но явственно говорила о прошлой жизни, полной довольства, семейственности, уверенности в завтрашнем дне и благодарности за вчерашний день. Она, эта мебель, видела другую жизнь, навсегда ушедшую, умершую и уже истлевшую: она видела многолюдных гостей на блинах и на именинах, видела визитеров на Новый Год и на Пасху, слышала умеренные и спокойные споры о «мелкой земской единице» и о декадентах и помнила тихие семейные вечера, когда в полутемной гостиной мама задумчиво играла грустный ноктюрн, а папа лениво обдумывал: стоит ли покупать «Горностая» у князя Сурожского, и настолько ли «Горностай» резвее его собственного «Орленка», чтобы платить за него полторы тысячи?..

Сейчас вся эта мебель уже одряхлела. Лак везде потускнел, был весь исцарапан, а местами даже облуплен. Резной верхушки на буфете уже не было, а, вместо филенки, в нижней дверце был вставлен кусок некрашеной фанеры. Плюш на диване и на выгнутом кресле был вытерт, местами даже до серой основы, и бархатная скатерть на круглом столике имела вид жеваной и унылой.

— Садитесь, прошу вас! — пододвинула стул Евлалия Григорьевна.

Мужчина слегка улыбнулся, но улыбка не сделала его лица мягким.

— Погодите. Уж если так вышло, что я к вам в гости попал, так давайте познакомимся! — сказал он. — Имя-отчество ваше как будет?

— Евлалия Григорьевна!

— Евлалия? — почему-то удивился мужчина, но не поднял вверх бровей, а, наоборот, сдвинул их. И странное волнение пробежало по его лицу. — Да неужто и в самом деле — Евлалия? — как будто не поверил он.

— Почему вы так изумились? — улыбнулась Евлалия Григорьевна. — Имя, правда, довольно редкое, но...

— Да, редкое! — сказал мужчина чуть-чуть глухо. — И я... Впрочем, это неважно! А вот — фамилия ваша как?

— Шептарева.

— Так. Шептарева. Лет вам, поди, 30 будет?

— Да, 31...

— Ну, вот... А я — Семенов, Павел Петрович. 46-ти лет отроду, партийный, родственников за границей нет! — неуклюже пошутил он, пародируя анкетные вопросы. — И служу я в...

Он неясно пробурчал какое-то длинное составное название, в котором Евлалия Григорьевна поняла только последнюю часть: «...тресте».

— Садитесь, пожалуйста!

Семенов сел и еще раз огляделся.

— Там, наверное, ваш уголок? — кивнул он головой на отгороженную мебелью и ширмой часть комнаты.

— Да, я там с сынишкой, а вот здесь — папа! — показала она на плохо застланную кровать.

— Ваш папа?

— Мой.

— А муж?

Лицо Евалалии Григорьевны немного потемнело.

— Мужа нет...

— Разошлись, что ли? Или репрессирован? — с прямолинейной и уверенной неделикатностью спросил Семенов.

— Он... Его еще два года тому назад арестовали...

— Так, так! — понимающе кивнул головой Семенов. — Сынишка-то большой?

— Скоро пять будет.

И невольная нежность зазвучала в голосе. Семенов взглянул внимательнее.

То, что Евлалия Григорьевна была одета даже

для советских условий скромно и бедно, он заметил и раньше, как и раньше же заметил ее безвольный рот и почти робкий взгляд. Но когда нежность зазвучала в ее голосе, он заметил и другое: то, что она, бесспорно, была сейчас такой, какой бывала всегда. Она хоть и чувствовала себя неловко в его присутствии, но все же была сама собой, и даже неловкость ее была ее собственной.

— А отец служит где-нибудь? — продолжал Семенов свой допрос.

Евлалия Григорьевна даже не удивлялась его бесцеремонному любопытству, потому что он спрашивал так, как будто имел право спрашивать.

— Нет, папа... Он совсем больной! — словно извиняясь за отца, сказала она. — Я служу, а он — нет.

— Стало быть, трудно жить? Ставка-то ведь, поди, ерундовая?

— 240...

— Ну, и вычеты... Заем, подоходный, то да се... На руки сколько выходит? Рублей 200?

— 200...

— Так, так!

Семенов огляделся еще раз.

— А что это я у вас машинки не вижу? Машинистка вы, а машинки у вас и нет.

— Машинки у меня нет! — несмело призналась Евлалия Григорьевна.

— А если частная работа попадется, так вы что, — на местпромовской машинке ее стучите, что ли?

— Нет, я... Как же на местпромовской? Неудобно... — застенчиво улыбнулась Евлалия Григорьевна и опустила глаза.

— Гм! Неудобно! — криво усмехнулся Семенов. — Ходить туда лишний раз, конечно, неудобно, потому что отсюда далеко, и времени надо много терять, а вообще-то... Какое ж тут неудобство?

Евлалия Григорьевна ничего на это не возразила

и только вяло повела плечом: «Да нет, неудобно все-таки!»

Семенов встал, смотря поверх головы Евлалии Григорьевны.

— Ну, вы уж на Ваську моего не сердитесь: он парень шустрый и ловкий, но ведь и на старуху бывает проруха. Так вы...

Ему надо было попрощаться и уйти, но он не уходил, а как-будто ждал еще чего-то. И в глубине его глаз пряталось за твердостью и самоуверенностью что-то скрытное: словно бы недоумение, словно бы вопрос. Глаза смотрели так, как будто они не могут чего-то рассмотреть, а поэтому чего-то и не понимают. А, может быть, совсем и нет того, что надо рассмотреть и понять?

Прошло с полминуты.

— Впрочем, до свиданья! — немного спохватился Семенов. — И на меня тоже не сердитесь! — сделал вид, будто улыбнулся он, но никакой улыбки у него не получилось.

— Ну, что вы! — очень искренно вскинула на него глаза Евлалия Григорьевна. — А вы-то тут при чем?

— Ну, как так — «при чем»? В машине-то ведь я сидел.

— Вы! — очень мягко согласилась Евлалия Григорьевна.

— Ну, стало быть... Впрочем, оно, конечно, неважно! Вот и все. До свиданья.

Он пожал руку и сделал движение, чтобы пойти, но тут же задержался, испытующе посмотрел на Евлалию Григорьевну в упор и вдруг, совсем неожиданно, спросил очень небезразличным тоном:

— А если я к вам еще раз приду? Можно?

Но дожидаться ответа не стал.

— Я загляну! — немного резко бросил он и, словно рассердившись на что-то, вышел.

ГЛАВА II

Шурика (сына Евлалии Григорьевны) не было дома: он был у Софьи Дмитриевны, у той старушки, которая жила «в чуланчике». Когда Евлалия Григорьевна уходила на работу, она отводила Шурика к Софье Дмитриевне, хотя все знакомые советовали ей отдать его в детский сад. Но детского сада Евлалия Григорьевна боялась, и этот страх был у нее довольно сложен.

Когда она еще была беременна Шуриком, она случайно прочитала о том, как в Китае когда-то будто бы делали уродов. Ребенка сажали в толстостенную глиняную банку причудливой формы: то оставляли руки, ноги и голову на свободе, а корпус заключали в банку; то помещали только руки и ноги; то придумывали еще какую-нибудь комбинацию, изощренную и зловещую. Несколько лет, иной раз 8-10, ребенок рос в такой мучительной банке, которая насиловала его естественное развитие, искажала природную пропорцию членов, уродовала эти члены и искривляла одни из них за счет других. Из ста несчастных детей, заточенных в эти банки, 95 умирало, но пятеро чудом выживало. Тогда банку разбивали и извлекали из нее жуткого уродца: или тоненькие ниточки-червячки, вместо рук и ног; или, наоборот, страшные, слоновые, бесформенно разбухшие конечности на тщедушном, хилом, жалком тельце; или громадная, нечеловеческая, чудовищная голова, тупо и бессмысленно приставленная к кошмарному подобию недоразвитого тела, искривленного и измятого.

Евлалию Григорьевну (она всегда помнила это) тогда же охватил страх, в котором было даже что-то мистическое. Страх был сложным и мучительным, и Евлалия Григорьевна, нося в себе Шурика, все старалась забыть о необыкновенной фабрике уродов, не думать о ней.

Когда же Шурик родился, когда она вся наполнилась осветленной любовью матери к голенькому тель-

цу ребенка, такому умилительному, беспомощному и такому до слез любимому тельцу, то к прежнему страху добавился еще и новый: а вдруг ее Шурика заточат в такую банку? Она хорошо понимала, что этот страх — смешной вздор, что таких банок нет нигде, да и вряд ли они когда-нибудь были, даже в Китае. Но страх не проходил и постоянно стерег ее.

Когда ее мужа арестовали (Шурику тогда было три года), она поступила на работу. И сразу возник тяжелый вопрос: что делать с Шуриком? Все говорили ей, что его надо отдать в детский сад, но она колебалась и откладывала.

Через несколько дней случилось так, что она возвращалась со службы домой с одной сослуживицей, Верой Петровной. И Вере Петровне надо было зайти в детский сад, за своим Юрочкой.

— Этот же сад мне совсем по дороге! — с удовольствием говорила Вера Петровна. — Очень, очень удобно! Когда я иду на службу, я Юрочку туда отвожу, а когда возвращаюсь, я его забираю...

Детский сад, действительно, был по дороге, и Евлалия Григорьевна зашла туда вместе с Верой Петровной: «Надо же, в самом деле, посмотреть!» Их встретила воспитательница: милая девушка-комсомолка с красным платочком на голове, со светлыми глазами и с ямочками на щеках. Она так приветливо и так радостно улыбалась безо всякой причины, что всякий, взглянув на нее, начинал тоже улыбаться и радоваться.

— Вы за Юрочкой? — сразу узнала она Веру Петровну. — Я сейчас приведу его!

И убежала легким, девическим бегом, а через минуту возвратилась, ведя Юрочку за руку. Юрочка, увидя маму, вырвался и побежал, обнял маму за колени, пряча лицо в ее юбке, а воспитательница присела перед ним на корточки и стала теребить его: ласково и любовно.

— А вот и Юрочка! А вот и наш Юрочка! Юрочка домой пойдет, да? К мамочке?

Она, все еще сидя на корточках, подняла свое лицо к Вере Петровне.

— Он у вас такой славный, послушный и ласковый! Прелесть! — заулыбалась она. — И умница он такой! Вот он у нас всего лишь пятый день, а посмотрите, как он уже во всем разбирается!

Она торопливо повернула Юрочку лицом к стенке и, показывая ему на портрет Сталина, спросила, стараясь спрашивать серьезно и даже строго:

— Юрочка, а это кто? Кто это?

Юрочка посмотрел по направлению ее руки, немного посопел, но очень послушно ответил:

— ... али!

— А это? А это? — блестя глазами, спросила воспитательница и показала на портрет Ленина.

— ... ени! — сразу ответил Юрочка.

— Видите! Видите! — в восхищении захлебнулась воспитательница. — А это кто, Юрочка? — даже немного испуганно спросила она, поворачивая Юрочку к большому бюсту Карла Маркса.

— ... ар арс! — пропыхтел Юрочка.

Евлалии Григорьевне стало холодно: «Юрочка... в банке!» — с замиранием сердца вдруг подумала она. Еле сдерживая вспыхнувший в сердце знакомый страх, она взглянула на Юрочку и почти увидела, как в этой банке будет изуродована юрочкина душа. Она глянула на славную девушку-комсомолку с радостной улыбкой на веселых губах. «Что она делает? — замирая, подумала Евлалия Григорьевна. — Знает ли она, что она делает?»

И когда Евлалии Григорьевне потом говорили, что Шурика надо отдать в детский сад, что ему там будет хорошо, что там — и досмотр, и уход, и воспитание, она в испуге всполашивалась, хватала Шурика обеими руками и судорожно прижимала к себе:

— Нет, нет! Шурика? Ни за что!

Шурик оставался дома с дедушкой, но Евлалия Григорьевна видела, что на дедушку полагаться никак

нельзя, что Шурик при нем остается безо всякого присмотра и даже сидит голодный, потому что дедушка, когда только захочет, уходит на несколько часов, оставляя Шурика одного. Положение создалось чуть ли не трагическое, но выручила соседка-старушка, Софья Дмитриевна Дивилькова. Она предложила присматривать за Шуриком, пока Евлалия Григорьевна сидит на службе. Евлалия Григорьевна, конечно, с радостью ухватилась за эту возможность, но боялась, что это будет стоить непосильно дорого. Но когда она (конфузясь и запинаясь) завела речь о плате, Софья Дмитриевна даже слегка обиделась:

— О какой такой плате можно говорить? Что вы, Евлалия Григорьевна! Я, слава Богу, дружбой и услугами не торгую!

Так и установилось, хотя Евлалия Григорьевна два раза в год обязательно заготовляла подарок Софье Дмитриевне: на Пасху с красным яичком и 17 сентября по старому стилю.

С дедушкой Шурик никак не мог оставаться. Дело было не в том, что Григорий Михайлович не умел присматривать за ребенком, а дело было в том, что он не хотел присматривать, как он всю жизнь не хотел ничего того, что хотя бы отчасти, хотя бы с какой-нибудь стороны мешало или не нравилось ему. А ему мешало все, что требовало от него неприятной работы. Еще в 1917 году он вознегодовал на революцию: сперва на февральскую, а потом (уж окончательно) на октябрьскую. До революции он служил чиновником особых поручений при к-ском губернаторе и был на очень хорошем счету. А кроме «хорошего счета», у него в Петербурге был дядя, директор одного из департаментов министерства внутренних дел, который (не без основания) метил в товарищи министра и имел в министерстве большой вес. Этот дядя очень благоволил к Григорию Михайловичу и уверял его, что ему «еще и сорока не стукнет, как он будет вице-губернатором». Григорий Михайлович готовился к очень хо-

рошей карьере, но революция все оборвала, все уничтожила, и Григорий Михайлович вознегодовал. Он долго надеялся на то, что «большевики скоро провалятся» и из года в год назначал срок их провала, а сам только злопыхательствовал, проклинал, бессильно угрожал и мечтал о расправе. Сначала он мечтал о расправе только над коммунистами-партийцами, но потом и над «советскими хамами», и над теми, которые «пошли на службу к большевикам», и над теми, которые «до мозга костей просоветились».

Григорий Михайлович даже подумать не мог о том, что надо найти себе работу, и что жить так дальше нельзя. Но он работы не искал: первое время он «принципиально» не хотел работать «на этих милостивых государей», а потом привык к безделью и полюбил его: так легко, когда не чувствуешь на себе никакой обязанности и ни от кого не зависишь. И он очень спокойно и очень удобно жил на то, что удавалось достать Марье Владимировне.

Марья Владимировна, его жена, была на него непохожа. В свое время она окончила только институт благородных девиц в губернском городе, а выйдя замуж, стала только тем, что называлось «барыней», т. е. ничего не делала, а жила на средства мужа и на приличный доход с капитала, который был дан ей в приданое. Но после революции, когда служба мужа кончилась, а капитал был национализирован, и когда настали трудные времена, она ничуть не растерялась, а сумела сразу приспособиться к новой, необычной жизни. В тяжелые годы военного коммунизма, когда в городе все голодали, она ездила в близлежащие села и там меняла сохранившиеся вещи на продукты. В этом деле она проявила и смекалку, и находчивость: умела обходить особо опасные места, где свирепствовали заградительные отряды, умела прятать под вагонами куски сала и масла и даже сумела войти в компанию с одним уездным чекистом, который, «за долю», снабжал ее охранными свидетельствами: продук-

ты, мол, везутся для школы или для больницы. И таким образом муж и дочь (Евлалия Григорьевна была единственная) жили не только не голодая, но даже и безбедно. А во времена НЭП'а Марья Владимировна развернулась еще шире: она начала торговать мехами и драгоценными камнями. Стало совсем хорошо.

Но с отменой НЭП'а и с первой пятилеткой все оборвалось: о торговле и о спекуляции нечего было и думать. Однако, Марья Владимировна не растерялась и тут. Она очень быстро поняла, что наступили новые времена, что надо начать работать. Она ни одной минуты не поколебалась и сразу нашла область, где она могла пригодиться: выручило знание иностранных языков. Она поступила в местный областной отдел госиздательства и занялась переводами. Григорий Михайлович горячо запротестовал:

— Работать на этих милостивых государей? Косвенно поддерживать эту сатанинскую власть? — с преувеличенным возмущением и актерским пафосом упрекал он жену. — Неужели ты думаешь, что я соглашусь съесть хоть один кусок хлеба, заработанный службой у... большевиков!

Но Марья Владимировна хорошо знала своего мужа и не спорила.

— Хорошо! — очень охотно согласилась она. — Если ты не хочешь, я не буду служить у большевиков, и мы будем есть те куски хлеба, которые ты заработаешь службой против большевиков.

Григорий Михайлович пофыркал, но замолчал, а Марья Владимировна начала работать. Работа, конечно, не давала так много, как спекуляция, но жить все же жили. Неприятно было только одно: жить втроем в одной комнате. Но когда в 1930 году Евлалия Григорьевна вышла замуж, то удалось подкупить управдома и получить в той же квартире соседнюю комнату, маленькую, куда и перебрались молодые. Жить стало легче: к заработкам Марьи Владимировны прибавился заработок Вадима Николаевича.

Григорий Михайлович продолжал ничего не делать, а только негодовал и брюзжал. Все в нем вызывало какое-то отвращение: и тактика террора, и манеры «хамской молодежи», и давка в трамваях, и глупая лживость газет, и политика партии. Он стал брюзжать даже на своих старых знакомых, которые, по его мнению, «продались мерзавцам», а поэтому очень скоро раззнакомился со многими из них: «Верхояровы совсем о-боль-ше-вичились!» — «Шураевы откровенно о-со-ветились!»

Он был разборчив и капризен во всем, а особенно в еде. За обедом он брезгливо копался вилкой в тарелке, фыркал и позволял себе даже принюхиваться. Часто он с оскорбленным видом вставал из-за стола и молча уходил в свой угол, бросая сквозь зубы:

— Не понимаю, как можно есть подобную мерзость!

Евлалия Григорьевна вопросительно (даже с испугом) взглядывала на мать, но та спокойно отвечала:

— Не обращай внимания. Папа потом доест.

И действительно: папа, проголодавшись, доедал.

Он всегда был сластолюбив, но раньше он сдерживал себя с женщинами и не позволял себе выходить за известные рамки. Но, распускаясь во всем, он перестал сдерживаться и, пользуясь свободой нравов 20-х годов, вел себя настолько откровенно, что однажды имел пренеприятный разговор в милиции, а в другой раз был избит на улице. Но «иметь женщин на стороне» он считал для себя обязательным, находил, что «это в тоне», что «это стильно», и с первых же годов женитьбы всегда имел «что-нибудь на стороне». В советские же времена его красивая барская внешность, элегантные манеры, слегка раздвоенная бородка, которой никто уж не носил, и приятный баритон (он говорил — «дворянский баритон!») позволяли ему иметь успех, хотя, строго говоря, он к тому времени уже опустился. Достигнув победы, он вел

себя «рыцарем и джентльменом», хотя рыцарство и джентльменство понимал чересчур по-своему: никогда не позволял себе приходить на свидание без цветов и без конфет, но деньги на цветы и конфеты брал у жены.

Он считал себя верующим человеком и неуклонно посещал церковь. Посещение церкви казалось ему обязательным для каждого, кто «не может примириться с этой с-сволочью», и именно в посещении церкви он видел признак своей преданности «славному прошлому». Он ходил в церковь, но Бога в церкви для него не было, а была только тоска по молебнам в царские дни. И то, что «люди теперь забыли Бога», возмущало его не тем, что они «забыли», а тем самым, что возмущало его в словах «даешь» и «шамать».

Но когда антирелигиозная пропаганда стала активной и напористой, и когда посещение церкви стало несомненно опасным, он решительно перестал присутствовать на богослужениях и одновременно с тем стал еще злее ругать большевиков за то, что они «губят Бога в душах людей».

ГЛАВА III

Зятя своего, молодого инженера Шептарева, Григорий Михайлович возненавидел, когда тот был еще женихом, и возненавидел за то, что Вадим Николаевич был, по его мнению, «тип-пичнейшим большевиком». Это ни с какой стороны не было правдой, так как Вадим Николаевич был очень резко и даже немного несдержанно непримирим и к природе большевизма, и к его идеологии, и к его политической системе. Но он никогда не злобствовал и не ругался, не называл советскую власть «собачьей властью», а имя Сталина произносил без эпитета «кровавый».

Григорий Михайлович сперва даже объявил, что он ни за что не допустит этого «про-тиво-ес-тественного мезальянса», потому что «дочь Во-ло-деева не имеет права унизить себя браком с каким-то Шепта-

ренковым» (он очень издевательски умышленно путал фамилию Вадима Николаевича). Но ни Марья Владимировна, ни Евлалия Григорьевна его не послушались и с ним не посчитались, а поэтому он ограничился только фырканьем. Евлалия Григорьевна вышла замуж. Первые три года прошли сравнительно гладко, так как молодые жили отдельно, а заработок Марьи Владимировны стал тратиться только на двоих. Это сразу почувствовалось: Григорий Михайлович начал курить хороший табак и покупать на торгсиновские боны экспортные вина и закуски. В октябре 1932 года родился Шурик, но к его появлению Григорий Михайлович отнесся со своим презрительным равнодушием и безмерно огорчал Евлалию Григорьевну, спрашивая ее пренебрежительно, свысока и как бы мимоходом:

— Ну, как там ведет себя твой молодой Шептаренков?

И неизменно коверкал эту фамилию, поджимая губы с каким-то высшим презрением.

Но в 1933 году все сразу изменилось: в мае умерла Марья Владимировна. Ее смерть ничем не потрясла и даже не огорчила Григория Михайловича, но скоро оказалось, что эта смерть принесла с собой большое осложнение: управдом потребовал, чтобы Григорий Михайлович, как одинокий, не занимал такой большой комнаты, а перебрался в ту маленькую, которая была рядом с уборной. Григорий Михайлович вознегодовал и объявил, что он никогда не был «подкло-зетным жильцом!» Евлалия Григорьевна посоветовалась с мужем, и оба они нашли, что будет очень жалко лишаться большой хорошей комнаты с балконом: «Потом уж никогда такой не получим!» Поэтому и решили перебраться в нее, чтобы жить втроем. «А потом посмотрим!» Григорий Михайлович пофыркал, но согласился: уж больно ему претило стать «подклозетным жильцом».

Но его ожидало еще и другое: безденежье. Хотя

Марья Владимировна всегда и откладывала «на черный день», но Григорий Михайлович не давал много скопить, а поэтому после смерти на книжке оказалось только рублей 700. Григорий Михайлович завладел ими, и они очень скоро оказались истраченными, потому что он с какой-то брезгливостью не отказывал себе ни в дорогих закусках, ни в рюмке дорогого вина, ни в конфетах: он очень любил сладкое. Тогда Торгсины еще не были закрыты, и в них еще можно было достать кое-что. Но все купленное он неизменно съедал сам, ничуть не стесняясь присутствием дочери и зятя. Их он никогда не угощал, величественно не замечая, как Вадим Николаевич и Евлалия Григорьевна переглядывались, когда он выпивал рюмку «Горного Дубняка» и умело закусывал «настоящей ревельской килькой».

Все скопленные деньги очень скоро разошлись, и Григорий Михайлович остался буквально без копейки. С недоумением пересмотрев карманчики уже потертого сафьянового бумажника, он презрительно фыркнул и небрежно обратился к дочери:

— Дай мне 10 рублей... А еще лучше — 20!

Евлалия Григорьевна дала, но немного через силу сказала:

— Это не мои деньги, папа, а вадины.

Григорий Михайлович великолепно отмахнулся:

— Э! все равно!

На другой день Вадим Николаевич был «выходной». Он подождал, пока Евлалия Григорьевна уйдет с Шуриком гулять, а когда остался один с Григорием Михайловичем, то сказал, что хочет поговорить. Григорий Михайлович сразу окрысился и принял свой высокомерно-презрительный вид:

— Поговорить? Чт-то? Чт-то т-такое?

Вадим Николаевич очень спокойно и очень мягко изъяснил, что его ставка всего лишь 750 рублей в месяц, но за вычетами он «получает на руки» немногим больше шестисот. Жизнь же, как это хорошо

знает Григорий Михайлович, очень дорога, а поэтому на такие деньги можно жить только в обрез. Но он понимает, что Григорий Михайлович — взрослый человек, и что ему никак нельзя быть без личных денег «на карманные расходы». А поэтому он, посоветовавшись с женой, решил предложить Григорию Михайловичу ежемесячную «субсидию».

— Много давать я, конечно, не могу, но 25 рублей в месяц я охотно предложу вам. Ну, конечно, все расходы по дому — мои: квартира, еда, стирка... Что там еще?

Григорий Михайлович обиделся, наговорил много почти дерзостей и объявил, что он «на чужой счет жить не умеет и уметь не хочет!» Вадим Николаевич выслушал его так же спокойно и с дружеской интонацией спросил:

— Это очень хорошо... Работать где-нибудь собираетесь?

Григорий Михайлович вспылил еще больше, гордо выпрямился и даже засверкал глазами.

— Во-первых, позвольте вам заметить, что «работают» только мужики и мастеровые, а порядочные люди «служат»-с! А, во-вторых, вы должны знать, что служить этим милос-стивым государям я никогда не стану, потому что у меня есть принципы и сознание моего достоинства, чего, к сожалению, нет у... у вашего поколения. Ни прямо, ни косвенно содействовать этой сатанинской власти я не стану, потому что всякое содействие ей я считаю изменой тем светлым идеалам, которые я ношу в моем сердце со времен моей юности. Да-с!

Но кончилось тем, что брать деньги он согласился, хотя и с таким видом, что он именно соглашается: с неохотой, чуть ли не насильно и только уступая просьбам зятя.

А потом в его жизни произошла какая-то странная перемена: он начал часто отлучаться из дома, и у него стали появляться какие-то деньги. Деньги, ве-

роятно, были небольшие, но все же они откуда-то получались. Конечно, никаких объяснений он не давал и ни о чем не рассказывал, но стал смотреть совсем гордо и независимо. При этом сквозь гордость и независимость иногда просвечивала мучительная смятенность. Евлалия Григорьевна все это чутко подмечала, но ни понять, ни разгадать не могла.

В конце 1935 года арестовали Вадима Николаевича, и вся жизнь Евлалии Григорьевны сломалась: до ареста была одна жизнь, а после ареста началась другая. И самое страшное в этой другой жизни было то, что Евлалия Григорьевна каждую минуту чувствовала себя одинокой и беспомощной. До того одинокой, что она даже не жаловалась, и до того одинокой, что она даже боялась плакать.

Сначала она истерически старалась «хлопотать» о Вадиме Николаевиче и буквально металась от следователей к прокурорам, что-то робко доказывая и о чем-то бессвязно упрашивая. Но видела, что она натыкается на стену, которую ничем нельзя сломать. Старшие ее к себе не допускали, а младшие говорили неопределенно, отвечали односложно и всё отсылали ее куда-нибудь в другое место. Везде смотрели холодно, держали себя замкнуто, недоступно и имели такой вид, будто они во что-то закованы. А месяца через четыре ей объявили:

— Ваш муж сослан за вредительство на 8 лет без права переписки.

Сердце Евлалии Григорьевны сжалось от боли. Боль держалась долго, дни и недели, никак не проходила и все сосала за сердце, особенно по ночам, во сне. Было холодно и страшно. Возможно, что она не выдержала бы и как-нибудь оборвалась, но около нее был Шурик, и обрываться было нельзя. Надо было жить.

Это «жить» состояло для Евлалии Григорьевны из двух частей: «Шурик» и «папа». Было еще и третье — «я сама», но этого третьего Евлалия Григорь-

евна очень чистосердечно не видела, потому что (тоже очень чистосердечно) думала о себе так: «Все равно, как-нибудь!» Но «Шурик» и «папа» (и даже ее собственное «как-нибудь») требовали решения сотни очень простых, но очень трудных задач: чем заплатить за квартиру? на что купить хлеба? нельзя же Шурика кормить одной только картошкой! нужен же папе табак!..

Немного выручило то, что Вадим Николаевич за 10 лет работы скопил на книжке около трех тысяч. Но в первые же два месяца чуть ли не половина денег у Евлалии Григорьевны разошлась, и ей стало ясно: надо поступать куда-нибудь на работу. Помог один из старых знакомых, с которым Григорий Михайлович был в ссоре: он приискал Евлалии Григорьевне место машинистки в облместпроме. Ставка была очень маленькая, но жить больше было не на что. Евлалия Григорьевна не умела рассчитывать бюджет: этим занималась мама, а потом Вадим Николаевич. Теперь же ей надо было это делать самой, и надо было рассчитывать очень маленькие деньги, а это было особенно трудно: для этого нужно особое умение, которое дается только опытом, опыта же не было. К тому же, все неумелые расчеты Евлалии Григорьевны постоянно срывались Григорием Михайловичем, который чересчур часто обращался к ней со своим презрительным видом и небрежно бросал:

— Есть у тебя 5 рублей? Дай, пожалуйста...

Евлалия Григорьевна не умела отказывать, да и не могла отказывать отцу. Она только испуганно взглядывала на него, тотчас же хваталась за свою сумочку и начинала поспешно рыться в ней.

— Пять рублей? Да, да! Кажется, есть... Возьми!

Григорий Михайлович брал и тем же тоном рассеянной небрежности бросал:

— Мерси.

Евлалия Григорьевна была непрактична, а поэто-

му никогда не знала, сколько у нее денег. И удивлялась, что деньги исчезают так быстро, хотя она «ничего-ничего себе не позволяет». И действительно, она настолько ничего не позволяла себе, что ходила на службу пешком (минут 40 ходьбы), потому что боялась истратить деньги на трамвай. За утренним чаем она не позволяла себе съесть лишний кусок хлеба: «а, может быть, папе на вечер нехватит?» Но деньги все же исчезали, и на последнюю неделю перед получкой их никогда нехватало. Тогда Евлалия Григорьевна, упрекая себя, шла в сберегательную кассу и брала из остатка сбережений то 30, то 50 рублей, с ужасом думая, что и эти деньги исчезают.

Один раз она случайно заметила, что у нее из сумочки пропало 10 рублей. Она весь вечер сидела дома, следовательно, ни потерять, ни истратить их не могла. Она настолько искренно не поняла этой пропажи, что сказала о ней Софье Дмитриевне, а та сначала ничего не сказала, посмотрела на нее сердитым взглядом и отвернулась.

— Деньги-то без ног... Сами не ушли! — буркнула она через минуту. И было в ее тоне что-то многозначительное.

И Евлалия Григорьевна как-то сразу поняла: «Папа!» — быстро подумала она, но тут же испугалась своей мысли и залилась краской стыда: как она посмела подумать это про отца!

А за обедом она видела, как Григорий Михайлович закусывал свою рюмку водки «Дальневосточными сардинами», изо всех сил ядовито ругая «эту плотву в подозрительной юшке, которую великий Сталин велит считать сардинами в масле!» И она с напряжением старалась не смотреть ни на отца, ни на эти сардины.

Однажды случилось неприятное. Григорий Михайлович принес к обеду какую-то жестяную банку с красивой этикеткой: большой красный рак и непонятные надписи на английском языке. Он поставил бан-

ку на стол, эффектно отступил на полшага назад и показал на нее круглым движением руки, как-то по-особенному выворачивая пальцы:

— Вот! Видишь? И посмотреть приятно... Импортная вещь!

— Что это? — невольно заинтересовалась Евлалия Григорьевна.

— Омар! — с деланной небрежностью сказал Григорий Михайлович, словно подчеркивал: «Что ж в нем такого! Мало ли я ел омаров!»

— Омар? — изумилась Евлалия Григорьевна. — Откуда?

— М-м-м... — скривился Григорий Михайлович. — Это я случайно!.. Маленький подарок, так сказать...

Он положил себе на тарелку кусок омара, долго примеривался вилкой и, наконец, отломил от него маленький кусочек, протянув его дочери.

— Попробуй! Это совсем неплохо, чорт возьми!..

Это было, кажется, первый раз, что Григорий Михайлович предложил дочери что-то из «своего». И Евлалии Григорьевне стало неприятно, хотя ничего неприятного и не было. Она отломила крошечный кусочек и проглотила его, но тут же быстро повернулась к Шурику:

— Хочешь? Вкусно!..

— Ну, уж пожалуйста!.. — кисло скривился Григорий Михайлович. — Рылом он еще не вышел, чтобы омары есть! Совсем это не для него!

Евлалия Григорьевна хотела вскрикнуть или вскочить, но не вскрикнула и не вскочила. А Григорий Михайлович, с чувством прожевывая свой кусок, стал нудно говорить о том, что нельзя метать жемчуг перед свиньями, нельзя показывать курице сикстинскую Мадонну и нельзя развивать в детях «низменные, животные инстинкты, в том числе и чре-во-угодие». Евлалия Григорьевна сперва сжалась в комок, а потом не выдержала: обильные слезы полились по щекам. Шурик увидел их, дернулся на стуле и тоже заплакал.

— Прекратите эти комедии! — резко поднял голову Григорий Михайлович. — Что за безобразие! Даже поесть спокойно не даете!

Евлалия Григорьевна сдержала себя, успокоила Шурика и без слова докончила обед. А ночью она тихо плакала, что есть силы стараясь не разбудить ни папу, ни Шурика.

Жить с Григорием Михайловичем было трудно и тяжело. Евлалии Григорьевне всегда казалось, что в комнате холодно, неуютно и тоскливо, а поэтому она старалась уйти к Софье Дмитриевне: там было легко и просто.

Софья Дмитриевна была совсем одинока: ее сына расстреляли в ЧК еще в 21 году, а невестка куда-то уехала и «за другого вышла... или, кажется, за других!» Жила она очень бедно, на небольшие деньги, которые ей регулярно и точно присылала какая-то племянница из Ленинграда, но никогда не жаловалась и не унывала. О своей прежней жизни она не любила рассказывать, и Евлалия Григорьевна знала только то, что ее покойный муж был некрупным помещиком: «200 десятин он имел... Ничего, жить было можно!»

К Евлалии Григорьевне Софья Дмитриевна относилась не то, чтобы покровительственно, а с какой-то теплой и совсем необидной жалостливостью, как к незадачливому цыпленку, которого все обижают и заклевывают. Тон ее всегда был ласковый, и взгляд ее был тоже ласковый. И скоро она перестала называть Евлалию Григорьевну по имени-отчеству, а стала называть ее «голубенькой».

— Почему «голубенькая»? — светлой улыбкой протестовала Евлалия Григорьевна.

— А уж этого я не знаю! — сознавалась Софья Дмитриевна. — Но только я без ошибки вижу: голубенькая вы!

Григория Михайловича она явно не любила. Когда ей приходилось говорить с ним (а говорить с ним

она избегала), она говорила сурово, отрывисто и коротко. И этой своей нелюбви она от Евлалии Григорьевны не скрывала:

— Связал он вас, голубенькая! По рукам и по ногам связал! Разве ж я не вижу? И было бы вам, голубенькая, много-много легче, если бы его, скажем, не было или не стало!

Евлалия Григорьевна не спорила и не возражала, а только поднимала глаза и робко просила:

— Софья Дмитриевна! Не говорите так!..

ГЛАВА IV

Происшествие с автомобилем скоро забылось. Забылся и Семенов. А больше всего забылось, совсем забылось его «я загляну!» Поэтому Евлалия Григорьевна почти откровенно удивилась, когда он однажды (недели три спустя) пришел вечером к ней. Григория Михайловича не было дома.

Семенов позвонил 3 раза, как это было указано в специальном расписании звонков на входных дверях («Володееву и Шептаревой — 3 звонка»), но Евлалия Григорьевна звонка как-то не услышала, и дверь Семенову отворил кто-то из жильцов. Семенов сам прошел по коридору, подошел к двери, крепко и коротко стукнул костяшкой среднего пальца, но ответного позволения не стал дожидаться, а вошел сразу после стука: не разрешения попросил, а только предупредил — иду, мол.

— Вы дома? — спросил он, останавливаясь в дверях и хмуро (или это только показалось Евлалии Григорьевне?) смотря перед собою.

— О, пожалуйста! — сразу смутилась, но очень приветливо ответила Евлалия Григорьевна и пошла навстречу. Шурик, как стоял, так и остался стоять, недоверчиво поглядывая на Семенова: он не привык видеть посетителей.

— Я не за делом, я в гости! — сказал Семенов и оглянулся во все стороны: куда бы положить порт-

фель? Евлалия Григорьевна глянула и заметила, что портфель был из прекрасной желтой кожи, с солидными застежками и, вероятно, очень дорогой. У нее тоже был портфельчик (еще вадин), над которым Вадя постоянно подшучивал, уверяя, что он — из тараканьей кожи.

Семенов поставил свой туго набитый портфель прямо на пол, прислонил его к буфету и выпрямился.

— Ну, здравствуйте! — сказал он, слегка улыбаясь своей неулыбчивой улыбкой и протягивая руку.

Рука была мягкая, нерабочая, но большая и сильная. И когда он пожимал руку Евлалии Григорьевны, та почувствовала, что ее рука почти совсем утонула в его ладони.

Он смотрел и улыбался, но его лицо от такой улыбки не светлело, а продолжало быть твердым, напряженным и хмурым. Глаза смотрели тяжело, с неприятной, въедливой пытливостью.

— Садитесь, пожалуйста! — неуверенно сказала Евлалия Григорьевна и пригласительно пододвинула стул. Посмотрела на беспорядок на столе: Шурик только что поужинал, и на столе было неубрано, а на клеенке, как это было всегда, когда Шурик пил чай, было круглое мокрое пятно от блюдечка.

Семенов очень свободно и совершенно независимо сел.

— Не обращайте внимания, — сказал он, заметив смущенный взгляд Евлалии Григорьевны и кивая ей на мокрое пятно. — Дело житейское.

Но Евлалия Григорьевна схватила из-за буфета тряпку и быстро вытерла стол. Семенов немного подождал.

— А я к вам в гости! — сказал он, когда и она, наконец, села. — Но не потому, что хочу посидеть с вами или, как говорится, языком почесать, а иначе... Я и раньше, Евлалия Григорьевна, хотел заехать к вам, да времени никак не было. Я ведь так занят, что и сказать не могу.

Он замолчал и посмотрел на Евлалию Григорьевну. А та опять смутилась: Семенов помнил ее имя-отчество, а она совершенно забыла. Павел, кажется? Или нет — Сергей Петрович? Она немного растерялась.

— Я все насчет автомобиля этого самого... — слегка наклонил голову Семенов. — Оно, конечно, пустяками все кончилось, но надо вам знать, что мне до сих пор неприятно, что Васька вас тогда толкнул, и я чуть было не раздавил вас. И все мне кажется, что...

— О, какие пустяки! — чистосердечно перебила его Евлалия Григорьевна. — Я и забыла совсем!

— А я вот не забыл! — спокойно и попрежнему хмуро сказал Семенов. — Это у меня внутри сидит, а если внутри, так тут уж никто ничего не поделает. Оно — вроде, как бы заноза.

Что-то больное и беспокойное заметалось у него в глазах, а по лицу пробежали тени. Он не совсем уверенно посмотрел на Евлалию Григорьевну, но увидел ее ясный взгляд и словно бы приободрился.

— Я, надо вам знать, когда-то железнодорожным машинистом был и, стало быть, на паровозе ездил! — доверительно и почти дружески сказал он, слегка понизив голос: так ближе. — Давно уж это было! И случилось один раз со мною такое дело, что я человека переехал. Еду я, знаете, на товарном, но скорость большая, потому что на уклоне было. И выглянул я в окно. Сам не знаю, зачем. Так просто. И сразу увидел: человек прямо по полотну идет и (глухой, что ли?) ничего не слышит. Совсем близко: сажени 3-4... Ну, пять, скажем. Я было за гудок, я было за ручку тормоза, да где уж там, сами понимаете. Тут ведь — секунда! И сразу же — бряк я его паровозом! Бряк и... И вот, как вы хотите, так и понимайте, но только когда паровоз на него налетал и через него всеми своими пудами переезжал, так я все это... чувствовал! И не только сердцем, а прямо вот всей своей кожей

чувствовал. Словно это совсем не паровоз человека давит, а сам я его в кашу давлю. И даже под ногами-то, под подошвами чувствую, как это я его давлю. Оно, конечно, миг один, но я в этот миг такое переживал, будто человек этот не под паровозом, а подо мной хрустит, и будто это мои вот каблуки его кишки плющат. Понимаете? Можете такое понимать? И когда я все это почувствовал, то меня сразу же так замутило, что я, извините, тут же выблевал, вот оно как. Кочегар спрашивает: «Что такое?» — а я и ответить не могу. Только уж когда на станцию приехали, так я ему рассказал. «А я, говорит, и не видал! Я и не заметил даже!» Где ж заметить? Заметить, конечно, невозможно, а я вот... заметил! И как кости дробились, и как мясо плющилось, и как кишки выдавливались, все заметил! А чем это я заметил, не знаю. Не глазами же!

Он поднял глаза.

— И вот, хотите — верьте, хотите — нет, а мне паровоз тогда сразу опротивел. И не опротивел даже, а я его вроде, как бы бояться стал. Я и ушел. На другую работу ушел. И было это давно, еще до революции, а я и до сих пор помню, как я живого человека на смерть собою задавил. Много со мной после этого всякого было, и многих я потом на смерть задавил, но я со всем этим не считаюсь, а вот тот случай до сих пор помню.

Он дернул плечом.

— И вот — вас чуть было не задавил! — с каким-то значением добавил он.

Евлалия Григорьевна посмотрела широко раскрывшимися глазами.

— Я понимаю это... — тихо сказала она.

— Понимаете! — уверенно и очень непоколебимо подтвердил Семенов. — Такие, как вы, умеют понимать это самое!

— Какие «такие»? — почти робко спросила она.

— Вот я к вам и хотел заехать! — не отвечая на

ее вопрос, продолжал Семенов. — Знаете, зачем? На вас живую хотел посмотреть. Живая ли вы?

— Живая! — улыбнулась Евлалия Григорьевна.

— Ну, и ладно! — словно бы успокоился, но почему-то и нахмурился Семенов. — Коли живая, так и ладно.

Он огляделся.

— А отца дома нет, что ли?

— Нету... А вы помните, что у меня отец есть?

— Я все помню! — небрежно махнул он ладонью. – Память у меня цепкая. Посмотрю на кого или услышу что, — помню. Кого как зовут, кто как одет, — все помню. А вы, поди, забыли? — вдруг догадался он. — Как меня зовут-то, забыли? А?

— Забыла! — тихо призналась Евлалия Григорьевна.

Семенов усмехнулся, и что-то нехорошее мелькнуло в его усмешке, какое-то презрительное — «Эх, вы!» И он твердо повторил:

— Семенов. Павел Петрович.

— Ах, да! — сразу вспомнила Евлалия Григорьевна. — Павел Петрович. Это — как Павел 1-й... Теперь уж не забуду!

— По царю помнить будете? — еще хуже усмехнулся Семенов. — Ну, ладно, по царю вспоминайте, коли по мне не можете.

Он резко поднялся со стула.

— Стало быть, все! — сказал, как припечатал, он. — Посмотрел: живая? Живая! А коли живая, так мне делать здесь больше нечего.

Он нагнулся, рывком схватил с пола свой тяжелый портфель и так же рывком выпрямился.

— И я вашему малышу гостинец привез. Можно?

То, что ему нужно было посмотреть на «живую» Евлалию Григорьевну, и гостинец, который он привез с собою, чем-то ударили Евлалию Григорьевну: какой-то первобытной дикостью и нескладной грубостью. Она слегка отшатнулась.

— Ну, что вы! — вспыхнула она. — С какой же стати? — нашла она штампованное возражение.

— А я так... Я — без «стати».

Он открыл портфель и вытащил из него пару детских коньков на роликах.

— Импортное! Немецкое! — со стуком хлопнул он коньками друг о дружку. — Умеешь на роликах кататься? — повернулся он к Шурику.

Тот несдержанно схватился за коньки, хотя Семенов еще и не выпускал их из рук, и быстро посмотрел на мать. А Евлалия Григорьевна не знала, что надо сказать и что надо сделать.

— Но, право же... — неуверенно начала было она, но Семенов, не слушая ее, всунул коньки Шурику в руки.

— Учись кататься! Только на дворе учись, а не на улице: на улице тебя раздавят. И пацанам не давай, в момент поломают!

— Но... Но... — почти взмолилась Евлалия Григорьевна.

— И никакого «но» тут нет! — буркнул Семенов. — Все в порядке! А мне теперь уходить надо, потому что времени совсем нет. Работищи-то у меня, я ж вам говорю, — вагон! Ну?

Посещение Семенова чрезвычайно удивило Евлалию Григорьевну: не для того же он приходил, чтобы рассказать о том, как паровоз раздавил человека, и не для коньков Шурика. В его приходе было что-то скрытое и словно бы тяжелое, даже немного болезненное, но что именно, — Евлалия Григорьевна никак не могла понять.

Григорий Михайлович выслушал ее рассказ о посещении Семенова со своей обычной брезгливостью.

— Кто такой? — спросил он немного свысока.

— Не знаю... — замялась Евлалия Григорьевна. — Семенов, Павел Петрович. А кто такой, я не знаю.

— Ну, и дура!

Григорий Михайлович сдвинул брови и над чем-

то задумался. А потом, видимо, решил: всмотрелся в дочь и коротко бросил с усмешкой:

— Влюбился!

Евлалия Григорьевна вспыхнула.

— Ну, что ты! — вскинула она глаза. — Ну, как можно говорить такое!

Григорий Михайлович еще раз усмехнулся и еще раз внимательно всмотрелся в дочь. Красива она или некрасива? Он никогда не думал об этом, и такого вопроса он себе никогда не задавал, так как ему было совершенно безразлично знать, красива ли Евлалия Григорьевна. Но сейчас он посмотрел на нее по-новому, стараясь оценить. Но оценить он не мог: такие лица, красивые своей простотой, глубиной и чистотой, его никогда не прельщали. «Размазня без изюминки!» Он не понимал, что у Евлалии Григорьевны было то лицо, о котором по первому взгляду говорят — «Ничего особенного!», но на котором второй взгляд останавливается долго, а третий начинает любоваться тихим и немного грустным любованием. Она не могла возбудить неудержимую страсть, но всякому было бы больно обидеть ее.

«Этот Семенов, несомненно, какой-то высокопревосходительный грандсеньор с партийным билетом!» — подумал Григорий Михайлович и незаметно для себя начал строить планы, не замечая, что они были нечистоплотны. «Но ведь Лалка дура! Лалка ведь ужасная дура!» — со вздохом подумал он.

Софья Дмитриевна, которая, не любя Григория Михайловича, никогда и ни в чем не была с ним согласна, выслушав рассказ Евлалии Григорьевны, лукаво прищурилась и подтвердила:

— Влюбился он в вас, голубенькая! Влюби-ился!

ГЛАВА V

На другой день, когда Евлалия Григорьевна возвратилась с работы, Григорий Михайлович встретил ее с таким намекающим видом, будто собирался ска-

зать ей нечто хоть и лукавое, но приятное и даже веселое. Она, очень усталая, еще не успела снять шляпку и осмотреться, как он подмигнул ей и показал глазами на то, что стояло на его письменном столе, и чего она еще не успела увидеть.

— А? — еще раз подмигнул он. — Каков презент? В мое время влюбленные подносили предметам страсти жемчуга и бриллианты, а в ваше сверхидиотское время...

Евлалия Григорьевна посмотрела, поняла, и ей сразу стало обидно, хотя ничего обидного не было. На столе стояла пишущая машинка в черном жестяном футляре. Сверху лежал конверт.

— Явился сегодня днем какой-то милостивый государь, — пояснил Григорий Михайлович, — и принес вот это. Я стал было его спрашивать, но он только бурчал себе под нос что-то не-чле-нораздельное и сказал, что в письме все сказано.

И он передал дочери письмо. Евлалия Григорьевна очень неуверенно взяла конверт и, заранее ожидая чего-то неприятного, разорвала его.

«Мне нужно чтобы вы напечатали мне одну роботу, — стояло в письме. — А т. к. у вас машинки нет то пусть вот эта покаместь постоит у вас. П. Семенов».

Евлалия Григорьевна тихо и даже очень осторожно положила письмо опять на футляр машинки и, не говоря ни слова, отошла немного в сторону. А Григорий Михайлович протянул руку и, не спрашивая разрешения, прочитал письмо. Потом усмехнулся со своим презрительно-брезгливым видом, допуская в этой улыбке и что-то покровительственное, одобрительное.

— Ни одной запятой, «вы» с маленькой буквы, «робота» через «о» и «покаместь» с мягким знаком на конце! — подчеркнул он.— Грамотность вполне советская, и почерк, мягко выражаясь, невыработанно-хамский, но...

Он поднял глаза на дочь и, переменив тон, сказал с деловым видом:

— Но если у него, в самом деле, есть для тебя работа, то подработать лишний рубль тебе будет, право, неплохо.

Он еще днем, как только принесли машинку, не утерпел, вскрыл конверт и тогда же ядовито подметил все ошибки и «хамский» почерк. Немного же подумав про себя, решил, что «Лалка дура», и что она, чего доброго, «начнет кочевряжиться», стесняться и отказываться, а поэтому надо ее заранее убедить: «Очень спокойно и совершенно по-деловому».

Когда он думал, он не считал нужным стесняться в выражениях: ни «дура», ни «кочевряжиться» ничем не претили ему. Да и при домашних он позволял себе быть вульгарным и только при посторонних старался быть изысканным и старомодным в словах.

— Он не пишет, когда зайдет с этой «роботой», — начал он, — но надо полагать, что он по-то-ропится. Вероятно, завтра или послезавтра. Ну, что ж! Во всяком случае, ты проследи, чтобы в комнате было чисто и... Одним словом, чисто!

Но в тот вечер Семенов не пришел.

Когда Евлалия Григорьевна на другой день возвратилась с работы, она сразу увидела нечто новое в комнате: на стене, прямо против входной двери, висел портрет Сталина, без рамки, но наклеенный на паспарту. Она вопросительно посмотрела на отца. Тот ничуть не смутился, а ответил величественно-небрежным взмахом руки с легкой гримасой:

— Э! Надо же этому твоему Семенову кость бросить: пусть грызет и наслаждается!

И через минуту добавил другим тоном:

— Да и неудобно, все-таки, знаешь ли... Везде этот идиотский культ Сталина, «отец народов» и прочая пошлость, а у нас... Еще подумают, чего доброго, будто мы отмежевываемся, будто мы...

Евлалия Григорьевна ничего не ответила, но ей стало неприятно, словно она (именно — она) сделала что-то нехорошее и нечестное. Она прошла к себе

за ширму, но даже и там, не видя портрета, чувствовала, что он здесь есть и чем-то мешает ей.

Она все думала о том, следует ли ей брать ту работу, о которой писал Семенов? Она без тени сомнения угадывала, что никакой работы у него нет, что он только придумал что-то, нарочно придумал, чтобы помочь ей. Это не работа, это скрытая помощь, и больше ничего. Не думая, не рассуждая и не взвешивая, она отдавалась только своим ощущениям, а они приводили ее к решению, которое казалось ей несомненным: когда Семенов предложит ей работу, она очень деликатно откажется от нее.

— Вот так и сделаю... Именно вот так и сделаю!

Она уложила Шурика спать, а сама села штопать чулки. Григорий Михайлович поморщился.

— И совсем напрасно это! — поджал он губы.

— Нужно же починить.

— Да, но не сегодня же! Ты словно нарочно. Придет нужный человек, и — такой пейзаж! Впрочем, он, вероятно, сегодня уж не придет: девятый час. А? Как тебе кажется?

— Не все ли равно?..

— Все равно, конечно, но...

Семенов все же пришел. И чуть только Григорий Михайлович услышал три звонка (он все время прислушивался), как тотчас же сорвался с места и, даже ударившись боком о край стола, почти бегом, на цыпочках, кинулся в переднюю. И через минуту Евлалия Григорьевна услышала его голос: он кого-то вел по темному коридору и не только предупредительно, но даже искательно, говорил, противно слащаво и словно бы в чем-то извиняясь.

— Тут стулья навалены и... и корзины! Осторожнее, прошу вас: такая пыль, что... И лампочки в коридоре нет: чуть только мы, жильцы, купим, так сейчас же кто-то... присвоит. Хе-хе!

И Евлалия Григорьевна почти не узнала его голоса: какой-то льстивый тенорок, вместо самоуверен-

но модулирующего баритона. А его «хе-хе» совсем больно кольнуло ее.

Семенов вошел в комнату. Евлалия Григорьевна знала, что он сейчас войдет, но все же покраснела, а от этого и смутилась. Семенов подошел к ней и поздоровался со своим обычным видом: безо всякого признака приветливости, а спокойно и уверенно. Поздоровался и сел, не дожидаясь приглашения. «Ни за что не возьму эту работу!» — быстро подумала Евлалия Григорьевна.

Семенов огляделся. Он сразу заметил на стене портрет Сталина, которого раньше не было, и дернул бровями, но спросил о другом:

— Машинку получили?

— Да, спасибо! Но я...

— У меня тут работа есть! — не слушая ее, сказал Семенов. — Можете перепечатать? Листов 400, кажется, будет.

— Я... Но я, право...

— Она не к спеху, но будет лучше, если вы поторопитесь, потому что есть и другая. Работы вообще много, и оплачивается она хорошо. Там — (он неясно кивнул головой куда-то в сторону) — там денег много и жильничать не любят. Вот!

Он достал из портфеля толстую рукопись и положил перед собой.

«Надо отказаться, вот сейчас же надо отказаться!» — торопливо подумала Евлалия Григорьевна, но голос Семенова был тверд, и толстая рукопись смотрела уверенно. И голос и рукопись подавляли ее, и она слегка заметалась, но промолчала.

— В одном экземпляре и — вот как здесь! — сказал Семенов и положил ладонь на рукопись.

Он только положил, но Евлалии Григорьевне показалось, что он придавил эту горку бумаги, а вместе с тем, придавил и ее саму: ее мысли и ее волю.

— Я у них аванс взял! — спокойно продолжал Семенов. — Может быть, понадобится вам? 200 руб-

лей. А когда перепечатаете, тогда и полный расчет. Они по два рубля с листа платят.

Он достал из бумажника деньги, положил их на рукопись и присунул все это к Евлалии Григорьевне. А та, даже не пытаясь сопротивляться, опустила глаза: ей не хотелось только одного, чтобы Семенов подумал, будто она смотрит на деньги.

— За месяц справитесь? — деловито спросил Семенов.

— Я...

— Я через месяц пришлю к вам за нею! — отстраняя своим безапелляционным тоном всякие возражения, закончил Семенов. — За бумагу и за копирку представите особый счет. Так справитесь за месяц?

— Я... Я, вероятно, успею недели через три, но... — через силу выдавила из себя Евлалия Григорьевна. — Но я не знаю...

— Не обещай! — мягко и чуть ли даже не нежно остановил ее Григорий Михайлович. — Если бы ты целые дни была свободна, тогда, конечно, и через три недели ты смогла бы... Но ведь ты целые дни на службе сидишь... На работе, то-есть! — быстро поправился он. — Поэтому ты сможешь перепечатывать только по вечерам, и...

— Ах, да! — сообразил Семенов. — Это, конечно, так: заняты вы. Вот если бы... Впрочем, ладно: подумаю. Я ведь про что говорю? — обратился он к Евлалии Григорьевне. — Ведь чем скорее вы кончите, тем для вас же будет лучше, потому что работы там много, и вы здорово подработать сможете. Но если вам целые дни в вашем местпроме торчать, тогда, конечно... Впрочем, подумаю!

Григорий Михайлович сел, наконец, на стул и пригладил ладонями скатерть перед собой. Жест (ему казалось) был очень независимый. Семенов слегка повернулся к нему и быстро, бегло, мельком, но в то же время очень пристально взглянул на него и тотчас же сдвинул брови, что-то припоминая или что-то

соображая. Потом глянул еще раз и, вероятно, что-то припомнил, потому что усмехнулся особенно, понимающе, словно говорил себе: «Ага! Вот оно что!»

— Работаете где-нибудь? — не совсем приветливо спросил он.

— Я? Нет! — немного неуверенно ответил Григорий Михайлович, спокойно не замечая этой неприветливости. — Я сейчас не работаю, потому что...

Он немного замялся, подыскивая причину.

— Надо ведь, знаете, чтобы кто-нибудь в доме оставался! — пояснил он. — Хозяйство, хоть и небольшое оно у нас, но все-таки... Ну, и ребенка не на кого оставить.

— Ладно! Вам виднее! — совершенно безразлично отвернулся от него Семенов. — А это, — спросил он Евлалию Григорьевну, показывая головой на портрет Сталина, — а это у вас что же? Новость?

— Нет, почему же новость? — не давая дочери ответить, весь заколыхался Григорий Михайлович. — Он постоянно здесь висит у нас, но... но...

И, не найдя подходящего «но», повернулся к дочери:

— Ты, может быть, угостила бы нас чаем!

Евлалия Григорьевна рванулась было, но Семенов остановил ее, и опять же по-своему: твердо и непререкаемо.

— Нет, не надо чаю! — сказал он. — Я сейчас пойду.

— Ну, что так! Посидите! — приветливо запротестовал Григорий Михайлович, поглядывая на дочь и досадуя на то, что та все время молчит. «Не умеет она! Совсем не умеет!» Готов он был даже подтолкнуть ее.

— Времени нет! — хмуро ответил Семенов, посмотрел на часы и тотчас же поднялся со стула.

Григорий Михайлович, проводив его в переднюю, вернулся очень быстрыми шагами.

— Но это же прекрасно! Это же прекрасно! —

восхищенным тоном сказал он, опять перейдя на свой «дворянский» баритон. — Тут, стало быть, рублей на 800 выходит! — совсем радостно показал он на рукопись.—И ты, конечно, постарайся перепечатать это недели в две, потому что он и еще работу даст. Это чудесно! Это прямо-таки чудесно! А? Разве не чудесно?

Евлалия Григорьевна почти не слышала его. Она сидела, уронив руки на колени, и все старалась понять: как это вышло, что она не сказала ни одного слова отказа, а согласилась взять работу? Ведь она же не хотела брать ее. Почему же так вышло?

ГЛАВА VI

Ефрем Игнатьевич Любкин был назначен начальником Областного управления НКВД недавно: месяца два тому назад. В управлении говорили, что он получил какие-то особые и чрезвычайные полномочия от самого Ежова, что у него есть в Политбюро «сильная рука», что его назначили в управление со специальной целью «подтянуть», и что он после того получит новое, очень высокое и ответственное, назначение «по иностранной линии».

В управлении все уже давно ждали этого «подтянуть», потому что ясно было: в Москве управлением не только недовольны, но и считают его зараженным чем-то вредным и даже вражеским. Прежний начальник упдавления был не просто смещен, но был арестован и тотчас же отправлен в Москву, а вместе с ним было арестовано и отправлено в Москву два начальника отделов и несколько старших уполномоченных. В чем было дело, и почему их арестовали, никто толком не знал, а говорить вслух и догадываться открыто было опасно. Поэтому догадывались тайно, молча: рисовали себе мрачные картины и ожидали страшного для себя. Но проявлять свой страх тоже боялись и поэтому пересаливали: старались казаться беззаботными, веселыми и даже по-странному легкомысленными. Это могло броситься в глаза, но

оно никому в глаза не бросалось, потому что все, словно сговорившись, старались притворяться одинаково. Некоторые же не выдерживали притворства и вели себя нервно, неровно, даже чуть ли не истерически. А те немногие, которые старались держать себя в руках, стали чересчур замкнутыми, хмурыми, сосредоточенными и начали смотреть на всех остальных со странной пытливостью, с невысказанным вопросом и с тайной угрозой в настороженных глазах.

Так было в тот сравнительно кратковременный промежуток времени, который лежал между арестом бывшего начальника управления и назначением Любкина. Но с этим назначением все и сразу изменилось.

«Своих людей» Любкин привез только двоих: Павла Семеновича Супрунова, который был назначен его заместителем, и личного шофера, угрюмого, молчаливого и всегда полупьяного.

О Любкине и о Супрунове в управлении знали мало. Знали только, что оба они, еще в 1920 году, были посланы на работу в ЧК, и с тех пор беспрерывно работали в органах ЧК-ГПУ-НКВД, что было большой редкостью. Работники этих органов через несколько лет работы, обычно, не выдерживали и настолько сильно заболевали нервным расстройством (или даже сходили с ума), что становились негодны ко всякой работе. Другие, может быть, выдержали бы и больше, но они таинственно исчезали по никому не известным причинам, и о них старались больше не говорить. Если же и говорили, то с какой-то непередаваемой, многозначительной недоговоренностью, на что-то намекая, что-то подчеркивая, но ничего до конца не договаривая.

Приняв назначение, Любкин недели две ничем не обнаруживал себя и ни во что не вмешивался. Все шло по-старому, но, вместе с тем, все чувствовали себя как-то на редкость неуверенно и вели себя как бы с оглядкой, как бы чего-то опасаясь. Через две же недели всем стало ясно, что приглядываться Любкин

умеет, и что свое управление он уже изучил: если не во всех деталях, то правильно и крепко.

Приглядевшись же, он созвал оперативное совещание.

К 8-ми часам все были на местах в большом зале. Сидели в рядах, сталпливались кучками в проходах, перекидывались словами или просматривали газеты. Курили очень много, даже чересчур много, и дым, колыхаясь, стлался вверху неровными, медленно спутывающимися полосами. Некоторые хмурились и откровенно нервничали, а некоторые пробовали осторожно подшучивать над собою, пряча под шуткой непонятную тревогу и щемящее предчувствие.

Ровно в 8 часов Любкин, в форме комиссара госбезопасности 1-го ранга, с тремя орденами и в до блеска начищенных сапогах, вошел через заднюю дверь и прямо подошел к длинному столу, за которым во время торжественных заседаний обычно помещался президиум. Вместе с ним (немного сзади) вошел Супрунов. Любкин остановился у середины стола, оперся на него обеими ладонями, слегка перекинул свое немного грузное тело вперед и, прямо держа выбритую голову с оттопыренными ушами, негромко, но четко поздоровался:

— Здравствуйте, товарищи чекисты!

В зале пробежал гул ответного приветствия. Супрунов, подобранный и бесстрастный, посмотрел на собравшихся и сел у края стола, сбоку. И очень многие видели в его позе настороженную сдержанность, в которой была открыто видна сила.

— Я, товарищи, вас долго не задержу! — так же негромко начал Любкин. — Речей произносить не стану, и прений мы здесь открывать не будем, а что нужно вам знать, о том скажу. И говорить я буду прямо, а если кому-нибудь что-нибудь не понравится, так я, предупреждаю вас, с этим считаться не стану.

Он на минуту остановился и посмотрел на всех.

И в том, как он посмотрел, все увидели большую власть: уверенную и подавляющую.

— Начну с того, что работа нашего управления и само наше управление ни к чорту не годятся. В Москве мне прямо сказали, что наше управление, почитай, на последнем месте по наркомату, и это совершенно правильная оценка. И, стало быть, мне надо с вами ругаться, и ругаться открыто, по-чекистски, но я ругаться не буду, потому что не в ругани сейчас дело. Дело сейчас в том, чтобы с завтрашнего дня все пошло по-иному, и оно по-иному пойдет, будьте в том уверены. А если у кого-нибудь оно по-иному не пойдет, то я и тогда ругаться не буду, а сделаю коротко: раз — и в дамках! Объяснений и оправданий выслушивать не стану, на всякие объективные причины буду плевать, а буду прямо хватать субъективных виновников за шиворот и посылать их в подвал. А оттуда — вы ж это знаете! — только две дороги: или прямо к стенке, или туда, куда Макар телят не гонял... А это для нашего брата хуже стенки!

Он сказал все это негромко и даже не очень сильно, но сказал так, что все почувствовали: будет именно так, как он сказал. А вместе с тем, почувствовали и другое: почувствовали, что каждому даже хочется, чтобы было именно так, как он сказал, потому что хочется подчиниться и ему и его словам. Смутно и непонятно почувствовалось, что если жизнь столкнула тебя с Любкиным, то только в подчинении ему — путь и выход. Сопротивление — губящая и задавливающая тяжесть, а подчинение — спасительное избавление. По лицам присутствующих пробежали странные тени, кое-где подняли голову и начали прислушиваться сосредоточеннее, напряженнее и добросовестнее.

— Ну-с! — продолжал Любкин. — Сначала два слова, так сказать, принципиального порядка. Скажу коротко, без размазывания, а вы ловите на лету и понимайте сразу. Работа управления, — начал он слегка отчеканивать, — должна быть вся построена на прин-

ципе партийного централизованного демократизма. Понятно? Бюрократизм вырву с корнем, либеральничанье вырву со всеми корнями, а антипартийные уклоны вырву так, что и земли не останется, в которой эти корни были. Полная и чистосердечная коммунизация всего управления, вот к чему мы должны привести наше дело. Начну с чистки личного состава. Здесь у вас уже взяли под ноготь кое-кого, но этого мало: воздух проветрить надо радикально, чтобы никакой вони здесь не было. Бестолковым не буду, зря громить не стану, а все остатки ягодовщины уничтожу, в этом не сомневайтесь. Антипартийность и малейшую связь с троцкистско-бухаринским охвостьем истреблю жестоко, чтобы внуки и правнуки помнили. Отделу кадров я уже приказал: совместно с парткомом, составить на каждого, без исключения, двойную характеристику: партийную и деловую. Судить буду по обеим. Вот!

Он принял руки со стола и выпрямился. В зале стало совсем тихо.

— Партия ставит перед органами НКВД государственную задачу первостепенной важности: уничтожить всех врагов народа. Всех: сегодняшних и завтрашних. Если кто думает, будто он понимает, кто такие эти враги народа, и будто он понимает цель поставленной задачи, пусть думает это: греха в том нет, но и надобности, скажу прямо, тоже нет. А если кто ничего не понимает, то это и лучше: пускай не понимает. Но пусть он на своем непонимании и остановится, пусть не доискивается: ему же будет легче. Разъяснять никто ничего не станет, потому что не такая это задача, чтобы ее вслух разъяснять можно было. То, что было месяц или два тому назад, — это все одни только цветочки, ягодки же начнутся с завтрашнего дня. И будут эти ягодки такие, что, может быть, всем страшно станет, но... — подчеркнул он паузой, — но, повторяю, задача эта — государственная, и задача эта — первостепенной важности. И во имя ее, надо уничтожить

не только всех врагов народа, а и всех, кто с врагами одним воздухом дышал. Понятно?

Он замолчал, минутку подумал, а потом вышел из-за стола и стал ближе, впереди стола, у самого края невысокой эстрады. Он видел, что сотни глаз смотрят на него и не могут оторваться, зачарованные тем, что поднялось перед ними. Никто даже не курил. Совсем не высокий, Любкин, когда он подошел к краю эстрады, стал казаться большим и даже громадным: он подавлял. А он, совсем не думая об этом, неизвестным чувством чувствовал, что он сейчас всех держит в руках. И каждый из этих всех, в свою очередь, чувствовал на себе эти руки, чувствовал силу, перед которой он сам — ничто. Не Любкин был этой силой, сила стояла за ним, невидимая, неопределенная и даже без имени. Но она ощущалась каждым, как ощущается безмерная тяжесть той скалы, которая нависла над тобою, и которая (ты знаешь это!) готова каждую минуту рухнуть на тебя.

Подавляло то, что у силы нет ни имени, ни лица. Не было в ней и страсти. Смутно чудилось, будто в ней есть идея, но идея невысказываемая и непостижимая.

Лампочки в люстре горели ярко, но казалось, что в зале все больше и больше сереет, что залу затягивает мутная мгла.

— Работать станем по-новому! — продолжал Любкин. — И себя щадить в работе уж никак не придется. Видали, как лошадь сдвигает с места тяжелые сани, которые примерзли к снегу? Все мускулы, все жилы, все кости напрягает, душу в хомут вкладывает, копытами, как когтями, за кочки цепляется: что есть духу рвет! вон из духа рвет! Вот так и мы должны будем работать. Вы скажете, что лошадь может так напрягаться только пять или десять секунд, а потом выбьется из сил. Так то — лошадь! А мы — чекисты. И работать вот так, с полным напряжением сил, нам надо будет не пять или десять секунд, а все

время, месяц за месяцем. Об усталости вы мне лучше не говорите, а о нервах лучше сами забудьте. Ежедневно арестовывать минимум по пять человек на отделение! — начал отсчитывать и отчеканивать Любкин. — Начальнику мест заключения в недельный срок приготовиться к приему и представить мне план размещения арестованных. О площади пола и о кубатуре не вспоминать, а пихать в камеры, пока стены выдерживают. Машины для перевозки арестованных брать на производствах, шоферов брать там же, под личную ответственность начальников кадров и секретарей партячеек. Выслать всех людей на объекты и потуже завинтить им гайки под хвостом. Приготовить в особом порядке анкеты на всех лиц иностранного происхождения и на всех, кто с ними хоть в чем-нибудь связан. Главный удар — предупреждаю! — будет по антипартийным элементам в самой партии и по буржуазным националистам. Наша первая задача: прочистить всю область, со всеми ее учреждениями, советскими и партийными. Вот! Следствий не затягивать, говорильню не заводить, обвинения оформлять по-стахановски, иначе у нас скопится столько арестованных, что образуется пробка, которая нас самих в бутылку заткнет. Как вы будете добиваться признаний и оговоров, — это ваше дело, я в ваши способы нос совать не буду, но и учить вас не буду. Мое дело маленькое: не мешать вам, а с вас самих семь шкур драть. Проклятий, слез и крови не бойтесь, а вот невыполнения задания до ужаса бойтесь. Но, — грозно поднял он голову, — но помните раз навсегда, твердо помните и ни на минуту не забывайте: относительно методов следствия, какие бы они у вас ни были, я ничего вам не разрешаю и ничего вам не приказываю. Понятно? Если потом придется за эти методы отвечать, то отвечать будете вы, а не я. При неумелом следствии неумением отговариваться не сметь: специальные курсы проходили? инструктаж имели? опытом обменивались? То-то же!

И вы так и знайте: я всякое неумение буду рассматривать, как умышленное нежелание выполнять партийное задание, как злостный саботаж и как нарочитое потворство врагам народа, т. е. как вредительство на боевом фронте НКВД. Пересолить не бойтесь, а вот если кто-нибудь недосолит, так тот пусть сам за револьвер хватается и сам скорее стреляется. Не иначе.

В притихшем зале никто не двигался. Сила, стоящая за Любкиным, ощущалась все сильнее, все осязаемее. Но чем сильнее и чем осязаемее ощущалась она, тем непонятнее она становилась. Все сидевшие в зале были коммунистами, членами коммунистической партии, и у каждого в кармане был красный партийный билет. Но все слушали Любкина, смотрели на Любкина и все начинали понимать: коммунизма в этой зале нет, коммунизм здесь не нужен, коммунизм — только слово вчерашнего дня, которым сегодня еще клянутся, чтобы завтра им проклинать. За плечами Любкина колыхалось бесформенное, но несомненное, громадное и беспощадное. Оно невидимо накатывалось на всех, и каждый знал: оно подавит. И каждый почти физически ощущал: смысл всего, что есть и что будет, только в накатывающейся силе. Это она определит жизнь каждого и всех вместе. Как имя этой силы?

Любкин говорил совсем недолго. Наметил распорядок дня («на сон — от 6 утра до 12 дня!»), приказал выработать смены в секретариате и в комендатуре, сказал несколько слов о кокаинистах («нюхать эту пакость я им не запрещаю, но когда они ослабеют, я первый их с ног повалю к чертям собачьим!») и почти сразу оборвал. С полминуты проверил себя: все ли сказал? Немного ослабил свое тело и добавил тихо, почти дружественно:

— Расходись, ребята. Больше говорить не о чем. Нужные инструкции получите у начальников отделов, технику работы обсудите с ними же, а здесь болто-

логией заниматься нечего. Конец. Товарищу Сталину, — повысил он голос, — наше чекистское ура!

Все сразу встали с мест и подхватили его «ура». Тянули крик долго, стараясь не смолкать и не затихать, и кричали как можно громче. Но Любкин слышал: в крике не было ни порыва, ни захвата, а было что-то другое, не совсем понятное. Он слушал то затихающий, то опять вздымающийся крик и все крепче сжимал, почти в ниточку сжимал свой рот, буравя глазами ряды людей.

А те всё кричали. И как-то странно, до жути странно, — никак не могли остановиться. Сначала они кричали, просто подчинившись призыву кричать, но потом в каждом из них возникло что-то, порожденное чуть ли не их криком: им начало казаться, будто в этом их крике «ура» есть спасение от чего-то, как будто этот крик есть убежище от всего того, что сказал и, главное, от того, чего не сказал Любкин. И в этом убежище можно хоть на время спрятаться. Как будто та злая сила, которая накатывалась на них, остановится и будет обминать их, пока они долго и громко кричат «ура». А когда они остановятся, то злая сила посмотрит им в глаза и будет — ужас. И они всё кричали, сами не понимая, почему они кричат, и почему они никак не могут остановиться.

Любкин стоял у края невысокой эстрады и пристально всматривался в передние и в задние ряды чекистов, кричащих «ура». Сам он не кричал, а только бегал буровящим взглядом по лицам людей и не то что-то проверял, не то старался во что-то вникнуть, не то просто выжидал. Потом слегка, чуть заметно, дернул левым плечом и отступил на шаг назад. Постоял и послушал еще секунд десять. А потом не резко, но решительно повернулся.

— Пойдем! — кивнул он Супрунову и, не дожидаясь конца крика, вышел.

И чуть только закрылась за ним дверь, «ура» сра-

зу сбилось, скомкалось и затихло. Все зашевелились, стали поворачиваться друг к другу и даже сходили с мест, но словно бы еще не решались выходить из залы. Очарование все еще не проходило, и поэтому казалось невозможным уйти отсюда. Но вот какие-то двое или трое открыли дверь и вышли. Тогда все потянулись к двери. Выходили молча, не обмениваясь ни словом, а только искоса вглядывались друг в друга вороватым и быстрым взглядом. Всем вдруг захотелось как можно скорее облегченно сказать «Ф-фу!» и уйти к чему-нибудь другому, а не оставаться с тем, что было в этой зале. Чуть ли не в каждом было одно: завтра — будь, что будет, а сейчас надо сбросить с себя что-то придавившее, уйти, заснуть, забыться или же напиться тупо и дико, чтобы пьяным бредом отогнать от себя другой беспощадный бред, бред незнаемой силы.

ГЛАВА VII

Любкин, действительно, устроил себе спальню рядом со служебным кабинетом и совсем переселился в управление: никакой личной жизни, только работа. Из управления он выезжал редко, и всегда так, что никто не знал (кроме Супрунова), куда он едет и надолго ли. Ездил он только «со своим» шофером, который упорно и тупо молчал обо всем, и которого расспрашивать опасались: за открытую слежку за начальником нагорит. Но всё же пронюхали, что Любкин «завел себе бабу», которой устроил квартиру в Доме Писателей и к которой ездит раза два-три в неделю. Но о подробностях разузнавать не решались.

В середине августа он съездил в Москву. Но пробыл там недолго: всего несколько дней. Ожидали, что по возвращении он опять созовет оперативное совещание и опять что-то скажет, но он ограничился только тем, что созвал начальников отделов и всю ночь говорил с ними.

Но на другой же день стало известно: предстоят

большие аресты среди военных чинов округа. Об этом говорили очень коротко, насильственно-обрывисто, вполголоса, и вопросительно взглядывали друг на друга. А взглянув, пожимали плечами и поскорее отворачивались один от другого, словно боялись сегодня заглянуть туда, куда завтра надо будет смотреть так пристально.

Вечером Любкин позвал к себе в кабинет Супрунова. Тот, подойдя к письменному столу, стал в выжидательной позе, почти в почтительной позе подчиненного, держа руки по швам. Но ни в позе, ни в выражении его лица не было никакого искательства, а была только служебная готовность и подчеркнутая субординация. Несмотря на долголетнюю близкую дружбу с Любкиным, Супрунов всегда держал себя с ним именно так, когда приходил по служебному делу. Любкин подшучивал над этой его манерой, но Супрунов упорно придерживался ее.

Про Супрунова говорили, что он — «службист», и он любил быть службистом: исполнительным, четким и холодно корректным. Был он весь подобран и скомкан в аккуратный, даже красивый кусок. Роста невысокого, но плечист и мускулист. Движения мерные, уверенные: никогда ничего лишнего. Голос ровный и спокойный, глаза холодные и пристальные. Форма сидела на нем ладно и даже щеголевато, был он всегда очень гладко и тщательно выбрит и старательно причесан на пробор: волосок к волоску. Руки большие, сильные, цепкие и хваткие, с необыкновенно твердыми, безукоризненно чистыми ногтями, заботливо отточенными миндалевидно.

Улыбался он редко, а когда улыбался, то лицо становилось неприятным. Говорил ровно и не только никогда не кричал, но даже и не повышал голоса. Ни с кем из подчиненных в лишние разговоры не вступал, говорил только о деле, говорил коротко, толково, и сам требовал такой же короткости и толковости, резко обрывая попытки установить те фа-

мильярные отношения, которые легко устанавливались между коммунистами-партийцами.

Про него говорили (и даже с несомненной уверенностью), будто он «из раньше», т. е. будто он происходит из очень хорошей барственной семьи. Уверяли, будто он был капитаном царской гвардии (называли даже полк), но все это было вымыслом, хотя Супрунов под этот вымысел подходил. На самом же деле, был он из очень бедной деревенской семьи («Не в избе, а в землянке жили!» — иногда вспоминал он) и окончил одну лишь церковно-приходскую школу. И только в послереволюционные годы он выработал и отшлифовал себя.

Любкин поднял глаза. Увидев позу Супрунова, он улыбнулся.

— Нет, нет, Павлуша! Я не по служебному позвал тебя, я... так!

Супрунов, казалось, даже не пошевелился, но все признаки субординации разом исчезли из его позы и из выражения лица: он стал свободным. Любкин, обеими руками опираясь о край стола, грузно поднялся.

— Поговорить бы хотелось! — словно бы колеблясь или сомневаясь, сказал он, осматривая кабинет. — Туда, что ли, пойдем! — кивнул он головой на другую часть комнаты. — Бери-ка кресло!

Оба взяли в руки по креслу и отнесли их подальше от письменного стола. Любкин знал, что в его кабинете где-то спрятан микрофон, и что кто-то, по чьему-то приказу, подслушивает все, что говорится здесь. О микрофоне он никого не спрашивал и ни с кем не говорил, кроме Супрунова, но всегда чувствовал раздражение и даже злобу, когда вспоминал «этого шпиона», потому что микрофон унижал его. «Хвост-то и тебе, брат, прижимают!» — с отвращением думал он, почти физически ощущая этот прижатый хвост. «А вот за тем, который за мной следит, — за тем следят ли? — как можно ядовитее спрашивал он

себя и злорадно отвечал: — Само собой, что и за тем следит какой-нибудь другой. А за тем — третий. И за самим Ежовым тоже следят...» Он взглядывал на большой портрет Сталина, который висел на стене, и еще более злорадно подмигивал: «И за тобой, товарищок, следят. Следя-ят, не беспокойся!» И с совсем уж злой ухмылкой заключал про себя: «Социализм ведь строим, без шпионов никак нельзя!»

Кроме Супрунова, у него не было близкого человека. Супрунов же был «совсем свой». Еще в гражданскую войну они тесно сблизились и с тех пор не разлучались, а всегда работали вместе. «Хоть ты переразбольшевиком будь, а без друга невозможно!» — уверенно думал Любкин, с удовольствием чувствуя, что и он сам — друг для Супрунова. Но в последнее время (год, не больше) между ними образовалась какая-то щелочка, из которой тянуло холодком. Впрочем, может быть, никакой щелочки и не было, но Любкину иногда казалось, что Супрунов его не одобряет: молчит, но осуждает.

Помня о микрофоне, Любкин, когда хотел в управлении поговорить с Супруновым, поговорить откровенно, «по душам», сам уходил в его кабинет или же забирался с ним в тот дальний угол своего кабинета, в котором (он был уверен) микрофона быть не могло: «Не везде ж они эту дрянь натыкали!» — понимающе соображал он. Но в том, что надо забираться в дальний угол, говорить вполголоса и прятаться, он чувствовал унижение.

Кресла поставили рядом, очень близко друг к другу, и сели. Любкин наклонился к самому уху Супрунова.

— Расскажи мне про Яценко! — тихо сказал он. — В чем там дело?

Яценко был уполномоченный III-го отдела, который застрелился в те дни, когда Любкин был в Москве. Это самоубийство произвело большое и очень неприятное впечатление в управлении, но о нем не толь-

ко не говорили, а, наоборот, делали вид, будто совсем не интересуются им. И делали этот незаинтересованный вид совсем не оттого, что обдумали и решили, что вот именно так и надо вести себя, а делали его инстинктивно, безо всякого обдумывания и решения, само по себе, подчиняясь своеобразному рефлексу.

Супрунов ответил не сразу.

— Дело темное! — безо всякого выражения сказал он.

— Все же? — настойчиво посмотрел на него Любкин.

— Если коротко сказать тебе, так он, надо полагать, просто не выдержал, вот и все. Как Кустолев тогда... Помнишь? Подробно установить трудно, потому что вел себя Яценко очень скрытно, а если что кому и говорил, так... Разве ж тот скажет? — усмехнулся Супрунов.

— По работе за ним ничего такого не было?

— По работе чист.

Любкин подвигал челюстями, во что-то вдумываясь.

— Нехорошо! — скривился он.

— Это ты насчет того, что наши чекисты не выдерживают? — догадался Супрунов. — Тут уж ничего не поделаешь. Это — необходимый отсев. Отходы, так сказать, производства. По-моему, обращать особого внимания не следует: случай-то ведь единственный, больше никто не стреляется.

— Стреляться не стреляются, а... выдерживают ли? — и Супрунова и самого себя спросил Любкин. — Нутром выдерживают ли? Ты ж понимаешь, что я в ребятах должен быть на все сто уверен, потому что дело у нас начинается большое. Говорил ведь я тебе, сам знаешь. И гайку я завинчу крепко, очень крепко. Так выдержит ли кишка у них?

— Должна выдержать! — скривился Супрунов и нехорошо выругался.

— Тут ведь одного послушания или, скажем,

страха за себя мало. Тут нужно, чтобы в ребятах была уверенность. Понимаешь ты? Уверенность в том, что все это нужно. Губим мы людей, сами сознаем это, но — нужно!

— А в тебе или во мне эта уверенность есть? — колко посмотрел на него Супрунов.

— Во мне одна уверенность есть! — спокойно и очень полновесно ответил Любкин. — Возвращаться назад мне некуда. Никакого «назад» у меня нет. Даже на одном месте стоять я не могу, а могу только идти, и только — вперед.

— Само собою. Большевик иначе и не может.

— Очень ребята зверствуют на следствиях-то? — совсем понизил голос Любкин, но в тоне его голоса был только деловой интерес, а больше ничего.

— Кто как! — сдвинул брови Супрунов. — Конечно, добиваются признания, как умеют, но больше только бьют, а на всякие другие фокусы мало кто пускается. Бузук и Саламатов, — те, действительно, неистовствуют, а остальные сдерживаются. Бьют, а, между прочим, оглядываются: а что, если потом за это отвечать придется? Ведь ни приказа, ни разрешения нет.

— И не будет! — тихо, но сумрачно буркнул Любкин. — В случае чего, на ребят всё свалят: превышали, мол, свою власть.

— То-то и оно-то.

— То-то и оно-то! — подтвердил Любкин. — С колокольни спрыгни и в сапоги ногами попади, не иначе.

Супрунов встал с места, потушил верхний свет и зажег настольную лампу. В комнате стало почти совсем темно. Он прошелся по кабинету и остановился посередине.

— А зачем это все? — немного настойчиво, но ровно и без чувства спросил он.

— Что — «все»?

— Да вот это, что мы делаем и что будем де-

лать. Кампания эта ежовская... Зачем она? Какая цель? Знаешь?

Любкин молчал: тяжело и понуро.

— Знаешь? — переспросил Супрунов.

Любкин пошевелился в кресле.

— Кто ж это знает! — ответил он, наконец. — Этого никто не знает. Я вот в Москве тоже спрашивал: зачем?

— Ну?

— Ну, и вижу: никто не знает. Я чуть ли не два десятка разных объяснений выслушал и, в конце концов, вижу: если сейчас самого Ежова или Сталина спросить, зачем они этот погром устраивают, то они и сами ничего объяснить не сумеют. Потому что тут не разум и не план, а вроде, как бы инстинкт.

— Что же? Сам-то ты как понимаешь?

— Я-то? Я так понимаю: послушание. А еще вернее — подчинение.

— Подчинение? — переспросил Супрунов. — Чье подчинение? Кому?

Любкин перевел на него глаза.

— Вообще! Не «чье», а — вообще. Ты сам рассуди, Павлуша. Вот, скажем, колхозы. Для чего их ввели? Объяснение, конечно, есть: надо всякое зерно государственным сделать. Оно, конечно, правильно, объяснение это, но ведь зерно государственным сделать можно и иначе: мужиков не разорять, в Колыму их не посылать и тысячами не расстреливать. И я так понимаю: государственное зерно, — это не настоящее (он очень сильно подчеркнул это слово), а настоящее в том, чтобы мужик почувствовал: что с ним хотят, то и сделают, а сам он ничего поделать не может, и даже пальцем пошевелить у него возможности нет.

— Дальше! — немного нахмурился Супрунов.

— Или, скажем, возьмем стахановщину... Ты думаешь, ее для повышения производительности труда ввели? Повышение, конечно, правильная цель, но...

не настоящая! Настоящее, Павлуша, в том, чтобы рабочий знал: должен он работать вот так-то, т. е. постахановски, а не как-нибудь иначе, не по-своему. Надо ему в башку вбить, что никакого «по-своему» у него нет и быть не может, совсем нет, никогда нет. Настолько нет, что никакое «по-своему» ему и сниться не должно. Правильно я говорю?

— Дальше! — еще сильнее сдвинул брови Супрунов.

— А дальше все то же. Вот на заем из года в год заставляют подписываться. Зачем? Чтобы средства собрать? Наша страна, Павлуша, богатая, средства мы и без займов собрать можем, это цель не настоящая, а настоящая цель займов в том, чтобы каждому во все его нутро втемяшить: «Приказали тебе на заем подписаться, ты и подпишешься! Приказали тебе при этом «ура» кричать, ты и кричишь! И даже охотку чувствуешь это «ура» кричать. И никакой мысли, чтобы «нет» сказать, в тебе уже нет, и никогда ее в тебе не будет!» Людям в мозг, в сердце и в шкуру вколачивают такое сознание, что ты, мол, не только не можешь чего-нибудь своего хотеть, но даже и не хочешь хотеть.

— Дальше! Дальше! — немного изменил своей сдержанности Супрунов и немного нервно перебрал пальцами по бархату кресла.

— А дальше ничего и нету: всё. Но только в этом уж подлинно — всё. Настоящее, оно в том, чтобы 180 миллионов человек к подчинению привести, чтобы каждый знал: нет его! Ты пойми: 180 миллионов человек, и каждый человек — нет его! Настолько нет, что сам он это знает: его нет, он — пустое место, а над ним — всё. И вот это-то... это «всё» и это «ничего», они-то и есть на-стоя-щее! — особо подчеркнуто закончил он со странной нотой в голосе.

Супрунов несколько секунд подумал, закурил, выпустил длинную струю дыма и с холодным спокойствием спросил:

— Что же?

— Ясно! — дернул плечом Любкин. — Наше с тобой дело, которое мы сейчас вот делаем, совсем не в том, чтобы с врагами народа бороться. Какие там враги! Где они? Такие же граждане, как и все, и ни в чем они не виноваты, это мы с тобой доподлинно знаем: нас не обманешь, да и мы обмануть себя не дадим. Это дело, ежовская-то кампания, в том состоит, чтобы в каждую клеточку мозга и нерва гвоздь вбить: «Нет меня!» Нам с тобой поручено до того людей довести, чтобы они, чуть только перед ними хомут поставят, сами бы в этот хомут полезли. Подчинение! Такое подчинение, чтобы он, сукин сын, даже и не думал, будто это он подчиняется, а думал, будто он по своей воле в хомут лезет, потому что в этом хомуте его счастье. Подчинение! Вот оно-то... оно-то и есть на-стоя-щее! — опять очень сильно подчеркнул он это слово.

— Кому подчинение? — резко спросил и выпрямился Супрунов.

Любкин поднял на него глаза. Минуту помолчал.

— А вот этого я и не знаю, Павлуша.

— Не знаешь? Разве? Как же так — не знаешь? Очень даже знаешь, не имеешь права не знать. Кому подчинение? Коммунистической партии подчинение! Строительству коммунизма подчинение!

В его голосе явно зазвучала злая насмешка, почти издевательство: словно он плевал на что-то и был рад, что плюет.

— Па-артии? — в тон ему подхватил Любкин. — Коммунизму? Да ведь коммунистическая наша партия... она ведь тоже уже подчинена! Она ведь тоже в хомут полезла, да так полезла, что думает, будто этот хомут, — это она сама и есть.

— Ну-ну! — почти прикрикнул на него Супрунов. — Молчи!

— Я и молчу! — хитро подмигнул ему Любкин. — Я вот как молчу: ни слова. Обвинительные заклю-

чения подписываю, на тройке их докладываю, сколько надо человек уничтожить, всех уничтожаю, а... молчу. Но только ты не сомневайся: если нашей коммунистической партии завтра прикажут выкинуть из мавзолея труп Ленина, проклясть Карла Маркса и заплевать коммунизм, так она и выкинет, и проклянет, и заплюет. И не потому, что послушается, а потому, что будет думать, будто это она сама так хочет.

— Правильно! — припечатал Супрунов. — А после того, как мы нашу ежовскую кампанию проведем, так она и еще больше подчинится, совсем подчинится, до конца. Но... кому? Кому подчинится?

Любкин опять посмотрел на него: глубоко, с силой. Посмотрел, чтобы найти ответ в самом Супрунове. И, вероятно, нашел: тот же ответ, что был в нем самом.

— Кому? Большевизму. Вот он-то и подчиняет себе всё: и партию, и людей, и жизнь.

Супрунов опять встал с кресла: не любил долго сидеть.

— Это ты — правильно. Большевизм! — очень ровно сказал он. — Только большевизм. Один только большевизм. Что же еще?

— Больше ничего. Не коммунизм же.

— Э! — презрительно отмахнулся Супрунов. — Это — для дурачков.

— Только для дурачков, — очень спокойно и уверенно повторил за ним Любкин. — Ты... Я вот тоже так понимаю.

Супрунов несколько раз прошелся по кабинету. Остановился и усмехнулся.

— Ты, когда мальчишкой был, любил лошадьми править? — неожиданно, без связи с предыдущим, спросил он.

— А как же!..

— То-то! Вожжи в руках — великое дело. В них всё. Вожжи! И вот я сейчас тоже держу вожжи в руках. А на этих вожжах тысячи человеческих жиз-

ней. А поэтому я не просто человек, Павел Степанович Супрунов, а я — сила. Разве ж не сила? Тысячи жизней на вожжах в моих руках. Сила! А коли сила, значит, я — выше, потому что сильный всегда выше.

— М-да-а! — неопределенно протянул Любкин, хорошо поняв его, но в чем-то с ним не соглашаясь. — Вожжи... Вожжи, конечно, сейчас в твоих руках, а на их конце, конечно, тысячи человеческих жизней. Это ты правильно. Но...

Он посмотрел на Супрунова и усмехнулся ему прямо в глаза:

— В твоих руках вожжи? Выше ты? Ну, и ладно! Но только вот: вожжи-то... настоящее ли это?

И вытянулся так, что захрустели кости.

— Ну, довольно языком чесать. Даешь работать.

ГЛАВА VIII

«Бабу» Любкина звали Еленой Дмитриевной Кудрявцевой. До того, как сойтись с Любкиным, она работала в средней школе № 17 и преподавала русский язык. Товарищи по работе, особенно учительницы, не любили ее и про себя называли ее «донной Стервозой». Возможно, что это было несправедливо, потому что она не делала ничего скверного, и никто не мог уличить ее в предосудительном поступке. Но веселый и беспутный учитель физики уверял:

— Явной стервозности в ней нет, но стервозность находится в ней в скрытом состоянии. Скрытая теплота плавления, так сказать!

Была она чрезвычайно красива — редкостной красотой чистоты, нежности и невинности. Но вместе с тем, где-то далеко, в глубине ее глаз и в уголках рта, таилось злобное, хитрое и порочное. И не только в ее взгляде, но и в ее движениях могло чувствоваться что-то змеиное, готовое и к хищному прыжку, и к злобному укусу, и к трусливому бегству, проворному и извивающемуся.

По ее словам, она была замужем, но с мужем раз-

велась и жила одна, не имея никого родных. О ее частной жизни никто не знал, потому что она держала себя очень замкнуто, ни к кому в гости не ходила и к себе не приглашала.

Как она познакомилась с Любкиным, и как она сошлась с ним, тоже не знал никто. Сойдясь с ним, она объявила, что работу в школе бросит. Любкин выслушал ее решение совершенно безразлично и спорить не стал.

— Как хочешь.

Но тут же поймал какую-то мысль и поднял брови.

— Пока я тут, тебе, конечно, школа совсем не нужна, но... Меня ведь перевести отсюда могут. Что тогда будешь делать? На что станешь жить? Без работы нельзя.

— Ты такой заботливый? — насмешливо спросила она.

— Заботливый — не заботливый... Я ведь здесь не надолго.

— Да, ты говорил. Тебя в Румынию назначат?

— Когда я это говорил? Я такого не говорил.

— Давно уж. Не помню. Еще до того, как...

— Разве? — немного нахмурился Любкин. — Пьян я был, что ли?

— Может быть, и пьян, не помню! — притворно равнодушно отвернулась Елена Дмитриевна. — А если, — переменила она тон, — если тебя в самом деле в Румынию назначат, так меня с собой не возьмешь?

Любкин немного презрительно усмехнулся.

— Мне с тяжелым багажом невозможно.

— А я — тяжелая?

— Для моего дела всякая лишняя тяжесть тяжела.

Она посмотрела как-то особенно: или что-то проверила, или чему-то усмехнулась.

Любкин устроил ей небольшую отдельную квартиру (две комнаты) и, пользуясь некоторыми льгот-

ными возможностями, помог ей одеться понаряднее, но совсем уж не так «по-парижски», как о том говорили в управлении. Она любила духи и сама составляла какую-то смесь из незатейливых советских флаконов. Когда же Любкин однажды привез ей французских духов, она сказала:

— Я ими душиться не буду.

— Чего так? — безвкусно заинтересовался Любкин. — Нехороши, что ли?

— Нет, хороши. Очень даже хороши. Поэтому-то я ими и не буду душиться, что они хороши.

— Как так?

— Не понимаешь? Если парни в избе-читальне поют частушки, так им нельзя аккомпанировать на скрипке Страдивариуса.

— На чем же? — совсем не понял Любкин.

— На гармошке!

Он не знал, что в школе ее называли «донной Стервозой», но когда он смотрел на нее или думал о ней, он неизменно говорил себе то же самое и тем же словом: «Ба-альшая стерва!» Но если бы его спросили, почему он называет ее «стервой», он объяснить не смог бы: очевидно, это только чувствовалось. И, ничего не стесняясь, ни к чему не относясь бережно, он прямо говорил ей, что считает ее «стервой». Когда он в первый раз сказал ей об этом, она не обиделась и даже не изумилась, а на минутку задумалась, словно проверила в себе что-то.

— Да! — очень спокойно согласилась она. — Ты прав: я — стерва.

Он считал ее умной, а потому был уверен в том, что она ему изменять не станет: «Свой-то расчет, поди, без ошибки понимает!» Он, конечно, ничуть не сомневался в том, что она сошлась с ним только «из расчета», и, конечно, ничуть не заблуждался в ней. Она ему нравилась красивым телом, «ангельским лицом», которое лгало своей светлой чистотой и чуть ли не похабно разворачивалось в откровенном

бесстыдстве. Она возбуждала его так, как не возбуждала раньше ни одна женщина, и он не понимал себя.

— Что оно такое в тебе? — спрашивал он. — Пьянишь ты здорово!

Она кривила рот в циничном рисунке и отвечала с превосходством покорившей самки:

— Я — raffinée!

Он не понимал этого слова, но объяснений не спрашивал.

Между ними («Раз и навсегда!») было условлено: о служебных делах и обо всем, что касается управления, не говорить и не спрашивать. «А чуть только ты об этом заговоришь, — очень твердо подчеркнул Любкин, — я сейчас же встану и уйду. Совсем уйду». Елена Дмитриевна ничего на это не ответила, а только посмотрела на него искоса, словно к чему-то примеривалась.

— А если ты сам заговоришь об этом? — спросила она, лживо отводя взгляд в сторону.

— Не заговорю.

— А если? Ну, скажем, пьяный... Что я тогда должна буду сделать?

Любкин усмехнулся: он что-то услышал в ее голосе.

— Если б ты не была стервой, я попросил бы тебя: если заговорю, то останови меня.

— Но ведь я — стерва! — слегка загадочно прищурила она свои небесные глаза и глянула ими прямо в него. — Что ты мне, стерве, скажешь?

— А тебе я скажу так: «Жри, собака, пользуйся случаем!»

Елена Дмитриевна рассмеялась искренним, но в то же время издевательским смешком.

Она без церемонии сказала ему, что ей не нравится его имя: Ефрем Игнатьевич Любкин.

— Тут все безобразно, все! И Ефрем, и Игнатьевич, и Любкин. А особенно — Любкин. Так сразу и видно: была какая-то девка Любка, которая родила

незаконного сына, и сына этого стали по ней называть: любкин сын! любкин! Так?

— Может быть, и так! — равнодушно согласился он. — Дело деревенское.

— Ты деревенский?

— Пензяк.

Любкин видел, что она ничуть «не жадная» и ничего не требует от него: ни денег, ни подарков. Это ему нравилось, хотя и мешало понимать: из-за какого же «расчета» она сошлась с ним? Пользуясь возможностями своего положения, он с удовольствием привозил ей из специальных закрытых распределителей то, что ему казалось роскошью, и чего нигде нельзя было достать в советских магазинах: отрезы на платье, модельную обувь, белье. Со своим шофером он присылал ей коньяк, вина и закуски. И раз в месяц, уходя от нее, вынимал пачечку денег (полторы тысячи) и, немного нахмурясь, протягивал ей:

— На расходы-то...

Когда он в первый раз так дал ей эти деньги, она даже позеленела и передернулась.

— Было бы лучше, — сдерживая себя, зло сказала она, — если бы ты клал эти деньги в конверт, а конверт оставлял бы где-нибудь на виду, но так, чтобы я не видела, как ты его оставляешь.

Он ничего не заметил и не понял.

— Зачем это?

— Не понимаешь? — со злобным издевательством перекосилась она. — Что ж! В таком случае, давай мне мою зарплату прямо в руки. А расписки тебе не надо?

Он и этого тоже не понял. А, может быть, не захотел понять?

— Расписки не надо! — просто ответил он.

Он привык к тому, что «бабы» обирали его, и обирали нагло, откровенно, цинично. Поэтому нетребовательность Елены Дмитриевны очень нравилась ему, и он, словно в награду, иногда спрашивал ее:

— Чего бы тебе хотелось? Закажи!

Она равнодушно пожимала плечами.

— Ничего...

А иногда, подумав, просила:

— Если можно, раздобудь мне где-нибудь большое трюмо. И зеркало трельяж.

— Трельяж? Это еще что за зверь такой?

Она морщилась.

— Ах, да! Я и забыла, что для тебя трельяж — непонятный зверь. В таком случае, не надо.

— Горжетку чернобурую хочешь?

— Это из дохлого-то кролика?

— Нет, зачем... Экспортную, настоящую!..

— Пожалуй...

— А еще что?

— А больше ничего.

— Что так мало?

— Я не жадная.

— А ты жадничай, не стесняйся!

Но Елена Дмитриевна кривила рот и переводила разговор на что-нибудь другое, но и этот разговор скоро обрывался: говорить было не о чем. Поэтому было скучно: и ему и ей.

— Что ты делаешь целыми днями, когда меня нет? — вяло спрашивал Любкин.

— К подруге хожу! — так же вяло отвечала Елена Дмитриевна.

— К какой такой подруге?

— Есть у меня одна. Одна единственная.

— А у нее что делаешь?

— Разговариваем.

— О чем таком?

— О разном.

— А еще что делаешь?

— Читаю. Английский учу. Французский я хорошо знаю, а английский плохо. А ведь я, может быть, когда-нибудь в Англию попаду.

— Навряд. Не пустят.

— Я убегу.

— Поймают.

— А я так убегу, что никто и знать не будет, что я бегу. Все будут думать, будто я и не бегу даже.

— Исхитрись.

— Исхитрись? А я, может быть, уже хитрю.

— Как так?

— А вот так!

— А ты понятливей! Загадками-то нечего петли петлять.

— Не могу! Это — табу!

— Что за табу такое?

— Это значит — запрещено.

— Стало быть, и говорить нам не о чем? В молчанку играть?

— Хотя бы и в молчанку.

— С подругой-то своей, вот с этой единственной, говоришь же.

— Говорю.

— А со мной?

— С тобой я сплю. Будет с тебя.

— Пожалуй, что и будет.

Слова любви между ними не говорились. Не говорились даже и ласковые слова. Любкин не ощущал их и не тянулся к ним, а Елена Дмитриевна както брезгала ими. Отношения были откровенно деловитыми: когда Любкин собирался приехать к ней, то всегда предупреждал ее по телефону. Не для того, чтобы она приготовилась, а просто для того, чтобы не потерять времени: он приедет, а ее, пожалуй, нет дома. И приехав, показывал на часы:

— Вот, ровно 40 минут могу у тебя пробыть.

И уезжал точно в назначенное время, никогда не позволяя себе ни забыться, ни увлечься.

И он не видел, как она, заперев за ним дверь, возвращалась в комнату с тонкой улыбкой злого умысла и сокровенной мысли.

ГЛАВА IX

Через неделю после прихода Семенова случилось неожиданное: к Евлалии Григорьевне подошла старшая машинистка и немного значительно, немного загадочно сказала ей, что ее зовет к себе начальник местпрома.

— Сейчас его секретарша сказала мне... Идите!

— Меня зовет? — удивилась Евлалия Григорьевна и, не вставая с места, испуганно посмотрела на стоявшую около нее старшую машинистку: снизу вверх.

— Вас, вас! Идите!

Евлалия Григорьевна растерянно поднялась и, теребя концы рукавов блузки, нерешительно заколебалась.

— Да как же это? Да зачем же?

— А уж этого я не знаю! — усмехнулась старшая машинистка. — Это уж вы мне потом сами расскажете. Идите же, не заставляйте ждать себя.

Евлалия Григорьевна, чувствуя замирание сердца, неуверенно пошла. И чуть только она вышла, все машинистки разом заговорили: они-то знали, что мог означать вызов к начальнику.

Начальник местпрома, Николай Захарович Чубук, был немного растолстевший человек, рыхлый и веселый. Во время гражданской войны он, тогда еще молодой, лихо и самозабвенно партизанил в Сибири, боролся с Колчаком, вел подпольную работу и никогда не щадил себя, а словно бы играл и шутил со смертью. Когда гражданская война окончилась, его послали на хозяйственную работу, и он взялся за дело так же горячо: «Будем строить социализм!» Но, проработав лет 8-10, разленился, вошел во вкус новой жизни, стал чересчур широко пользоваться теми возможностями, которые перед ним открылись, перестал заниматься делом («Что я, лошадь, что ли? Пусть лошади работают!») и полюбил вкусно поесть и попить в теплой компании, а особенно полюбил «покурале-

сить с девочкой». Из своих сотрудниц он составил себе целый гарем и часто либо «закатывался» с кем-нибудь из них в укромное место, либо совершенно открыто приглашал «Ирочку» или «Нюсечку» к себе в кабинет на вечерние занятия.

В местпроме его любили: «Ничуть не вредный мужик!» И, конечно, составилась группа, которая стала потворствовать ему и подталкивать его на разные похождения. И он убедил себя в том, что вокруг него сидят «люди преданные», а потому и был ласково благодушен, щедр и ничуть не требователен в работе.

Евлалия Григорьевна, хотя и служила в местпроме уже два года, всего этого не знала: она так робко сторонилась всех, что до нее даже и не доходили местпромовские толки и сплетни. Но тем не менее, идя к Чубуку, она боялась: все «важные партийцы», как она называла их, казались ей страшными.

Она вошла в комнату секретарши и робко остановилась в дверях.

— Меня... звали? — упавшим голосом спросила она.

Личная секретарша начальника, крупная, эффектная, но уже немолодая женщина, с соломенно бледными, крашеными волосами и с сильным гримом на лице, холодно и высокомерно осмотрела Евлалию Григорьевну с ног до головы. Она тщательно следила за романами своего начальника и все пыталась так поставить дело в его глазах, будто это она ему всё устраивает, а без нее у него ничего не может выйти. Было время, когда Чубук и ее приблизил к себе, но ни прельстить его, ни, тем более, привязать его к себе она не могла, так как была уже немолода, а Чубук любил «свеженьких и неопытных». Быстро учтя это, она переменила роль фаворитки на роль покровительницы и устроительницы, изо всех сил стараясь заставить Чубука поверить в эту ее роль.

Она осмотрела Евлалию Григорьевну, оценивая ее со своей точки зрения. «Вряд ли эта ему понравится!

— решила она. — Хотя плечи и грудь у нее, кажется, хороши!»

— Товарищ Шептарева? — холодно спросила она.

— Да... Мне сказали, что...

— Подождите здесь, я сейчас доложу о вас! — надменно кивнула секретарша на стулья у стены и прошла за дверь, закрытую тяжелыми драпри.

Евлалия Григорьевна сделала шаг, но не вперед, а в сторону, чтобы не загораживать собой двери и не мешать проходить. Не села, а стала дожидаться стоя, все еще теребя манжетку на левом рукаве и не замечая, что теребит ее. Секретарша через минуту вернулась.

— Идите! — показала она головой на дверь. — Только не называйте Николая Захаровича «товарищ Чубук», он этого не любит.

— А... как же? — не поняла и подняла на нее глаза Евлалия Григорьевна.

— Как «как же»? — дернула та плечом, чуть ли не с возмущением удивляясь непонятливости Евлалии Григорьевны. — Называйте по имени-отчеству: Николай Захарович!

Евлалия Григорьевна, тихо переступая ногами, приоткрыла дверь (ровно настолько, чтобы пройти) и, войдя в кабинет начальника, сразу же остановилась, плохо видя и плохо соображая.

Чубук сидел за большим письменным столом и читал какую-то бумагу, быстро водя по строчкам толстым красным карандашом. Подняв глаза, он посмотрел на Евлалию Григорьевну, и почти сразу же в его глазах пробежал лукавый смешок.

— Товарищ Шептарева? — мягко и даже ласково сказал он. — Ну, идите сюда, садитесь...

Он показал ей на мягкий стул перед письменным столом. Евлалия Григорьевна неслышно подошла, села и опустила глаза, смущаясь того, что не может поднять их и смотреть прямо. А Чубук, безо всякой

церемонии, стал очень откровенно разглядывать ее, словно что-то взвешивая при этом.

— Да-а! — протянул он, слегка улыбаясь каким-то своим мыслям. — Так вот оно, какая вы... А я и не знал!

— Что? — даже испугавшись, вскинула глаза Евлалия Григорьевна.

— Не знал вас, говорю! Служащих много, разве всех упомнишь? Ну, ладно, буду знать теперь... А у меня к вам вот какое дело: вы по-французски умеете понимать?

— Да, я...

— Ну, и чудесно! Тут есть у меня один журнал французский, а в нем статья. Вот! — вытащил он из ящика стола журнал. — Сам я по-французски ни мерси, ни пардон не понимаю, а статья эта, между прочим, для меня нужная. Не сможете вы мне перевести ее? Посмотрите-ка.

Плохо понимая, что она делает, Евлалия Григорьевна взяла журнал и посмотрела на отмеченную красным карандашом статью.

— Вот эта? «Пороки кирпича»? — несмело спросила она.

— Вот-вот-вот! Эта самая. Про кирпич. Сможете перевести? Недельки в две, а?

Он откинулся на спинку своего кресла и почти в упор разглядывал Евлалию Григорьевну, пока та перелистывала статью журнала. Чем-то очень довольный, он лукаво усмехался и поблескивал глазами с видом хитрого добродушия.

— Ну, что ж? Сможете перевести? — повторил он таким тоном, словно у него была задняя мысль, которую он не хотел высказать, потому что она обоим им понятна без слов.

— Смогу! — негромко выдавила из себя Евлалия Григорьевна. — Тут довольно простой текст.

— А что ж в кирпиче может быть сложного? — снисходительно пошутил Чубук. — Кирпич, он кирпич

и есть: глина да вода. Но дело в том, что... Я ведь понимаю, что здесь, в бюро в вашем, трудно это самое переводить. Где ж тут! Ходят, разговаривают, мешают... Тут не наработаешь! А вы вот что сделайте: идите домой и дома работайте. Дома вы это самое лучше сделаете. А я вас, стало быть, на две недели освобожу, в служебной командировке вас буду числить. Идет? Вы переведите и на машинке все это мне настукайте, а потом я уж прочитаю: как оно и что. Успеете за две недели?

— Да ведь она маленькая! — словно оправдываясь в чем-то, возразила Евлалия Григорьевна. — Всего десять страниц! Я это дня в три успею сделать...

— Нет, нет, нет! — энергично замотал головой Чубук, хитро посмеиваясь глазами, с таким видом, будто он что-то знает и что-то одобряет. — Не торопитесь! Во-первых, оно мне не к спеху, а, во-вторых, переведите получше. Чего ж торопиться! — совсем дружески подмигнул он, откровенно намекая на что-то. — От этого революция не пострадает, если вы лишний день дома посидите. Машинка-то у вас есть, — безо всякого вопроса, а с уверенной утвердительностью сказал он.

— Да, есть... — смутилась Евлалия Григорьевна, потому что перед ней что-то мелькнуло.

— А вашей старшей скажите, что я вас в двухнедельную командировку со специальным заданием отправляю! — распорядился Чубук. — И... И... А Семенова вы знаете? — совсем неожиданно спросил он.

— Да! — вся вспыхнула Евлалия Григорьевна. Она никак не ожидала этого вопроса, а кроме того, имя Семенова, в связи с этой непонятной командировкой, показалось ей странным и неприятным. Что-то нехорошее почудилось ей.

— Ну, то-то же! — откровенно рассмеялся Чубук, потешаясь над чем-то. — И я его знаю. Хоро-

ший он парень, не правда ли? Что и говорить: хороший! Все мы хорошие!

И вздохнул.

— Ну, ладно!.. Чего уж там. Идите.

Эта странная «командировка», которую так неожиданно получила Евлалия Григорьевна, произвела сенсацию в бюро машинисток. Старшая машинистка, услышав распоряжение начальника, искоса посмотрела на Евлалию Григорьевну, чему-то улыбнулась про себя и почти одобрительно сказала:

— Ну, что ж...

Она была пожилая, грузная и властная, а кроме того, считала, что умеет «по-философски смотреть на жизнь». Поэтому в бюро машинисток она вела себя по-хозяйски и на всех машинисток смотрела, как на своих воспитанниц. И она вполне одобряла тех из них, которые не отказывались от близости с Чубуком, и даже покровительствовала им: снисходительно и бескорыстно. Поэтому, поняв командировку Евлалии Григорьевны по-своему она посмотрела ласково и приветливо:

— Так, так!.. На две недели?

А Ирочка Завьялова, хорошенькая и бойкая, которую Чубук раза два приглашал к себе по вечерам, чтобы «продиктовать важную бумагу», но про которую почему-то не вспоминал вот уже два месяца, зло усмехнулась и с острым подозрением соперницы покосилась на Евлалию Григорьевну. «В тихом-то омуте!» — иронически подумала она.

Евлалия Григорьевна перестала ходить на работу, а стала работать дома. Неожиданная командировка почти обрадовала ее, хотя за этой командировкой она смутно чувствовала что-то неприятное. Перевод статьи о кирпичах она сделала за первый же день, а потом потратила еще день на то, чтобы выправить его. И, выправляя, все сомневалась: чист ли язык? правильно ли она понимает некоторые технические

выражения? И как лучше сказать: «приготовление глиняной массы» или «изготовление глиняной массы»?

После того у нее оказалось много свободного времени, а поэтому она не только успела закончить работу Семенова, но успела сделать и тысячи домашних мелочей, которые всё откладывались и которых накопилось чересчур много.

Когда она окончила переписывать рукопись Семенова (рукопись была очень специальная: «Эфироносные растения Туркестана») и собрала все листы вместе, то ей стало даже приятно: пачка бумаг была толстая, увесистая и какая-то обнадеживающая. Она смотрела на эту пачку и начинала чувствовать себя увереннее, крепче. «Ведь это же очень много денег!» — думала она, и ей казалось, что «как-то неудобно» брать так много. «Я уступлю, я с удовольствием уступлю! Ведь машинистки берут и по полтора рубля, и даже по рублю с листа... А то он подумает, будто я жадная и... как это? — рвач!» Но то, что она получит «много денег», волновало ее, и она делилась с Софьей Дмитриевной своими планами.

— 400 страниц! Ведь это же 800 рублей, Софья Дмитриевна! — позволяла она себе радоваться. — Ну, 200 я уже получила, и они у меня уже разошлись, да и папа у меня взял, но все равно: ведь я еще 600 получу! Вы подумайте только: я ведь в месяц на руки-то всего 200 получаю, а тут — 600! Ботиночки Шурику на толкучке поищу, шапочку ему теплую на зиму и перчаточки где-нибудь, может быть, раздобуду... И он у меня теперь каждый день будет по два яйца съедать... Непременно! И масло ему буду покупать.

— С вашим папашей не очень-то раскупитесь, голубенькая! — предостерегающе вздыхала Софья Дмитриевна. — Он у вас денежки вот как слизнет: и не заметите!

— Ну, что вы! — совершенно искренно заступалась за отца Евлалия Григорьевна. — Да вы напрасно так думаете, будто он...

— Ничего не напрасно! Я ведь все знаю, от меня вам скрывать нечего. Не успеет ваш Шурик яйцами да маслицем полакомиться, как Григорий Михайлович все ваши рублики просвистит, помяните мое слово. И, хотите — сердитесь, хотите — нет, а я вам вот что посоветую: не оставляйте вы денег дома, не держите вы их на виду, в шкатулке!

— Софья Дмитриевна! — вспыхивала Евлалия Григорьевна.

— Я уж 68 лет Софьей Дмитриевной зовусь, а вам нечего от меня прятаться и меня стыдиться. Сами, небось, знаете не хуже меня.

Евлалия Григорьевна отсчитала три недели от последнего прихода Семенова и решила, что он пришлет за работой в начале сентября. Но Семенов не прислал, а пришел сам, и пришел в такой час, когда его и ждать было нельзя: днем, часа в два. Ни Евлалии Григорьевны, ни Григория Михайловича дома не было, и дверь ему отворила Софья Дмитриевна.

ГЛАВА X

— Гражданка Шептарева дома? — спросил он.

Софья Дмитриевна до того никогда его не видала, но, взглянув, сразу догадалась, что это именно он, Семенов.

— Нету! — с искренним сожалением сказала она и сокрушенно поджала старческие губы. — И Григория Михайловича тоже нету. А Евлалия Григорьевна с мальчиком в лавку пошла, уже с полчаса тому назад. Скоро вернется, вот-вот вернется. Может, подождете? — гостеприимно распахнула она дверь пошире.

Семенов немного заколебался и посмотрел на часы.

— Пожалуй, и подожду! — решил он.

Софья Дмитриевна посторонилась и пропустила его в переднюю. Он быстро и уверенно пошел по знакомому коридору, а она, едва поспевая, шла за ним.

— Только вот придется вам у меня в комнатке

подождать, потому что ихняя комната на ключ заперта. У нас, знаете ли, не запирать нельзя, потому что...

— У вас подождать? — остановился и полуоборотился Семенов. — А где это?

— А вот сюда пожалуйте, прямо... В самом конце коридора. Комнаточка у меня, правду сказать, крохотная, но два-три человека все же поместятся. Вот сюда, пожалуйста...

Семенов вошел. Комнатка, действительно, была очень маленькая, так что даже трудно было понять, зачем такую отгородили при постройке дома. Вдоль той стены, что была подлиннее, стояла очень опрятная кровать, а вдоль поперечной стены стоял стол, около же него — стул. Но кровать занимала чуть ли не всю ширину комнаты, так что к столу оставался только узенький проход, на котором всегда играл Шурик, когда оставался у Софьи Дмитриевны. У самой двери стоял табурет, на нем — примус, а под табуретом была составлена кое-какая посуда. Белье лежало в корзине под кроватью, а платье висело на деревянной вешалке, прибитой к двери. Пол, дверь и окно были облуплены, табурет был некрашен, обои на стенах выцвели и кое-где висели бы клочьями, если бы Софья Дмитриевна аккуратно и заботливо не прибила их гвоздиками. Клеенка на столе местами порвалась, а платья на вешалке были закрыты старой, вконец застиранной простыней. Но в комнате была во всем удивительная опрятность: облупленный до дерева пол был чист, кровать была застлана аккуратно, без единой складочки, и всякая вещь стояла так, что не было никакого сомнения: она стоит именно на своем месте. И пахло в комнате опрятной, чистой старостью.

— Садитесь, прошу вас! — приветливо пригласила Софья Дмитриевна, пододвигая стул.

Семенов сел и тотчас же осмотрелся: это была его манера. И сразу же увидел две потемневшие иконы в углу: Спасителя и Божьей Матери Грузинской. Софья Дмитриевна поймала его взгляд.

— Еще моей бабушки покойной! — сказала она, не то чем-то хвастаясь, не то что-то поясняя. — А уж ей от кого они достались, про то я, право, и сказать не сумею. И обязательно они у меня висят, всю жизнь у меня висят, потому что я очень в Бога верю.

Неизвестно, ожидала ли она возражений от Семенова и приготовилась ли она к этим возражениям и к спору, но Семенов возражать не стал, а, напротив того, понимающе кивнул головой.

— Так и надо! — уверенно сказал он. — Такой, как вы, именно вот так и надо: и в Бога верить и иконки повесить.

— Вот это вы очень правильно рассуждаете! — одобрила Софья Дмитриевна и вся заулыбалась. — Сейчас, как вы знаете, всякая вера в Бога-то запрещается и даже, можно сказать, преследуется, а над верующими смеются и их вот даже на каторгу за веру посылают, а вы, хоть вы, видать, и партийный коммунист, а рассуждаете вполне правильно.

— А разве партийные коммунисты не вполне правильно рассуждают? — усмехнулся Семенов и внимательно, изучающе посмотрел на Софью Дмитриевну.

Оттого, что в комнате было очень тесно, их стулья стояли впритык друг к другу, и они сидели совсем рядом, почти касаясь один другого. И говорили тихо, а поэтому получалось задушевно.

— И лампадка висит! — добавил Семенов.

— По субботам зажигаю! — пояснила Софья Дмитриевна. — По субботам на вечер зажигаю, а по воскресеньям — с утра.

— А почему ж не каждый день?

— Пусть Бог простит! — покачала головой Софья Дмитриевна. — А только мои средства мне того никак не позволяют. Да и то сказать: лампадного масла теперь ведь нигде не достанешь, так я подсолнечного наливаю, а оно горит, знаете ли, плохо: все время поправлять надо. За ночь такая бульбошка на фитиле нагорит, что лампадка-то возьмет и потухнет.

— Лампадного теперь нету, — безлично заметил Семенов.

— Нету!.. — грустно признала Софья Дмитриевна.

Тон у обоих был разный, но вышло очень странно: вышло так, как будто оба говорили в одном тоне и в одном смысле.

— А ведь когда лампадка горит, так хорошо: теплее! А? — неожиданно сознался Семенов и как-то очень доверительно посмотрел на Софью Дмитриевну: тебе, мол, я могу это сказать.

— А, конечно, что теплее! — безо всякого сомнения потвердила та. — И голубенькая тоже любит: уж в субботу вечером она обязательно у меня сидит. «Пустите, говорит, Софья Дмитриевна, душе немного погреться!»

— Какая «голубенькая»?

— А Евлалия-то Григорьевна!

— Чего ж это вы ее голубенькой называете? — не изумился, а словно бы чему-то обрадовался Семенов.

— А как же... Она ж ведь — голубенькая!

Семенов поднял глаза, посмотрел перед собою и с секунду подумал.

— Она — голубенькая! — с полной уверенностью согласился он. — Это, конечно: голубенькая! А я какой? Черный? — с подкупающей искренностью спросил он.

Софья Дмитриевна так улыбнулась, что засияли все морщинки.

— А этого я не знаю! — созналась она. — Хоть и каждый человек непременно свой цвет имеет, но только не всегда можно сразу этот цвет понять в нем. Не по первому, то-есть, взгляду.

Но Семенов, кажется, не слышал ее слов. Он смотрел неопределенным взглядом, всматриваясь и вслушиваясь в то, что было в нем.

— А ведь голубенькой тяжело живется! — не спросил, а утвердил он.

— Еще как и тяжело-то! — с готовностью подхватила Софья Дмитриевна. — Так тяжело, что и сказать этого невозможно! Одно дело, что муж в ссылке, другое дело — средств нету, третье — сынишка, а четвертое — отца на шее, как тяжелый жернов носит. А он у нее такой Сахар Медович, что хуже и сыскать, кажется, нельзя.

— Что так?

— Да разве все расскажешь? Если б, знаете, она от него каким-нибудь манером избавилась, так ей много легче стало бы. Я вот 68 лет на свете прожила, а таких людей, почитай, и не видела. Вот, как говорят, знаете ли, — паразит. И самый он настоящий паразит: всё с других да в себя, а чтоб от себя да другим, так этого он даже и не понимает. Жена жива была, он ее трудом и старанием жил, а потом зятю на шею сел, а теперь вот дочерний век заедает да от родного внука кусок отнимает.

— Так такой он? Ишь ты!..

— Такой вот самый!

— А голубенькая — что?

— А она — что ж? Она... она... Она ведь голубенькая, одним словом! «Он ведь папа!» — только и слов у нее. Не знаете вы ее!

— Нет, знаю! — негромко, но сильно и уверенно, сказал Семенов.

Софья Дмитриевна посмотрела на него и дружественно взяла его за локоть.

— Вот вы сейчас работу ей предоставили! — зачем-то понизила она голос. — Очень вы хорошо это сделали! И уж так она, моя голубенькая, размечталась: и пальтецо-то она Шурику купит, и перчаточки, и ботиночки... Маслицем и яичками, говорит, буду теперь сыночка кормить. Мечтает, а у самой глазки так и светятся тихой радостью. А раньше эти глазки ее только плакали, так, знаете ли, тихо-тихо плакали. Не навзрыд или захлебываясь, как бывает, а совсем, можно сказать, бесшумно. Смотрит только голубень-

кая, а слезки и катятся. Катятся они, катятся, а вытереть их и некому!

— Вытрем! — совсем неожиданно сказал Семенов.

Софья Дмитриевна поверила сразу. Что есть силы заморгала она глазами, скривила старушечий рот и безо всякой церемонии схватила Семенова за плечи, повернув прямо к себе.

— Да если бы... — прерываясь от волнения, сказала она. — Да если бы только вы хоть половину ее слез вытрете, так... так...

Она не знала, чем заключить.

— Так ежели за вами перед Богом есть какие грехи, то смело на суд Его идите: простит! — с убежденной верой сказала она.

Семенов оперся кулаками в колени. Брови его сдвинулись, и желваки под скулами начали тяжело ходить.

— Да, грехи!.. — глухо сказал он. — Грехи...

Но тут же нашел что-то в себе, поднял голову и усмехнулся.

— Грехи? А может быть, никаких грехов совсем и нету, а это одна только наша выдумка, а? Понавыдумывали мы разных выдумок и ходим с ними, словно бы связанные. Так?

— А это уж пускай душа вам ваша скажет! — с мягкой и осторожной наставительностью ответила Софья Дмитриевна. — Есть грехи или нет? Это дело души нашей!

— Души! — усмехнулся Семенов. — Да ведь никакой души в человеке нет совсем! Какая такая душа? Где? В чем она? Нету ее, мамаша, твердо я в том уверен. Но вместе с тем... — вдруг дрогнул он, — вместе с тем скажу только, что... Вот знаю я, уверенно знаю, по всему своему правильному рассуждению знаю: никакой души нету в человеке. Но чуть только, — словно говоря о какой-то тайне, понизил он голос, — чуть только я подумаю, что никакой души нет, так сейчас же душа моя во мне криком и за-

кричит: «Врешь ты, сукин сын! Есть я, есть!» А? Что оно такое? Как его понять это самое?

— То-то же! — очень раздельно сказала Софья Дмитриевна и убедительно потыкала его раза два-три пальцем в грудь. — То-то же! Вот это оно самое и есть.

Она не сказала, что именно «оно самое», но Семенову показалось, что он и без того все понял. Дело в том, что он начал чувствовать себя очень хорошо в этой маленькой комнатушке. Если бы его спросили, нравится ли ему здесь, он, пожалуй, пожал бы плечами: чему же здесь нравиться? Но тут все было очень просто, а поэтому легко и понятно. А кроме того, было здесь и другое: здесь можно было не понимать, а можно было чувствовать. А чувствовать Семенов не то отвык, не то разучился.

Здесь, в этой маленькой комнатке, у этой совсем незнакомой старушки, все было ясно легкой, простой и задушевной ясностью: и то, что она «очень» в Бога верит, и то, что она любит свою «голубенькую», а не любит ее отца, и то, что «голубенькой» тяжело жить, хотя «жить стало лучше, жить стало веселее». Здесь можно было думать свое и хотеть своего. Слова, которые говорила Софья Дмитриевна и которые говорил сам он, не заключали в себе ничего значительного, но в них была великая для него прелесть: они были его собственными, своими словами. Могли быть вот эти слова, а могли быть и другие, но все равно — каждое слово было на месте, как на месте стояла кружка на подоконнике и как на месте висела на своем гвоздике сковородка у табуретки. И оттого, что вещи в комнате были на месте, комната была опрятной, и оттого, что все слова были тоже на месте, он (с великим отдохновением в душе) стал ощущать и внутри себя такую же опрятность. А опрятность приводила с собой то, чего так давно, так много лет подряд не знал он: мир и покой. И маленькая, почти незаметная, радость теплой капелькой задрожала в нем. «Словно

бы от сердца что-то отходит! — подумал он. — Словно я тесные сапоги снял!»

— А слезки вытрем! — повторил он. — Все не все, а парочку вытрем!

— Вытрите! — из самой глубины попросила Софья Дмитриевна. — Уж если таким в поддержке отказывать, так кому ж тогда и помогать? Хоть в наше время о помощи ближнему и мало думают, но...

— Мало? — весело переспросил Семенов. — Неужто мало? Почему это вы думаете, будто мало?

— Люди какие-то другие стали...

— Люди? Люди, действительно, другие стали!

— И не поймешь их!..

— Понять бывает трудно. Вот я, — вспомнил и немного заторопился он, — вот я несколько дней тому назад паренька одного видел. Вздор, пустяк, ничего особенного, а... а понять его я никак не могу. Можно рассказать?

— А, конечно! Что такое за паренек такой?

— Был я, знаете ли, в одном учреждении! — слегка наклонился к ней Семенов. — Ну, кончил дела, спускаюсь по лестнице. А там внизу, у раздевалки, какой-то паренек стоит, а около него двое или трое... И он им что-то такое очень радостное рассказывает: руками размахивает, глаза блестят и, одним словом, в восторге парень. И слышу я, что он, значит, хвастается: купил он себе в универмаге новые ботинки. Ну, понятно, радость: редко ведь бывает, чтобы в магазине обувь была. Этот случай, сами знаете, не так-то легко ухватить и поймать. И он эти ботинки не только в руках держит, а гладит их, щупает, нюхает, чуть ли не целует. Обалдел, видимое дело, от радости малость. Я его и спрашиваю: «Очередь-то большая была? Трудно было до ботинок-то добраться?» А он даже загорелся весь от восторга: «Да нет! — говорит, — совсём лёгко! Часа в четыре ночью встал в очередь, а сейчас вот и получил уже!» А был тогда, надо вам сказать, третий час уже.

— Ну? — не поняла Софья Дмитриевна: окончил свой рассказ Семенов или хочет добавить еще что-нибудь?

— Все! — простодушно развел руками Семенов. — Больше ничего.

— Так что же?

— Очень даже «что же»! — изумился ее непониманию Семенов и слегка вскинулся. — Посмотрел я тогда на этого паренька и... и ничего не понял! Ведь не врал же он мне, не притворялся же, а сказал, как понимает и чувствует, даже с восторгом сказал: «Совсём лёгко!»

— Так что ж такого? — все еще не понимала Софья Дмитриевна.

— А такое, что это даже удивительно! Что же, хочу я знать, что в мозгу и в понимании этого паренька, если он совсем искренно восхищается? Месяца два, а то и три, поди, ждал, пока в универмаг ботинки доставили, сотни раз бегал справляться, привезли ли их, все боялся, что прозевает и упустит, потом в 4 часа ночи в очередь стал, часов десять в ней простоял, и... «совсём лёгко»! И вместо того, чтобы от злобы матом всех крыть, что вот, мол, сколько труда надо положить, чтобы такую ерундовую вещь сделать, паршивые ботинки себе купить, он совершенно искренно в восторг приходит: «Совсём лёгко!» А? Еще, чего доброго, кричать начнет: «Спасибо товарищу Сталину за легкую жизнь!» Начнет ведь? А? Начнет? — со внезапным напором несколько раз спросил Семенов.

— А почему же нет? — резонно рассудила Софья Дмитриевна. — Очень даже просто, что и кричать начнет. Если из человека одно понимание вынули, а совсем другое в него вложили, так он по-другому и понимает.

Софья Дмитриевна, кажется, хотела что-то еще добавить, но вдруг насторожилась и прислушалась. Семенов тоже поднял голову, хотя и не знал, к чему

прислушивается она. А Софья Дмитриевна как-то очень мило подмигнула ему («Сейчас обрадую!») и, по-старушечьи быстро, пошла к двери, шаркая по полу стоптанными шлепанцами. Приоткрыла дверь и заглянула в коридор.

— Пришла, кажись! — заговорщицким шепотком шепнула она и повернулась к Семенову. — Дверь-то эта в их комнату хлопнула.

Семенов встал со стула.

— Евлалия Григорьевна?

— Не заметила... Или она, или Григорий Михайлович. Да, должно быть, что она, ей уж время вернуться. Вот я сейчас посмотрю.

— Нет, уж я сам! — двинулся с места Семенов.

— Ну, сами, так сами... Вот это ихняя дверь: третья налево.

— Я знаю. Ну, до свиданья. Софья Дмитриевна, кажись? — своей улыбкой улыбнулся Семенов.

— Софья Дмитриевна! — словно чем-то хвастаясь, сказала та. — Софья Дмитриевна Дивилькова. Будем знакомы, коли довелось уж... А вы, я так понимаю, товарищ Семенов будете?

— Он самый! И... и...

Он, кажется, хотел еще что-то сказать, но оборвал и даже отчего-то нахмурился на секунду. Возможно, что он и не знал, что именно он хотел сказать, а потому и нахмурился.

Он вышел в коридор, подошел к двери и стукнул. И тотчас же, не дожидаясь ответа, вошел, готовясь увидеть Евлалию Григорьевну. Но ее не было: у окна стоял Григорий Михайлович. Увидев Семенова, он весь расплылся в улыбке и, словно и вправду радуясь его приходу, пошел навстречу.

— Очень приятно! Оч-чень приятно! — еще на ходу сказал он, протягивая руку. — А мы с Лалой даже еще сегодня вспоминали вас. Ее, к сожалению, нет сейчас дома, но...

Он с изящным вывертом ловко пододвинул стул и, сияя улыбкой, заколыхался.

— Да нет! — нахмурился Семенов. — Коли нет дома, так я уйду.

— Помилуйте! Она с минуты на минуту придет! — взмолился Григорий Михайлович, хотя он совсем не знал, куда пошла Евлалия Григорьевна, и когда она вернется. — А работа ваша уже готова! — сладко добавил он, расплываясь в улыбке, в которой видна была неприкрытая угодливость. — День и ночь, можно сказать, мы с дочерью работали, лишь бы не запоздать, и... Вот даже немного до срока, как видите! — не снимая с лица улыбки, поклонился он.

— А вы... что же? Вы тоже работали? — немного неприязненно спросил Семенов и сел на стул.

— Ну, я... — скромно потупился Григорий Михайлович, тоже садясь, но садясь как-то осторожно. — Помогал ей, чем мог... — неопределенно пояснил он, не зная, чем он мог помочь. — Помогал ей и... диктовал, знаете ли! — вспомнил он, что Евлалия Григорьевна несколько раз намекала ему, что под диктовку писать легче и быстрее.

Семенов смотрел куда-то в сторону, но время от времени вскидывал глаза и мимолетно, но очень пытливо вглядывался в Григория Михайловича, как вглядывался в него при первой встрече с ним. И видно было, что ему что-то неприятно.

— Я бы, конечно, отдал вам вашу работу, но, к сожалению, совсем не знаю, куда Лала положила ее!— сказал Григорий Михайлович, хитро догадываясь, что Семенову надо дать предлог повидаться с Евлалией Григорьевной. — Она сейчас придет и... и сама вам даст ее. Ей, знаете ли, будет даже приятнее самой отдать вам! — с намекающей многозначительностью улыбнулся он, давая понять, что у него есть сладкая, невысказываемая мысль. — Она так благодарна вам за помощь, что, право, и сказать трудно. В наше время

редко встречается отзывчивое отношение к людям, а поэтому...

— Какое ж такое наше время? — пытливо спросил Семенов.

Григорий Михайлович смутился и спохватился.

— Нет, нет! — быстро стал поправляться он. — Я ведь в каком смысле? Я ведь в том смысле, что наше время деловое, рабочее, время великого строительства сталинских пятилеток, так тут уж не до отзывчивости. Тут надо выполнять и перевыполнять планы грандиозных задач, а не душевной лирике предаваться! — вывернулся он и очень приятно осклабился. — Сталинская эпоха! — чуть ли не восторженно добавил он и зачем-то слегка поднял руку кверху.

— Вы что же: партиец? — издеваясь и поддразнивая спросил Семенов.

— Нет, я... Куда уж мне! И года мои не такие и здоровье! А дочери я много раз советовал: запишись в партию! С ее взглядами и с ее убеждениями, знаете ли... Но она несколько робка!

— Ну, уж куда ей в партию! — нахмурился Семенов, — Этого даже и представить себе нельзя, чтобы такая, как Евлалия Григорьевна, и вдруг — в партию!

— Вот именно! Вот именно! — подхватил Григорий Михайлович, с удовольствием сразу соглашаясь. — Не из того она теста. Но зато она — славный человек. Уж я-то ее знаю, мы ведь с нею всегда душа в душу, как говорится, жили. Семейная жизнь ее сложилась неудачно, мужа сослали, но ведь она еще молода, — перешел он на доверительно интимный тон, — ее жизнь еще впереди. И если встретится человек, то я уверен, что он не ошибется, если выберет именно ее. Ласкова, нежна, преданна, — немного умиленно стал сюсюкать он, — а главное — искренна! И удивительно нетребовательна!.. Женщины любят всякие тряпки и побрякушки, а ей всего этого совсем не надо: она в человеке человека ценит. И, — чуть-чуть хихикнул он, — и странно даже:

ее совсем не тянет ни к молодежи, ни к сверстникам. Ей, как я вижу, больше нравятся вполне зрелые мужчины, солидные, крепкие, волевые... Оно и понятно: слабость к силе тянется! — вздохнул он. — И я знаю: человеческим отношением, заботливостью, лаской и добротой ее легко победить, а уж тогда она... вся!

Семенов ничего не ответил, а только очень быстро и неприязненно глянул на Григория Михайловича, а потом посмотрел на часы и поднялся со стула.

— Ну, я пойду!

— Подождите! — взмолился Григорий Михайлович, быстро вскакивая с места. — Она буквально с минуты на минуту вернется! И она будет так жалеть, что вы ее не застали, так будет жалеть... Она, надо вам сказать, — очень понизил он голос, словно доверял тайну, — она вас очень-очень часто вспоминает и часто говорит о вас со мною. И такой-то вы, и разэтакий!.. Ведь знакомых у нее никого нет, а человек, который отнесся к ней вот так, как вы отнеслись...

— Я пойду! — резко и бесцеремонно перебил его Семенов и, не подавая руки, повернулся к двери.

— Но когда же вы придете? Когда же вы придете? — засуетился Григорий Михайлович, подбегая к нему со спины то справа, то слева. — Я ей скажу, и она вас ждать будет. Работу передать вам и... Она так будет жалеть, что вы ее не застали, так жалеть будет!

— На днях зайду! — не поворачиваясь к нему, буркнул на ходу Семенов и вышел в коридор.

— Но когда? Когда именно? — почти вприпрыжку бежал за ним Григорий Михайлович. — Ведь это же будет ужасно, если вы придете и опять не застанете ее дома...

Семенов не отвечал и быстро шел по коридору. Сам отворил дверь и вышел на лестницу.

— До свиданья! Так я ей скажу, она вас ждать будет! — крикнул ему вслед Григорий Михайлович.

Семенов спустился вниз на один пролет и оста-

новился. Минуту подумал и с омерзением плюнул. «Прямо на кровать ко мне дочку-то подсовывает!» — подумал он и, злым рывком нахлобучив кепку, стал быстро спускаться по лестнице, все время настойчиво повторяя: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!»

И вдруг на следующем повороте увидел Евлалию Григорьевну. Она поднималась по лестнице, держа за руку Шурика, а тот с очень озабоченным видом старался ступать через ступеньку. Евлалия Григорьевна глянула, узнала и смутилась.

— Здравствуйте! — сказал ей Семенов. — А я у вас был.

— Да, я... Я ходила в лавку, но вот — задержалась.

Она стояла на две ступеньки ниже его и поэтому смотрела снизу, а Семенов смотрел сверху, и в этом было что-то, что оба они чувствовали.

— Я в другой раз зайду, сейчас мне уж и некогда! — с некоторым сожалением, которого он не скрывал, сказал Семенов. — Я ведь вас больше получаса ждал: сначала у Софьи Дмитриевны, а потом вот с папашей вашим разговаривал. Время и ушло. Пора мне.

— А может быть, вы, все-таки, зайдете? — неуверенно предложила Евлалия Григорьевна, не зная, имеет ли она право настаивать.

— Времени нет. В другой раз.

— Ваша работа готова! — вспомнила Евлалия Григорьевна, опять не зная, можно ли говорить о работе на лестнице.

— Знаю. Ничего, я потом за нею зайду. Ну, до свиданья.

— До свиданья, Павел Петрович!

— Ага! Запомнили! — рассмеялся Семенов. — По царю запомнили?

— Нет, я... так! — совсем смутилась Евлалия Григорьевна.

Семенов вздохнул и посмотрел на нее.

— Я завтра... Нет, послезавтра приду. Вечером. Можно?

— Ну, конечно, можно! — подняла и открыла свои глаза Евлалия Григорьевна и ясно посмотрела на него снизу. И он почувствовал, что ему опять стало так хорошо, легко и просто, как тогда, у Софьи Дмитриевны.

— Послезавтра! — повторил он. — До свиданья.

— До свиданья.

Он пожал ей руку и стал медленно спускаться, о чем-то раздумывая. Евлалия Григорьевна поднялась до площадки и собралась было уже завернуть на другой пролет, как Семенов окликнул ее.

— Минуточку!

Она остановилась и обернулась. Он быстро, через две ступеньки, поднялся к ней, но не приблизился, а спросил издали, снизу:

— Я... Мне одну вещь знать надо. Вы с вашим отцом говорили обо мне?

— Что... говорила? — не поняла Евлалия Григорьевна.

— Вообще! Говорили? Когда-нибудь обо мне говорили? Хоть что-нибудь? Хоть одно слово?

— Нет... — чуть растерянно ответила Евлалия Григорьевна. — С папой? Нет, нет, нет! Зачем?

— Нет? Не говорили? Я так вот и знал!

И ни слова не говоря больше, твердо и быстро, почти бегом, стал спускаться вниз.

ГЛАВА XI

Софья Дмитриевна, конечно, рассказала Евлалии Григорьевне о том, как она пригласила к себе Семенова «подождать», но про свой разговор о ней и о Григории Михайловиче не сказала ни слова. Но оттого, что Семенов побывал у Софьи Дмитриевны, Евлалии Григорьевне стало казаться, что он этим самым как-то прочнее вошел в ее жизнь. И это ее смущало. Кто такой Семенов, она не знала, но понимала, что он «важ-

ный партиец», то-есть, такой человек, каких она всегда побаивалась. Почему она должна побаиваться «важных партийцев», она понимала смутно, угадывая в них то, что они — особые существа, которые «все могут».

Это «все могут» Евлалия Григорьевна понимала для себя очень ясно и точно, хотя оно и было довольно сложно. «Все могут» страшило ее не той фактической возможностью, которую давала этим людям их власть, а отсутствием в них внутренних преград. Всякий сильный человек, вооруженный ножом, практически может зарезать того слабого человека, у которого ножа нет, но все же он резать не станет: «не сможет» зарезать. У него внутри есть то, что не позволяет ему резать слабого и беззащитного. У этих же людей, у «важных партийцев», никакого запрета внутри нет, они в этом смысле свободны и вот именно поэтому они «все могут». Они срывают кресты с церквей, отнимают хлеб у голодного и убивают каждого, кого им надо убить. Это страшно. Но еще страшнее то, что они не говорят себе «все позволено», потому что им даже и не нужно это «все позволено»: оно для них не имеет ни цены, ни смысла, ни цели.

Каков бы ни был преступник, и какое бы преступление он ни совершил, он всегда сознает, что он — преступник, и что совершенное им есть преступление. И он старается скрыть совершенное им: не только оттого, что он боится суда и наказания, но и оттого, что совершенное им есть в его глазах преступление. Это сознание преступности есть всегда, даже тогда, когда у преступника нет ни раскаяния, ни угрызений совести. Не потому ли русский народ называет преступников «несчастненькими»?

У большевика же сознания преступности нет. Нет у него даже противоположного: сознания права на преступление. Ни запрета, ни права он не ждет и не ищет: они ему не нужны. Он в себе ни через что не преступает. Преступление есть только акт, и в этом

акте нравственная сторона отсутствует точно так же, как она отсутствует в ряде других актов: в обточке гаек или в сучении пряжи. И то, что большевики, «важные партийцы», ни через что в себе не преступают, Евлалия Григорьевна называла так: «они все могут». Внутри этих людей (так казалось Евлалии Григорьевне) нет человека. Это — особые существа. Какие? Евлалия Григорьевна не знала.

Семенов был «важным партийцем». Но он принес Шурику коньки, прислал ей пишущую машинку и дал ей работу. Почему? Софья Дмитриевна и Григорий Михайлович говорили, будто он «влюбился», но Евлалия Григорьевна была женщиной, и «влюбился» она бы чувствовала. Семенов же настолько ничем не проявлял никакого «влюбился», что Евлалия Григорьевна без ошибки понимала: нет, это не «влюбился». Она несколько раз поймала в его взгляде что-то пытливое, но это не была пытливость любви, а была пытливость затаенной муки.

Он пришел послезавтра, как обещал. Григорий Михайлович, зная, что он придет, ушел из дома часов в 6, причем на его лице, когда он собирался и когда уходил, все время было выражение заговорщика. И, уходя, он поцеловал дочь в лоб, чего раньше никогда не делал.

— Ну-ну! Будь умница, не глупи! — тихо, но многозначительно сказал он, почти проникновенно заглядывая ей в глаза.

Евлалия Григорьевна посмотрела на него с тревожным непониманием: в его неожиданном поцелуе и в его странных словах ей почудилось что-то очень нехорошее. Но Григорий Михайлович ничего не заметил, зачем-то заботливо оглядел комнату, ненужно поправил скатерть на столе и вышел, ступая как-то по-необыкновенному. И даже в спине его, когда он выходил из комнаты, было что-то многозначительное, заговорщицкое.

Семенов пришел часов в 7. Поставил свой тяже-

лый портфель и сел на стул: грузно, твердо, не смотря на Евлалию Григорьевну. А потом поднял на нее глаза, и в его взгляде опять был затаенный вопрос.

— Переписали? — коротко спросил он.

— Да, я... Только я оставляла немного шире поля, так удобнее, по-моему... И поэтому у меня вышло не 401 страница, а 417. Но... Но это моя вина, и вы считайте, как здесь: 401.

— Глупости! — усмехнулся Семенов. — Пишите расписку на 834 рубля. И отдельно счет за бумагу и за копирку. Сколько заплатили.

— Нет, нет! — запротестовала Евлалия Григорьевна и даже положила руку на переписанную рукопись, словно защищала ее от чего-то. — Как можно! Бумага и копирка, это ж... Это ж на мой счет!

Семенов пристально посмотрел на нее, вздохнул и покачал головой.

— И как это вы до сих пор живы, если вы такая! — упрекнул он. — Зубатой надо быть, надо нигде своего не упускать, а вы... Вот уж подлинно: голубенькая! — усмехнулся он и посмотрел по-новому, приветливо.

Евлалия Григорьевна никак не ожидала этого «голубенькая» и сразу же вся вспыхнула. Она жалостливо посмотрела на Семенова, словно умоляя его не говорить этого слова, и губы у нее слегка задрожали.

— Почему вы... голубенькая? — невнятно спросила она.

— А это вас та чудесная старушка так называет! — кивнул в сторону Семенов. — Софья Дмитриевна ваша. А мне и понравилось: уж подлинно — голубенькая! Ну, да не в этом суть, а пишите вот расписку: получила, дескать, за перепечатку рукописи... Как она называется? Получила 834 рубля, а за бумагу и копирку 66 рублей. Всего — 900.

— Как так 66? — испугалась Евлалия Григорьевна. — Рублей 20 — 30, не больше!

— Пишите! — с ласковой строгостью приказал ей Семенов.

Он вынул из бумажника деньги, отсчитал и положил на стол. Потом достал из портфеля еще одну рукопись и, держа ее в руках, спросил:

— А эту не перепишете? Тут, правда, меньше, страниц 200, но ведь это не последняя. Такого добра, сколько хотите, хоть бюро переписки открывайте!

— Я... — откровенно обрадовалась Евлалия Григорьевна. — Я, конечно, с удовольствием, но... но только я теперь не могу так скоро: мне теперь опять надо будет на службу ходить, и времени у меня будет уже меньше. И большое вам спасибо, Павел Петрович, но только...

— Что еще за «только»?

— Ведь это очень дорого, по два рубля. Я могу и дешевле!

Семенов опять покачал головой: укоризненно, но ласково.

— Эх вы, голубенькая! — и усмехнулся, и упрекнул он. — Этак вы мне всю коммерцию испортите, чего доброго! Я там хотел торговаться за вас, чтобы они вам по два с полтиной платили, а вы — дешевле! Дают, так бери, а бьют, так беги! — почти дружески подмигнул он. — А папаши-то дома нет, что ли? — резко переменил он разговор.

— Да, он ушел. У него...

— Какой он у вас...

— Какой? — сразу насторожилась Евлалия Григорьевна.

— А сынишка где же? — не ответил на ее вопрос Семенов.

— Он у Софьи Дмитриевны. Он уж так к ней привык, что от меня даже отвыкать стал. Я вот эти две недели все время дома сидела, потому что...

— Знаю. Чубук вам командировку дал.

— Знаете?

Евлалия Григорьевна насторожилась: ей показа-

лось странным и неприятным то, что Семенов знает о ее «командировке». Почему-то получалось так, будто он к этой командировке причастен, чуть ли не сам ее добился. И она вспомнила, что у Чубука была острая лукавинка в глазах, когда он спрашивал ее о Семенове.

— Так, стало быть, сынишка у Софьи Дмитриевны? — опять увильнул от ответа Семенов. — Она у вас старушка славная... тепленькая!

— Она очень славная! — горячо подхватила Евлалия Григорьевна. — Она очень душевная и приветливая такая!

— Да, тепленькая... — повторил Семенов и вздохнул. — Бедует?

— Как... бедует?

— Бедно живет?

— Да, очень бедно.

Семенов поджал углы рта, и что-то нехорошее, почти злое пробежало в глазах.

— Как же это так — «очень бедно»? — чуть ли не вызывающе спросил он. — У нас — рост благосостояния трудящихся, у нас — зажиточная жизнь трудящихся, а вы — «бедно живет»! Мы же социализм построили и к коммунизму идем... Разве ж при социализме могут быть бедняки? — странным тоном, издеваясь над чем-то, спросил он.

— Я не знаю... — немного растерялась Евлалия Григорьевна, слыша его тон, но не понимая его. — При социализме, конечно... Но она очень бедно живет, очень! — убедительно добавила она и так же убедительно посмотрела прямо в глаза.

И ее ответ еще больше подмыл Семенова. Желваки под скулами разволновались и заходили.

— Что ж не помогаете? — несдержанно, с издевающимся вызовом бросил он и весь напрягся.

— Я... Мне не из чего было! — мучительно потупилась Евлалия Григорьевна, теряясь от его тона. — А теперь я... Эти деньги вот... Ведь Софья Дмит-

риевна мне все время помогала, она ведь за Шуриком смотрит, и я...

— Поможете теперь, стало быть?

— Обязательно! — с радостной искренностью сказала Евлалия Григорьевна.

— Это хорошо, что поможете! Надо, надо помочь! — зло сказал он. — Чаю, сахару, хлебца... Маслица для лампадки! Еще чего? Колбасы постной, что ли? — с открытой ненавистью спросил он и в упор посмотрел на Евлалию Григорьевну.

Его злоба была совсем непонятна. Что так злобно ненавидит он, и над чем он издевается? А взгляд в упор был так силен, что Евлалия Григорьевна совсем потерялась и еле слышно проговорила невнятно:

— Я не знаю... Я...

— Не знаете? — с негодованием на что-то и с торжеством над чем-то подхватил Семенов. — А кто же знать-то должен? Кто? Кто? В обкоме партии спросить, что ли? В НКВД за справкой пойти? Если вот такие, как вы, не знают, так кто же знать-то будет?

Евлалия Григорьевна почувствовала себя виноватой, опустила глаза и съежилась. А Семенов перекинул в себе какую-то мысль и крепко выругался про себя ядреным словом. Неожиданная злоба, вырвавшись откуда-то, охватила его, и он не хотел ее сдерживать. Что озлобило его?

— Плохая жизнь теперь? Холодная? — впился он глазами в Евлалию Григорьевну.

— Холодная! — почти шепотом ответила она. — И страшная очень...

— Страшная? — громко, но одним только горлом, а не сердцем и даже не глазами захохотал Семенов. — Страшная? Ага!

И оборвал свой смех.

— «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей!» — словно что-то приказывая Евлалии Григорьевне, сказал он. — Вот оно как! А совсем не «страшная»!

— Нет! — неожиданно вырвалось у Евлалии Григорьевны. — Весело? Да нет же! Нет!

— Сам товарищ Сталин сказал, — с тем же огоньком продолжал мучить ее Семенов: — «жить стало лучше, жить стало веселее»!.. А вы...

— Я... — заметалась Евлалия Григорьевна. — Конечно, Сталин... Но...

— Что еще за «но» такое? — грубо выкрикнул Семенов. — Какое такое может быть «но»? Сталин же сказал! Точка!

Евлалия Григорьевна умоляюще подняла на него глаза.

— Холодно очень! — тоскливо сказала она. — Бесприютно! И люди кругом страшные... Люди другими стали!

— То-то же! — словно в чем-то убедил ее Семенов и сразу встал со стула. — То-то же! — повторил он, а к чему он говорит и повторяет это «то-то же», никак нельзя было понять. — У Софьи-то Дмитриевны иконы висят и лампадка горит, а? Опиум! А вы вот здесь против слов товарища Сталина какое-то «но» возражаете? Контрреволюция! Эх, вы... Голубенькая! Да ведь вас и под ноготь взять даже нельзя, потому что и брать-то нечего, а между прочим, вы... смóтрите! Зачем вы смóтрите? — почти страстно выкрикнул он. — Муж-то ведь в ссылке? А сынишка-то ведь еще крохотный? А сил-то у вас нет? Так разве ж можно вам жить такой... голубенькой? Вы «Правду» читаете? На собраниях доклады слушаете? Сталинскую конституцию изучаете? Так ведь нечего, совсем вот нечего под ноготь брать!

Он судорожным рывком подхватил с пола свой портфель и, чем-то возмущаясь, со злым негодованием повернулся к Евлалии Григорьевне. А та совсем растерялась, ничего не понимая, пугаясь и его самого, и его слов. Но вместе с испугом было и другое: через его злое негодование она увидела его муку, которой он мучится, которую прячет и от которой бежит. И, ни-

о чем не думая, ни в чем не давая себе отчета, она очень нежно и ласково положила свою руку на его стиснутый волосатый кулак, которым он сжимал свой портфель.

— Нет, нет! — бессвязно залепетала она. — Нет, все это не то... Я не знаю, что — «то», но все это не то! Не надо! Не надо, милый Павел Петрович!

Семенов чуть отшатнулся от нее. Его взгляд наполнился большим вопросом, настоящим вопросом, который он не смог бы выразить никакими словами. Ни он, ни Евлалия Григорьевна не понимали этого взгляда, не понимали даже и того, что́ стоит за ним, а только смотрели друг на друга, ни слова не говоря. И вдруг, со странной, непонятной ясностью, Семенов увидел, что ответ на его вопрос есть, уже есть, но ответ этот может дать только Евлалия Григорьевна, и больше — никто. Он сделал усилие над собой.

— Пора мне! — почти спокойно сказал он. — У меня ведь минуты-то считанные. Дела! — опять усмехнулся он такой усмешкой, как будто хотел посмеяться над своими делами. — Всего вам хорошего.

— До свиданья! — еле догадалась ответить она.

Он отворил дверь и ушел.

ГЛАВА XII

Григорий Михайлович был очень заинтересован тем, что было, когда Семенов приходил к Евлалии Григорьевне: его интересовали не деньги и не новая работа, а то — «договорились ли они до чего-нибудь?» Он очень откровенно понимал и это «договорились», и это «до чего-нибудь», но ничуть не смущался и не стыдился, а только уверял себя: «Ведь все же можно сделать вполне корректно и даже изящно. Вот именно — изящно!» И боялся того, что «Лалка дура», что она «не сумеет» и, «чего доброго, сваляет непростительного дурака!» — по своей манере, думал он именно этими словами.

Но вернувшись (Евлалия Григорьевна еще не лег-

ла спать), он не стал расспрашивать, а только все всматривался, стараясь по лицу дочери узнать что-нибудь. Но лицо было такое, как всегда: спокойное и чистое. Кажется, оно было немного более задумчивое, но задумчивости Григорий Михайлович не приметил... Наконец, он не утерпел.

— Ну, что? — небрежно спросил он. — Был Семенов?

— Был! — совершенно ровно и спокойно ответила Евлалия Григорьевна.

— Ну, и?..

— Ничего.

— То есть, как же это — ничего?

— Ничего... Взял работу, дал другую.

— А! И другую дал? Это хорошо. Очень хорошо. Деньги он заплатил?

— Заплатил.

— А еще что?

— Ничего. Посидел минут десять и ушел.

— Только и всего? — не удержался и не скрыл своего разочарования Григорий Михайлович.

— А что же еще? — так искренно не поняла его Евлалия Григорьевна, что даже он немного осекся перед этой искренностью.

— Нет, я так...

Через три дня кончилась «командировка» Евлалии Григорьевны. Она взяла перевод статьи и пошла в местпром, немного мучась тем, что ей, очевидно, надо будет пойти к Чубуку, чтобы отдать ему перевод. Ей было неприятно все: и разговаривать с надменной секретаршей, и сидеть в кабинете Чубука.

Когда она пришла в комнату машинисток, те встретили ее как-то странно: не то подсмеивались над чем-то, не то были чем-то недовольны. Старшая машинистка посмотрела на нее чересчур пытливо и совершенно бесцеремонно, словно хотела по ее виду узнать что-то. Потом спросила каким-то необычным тоном:

— Ну? Кончили... работу?

И легкой паузой перед словом «работу» подчеркнула какой-то особенный смысл в нем.

— Кончила! — немного с трудом ответила Евлалия Григорьевна, чувствуя непонятную настороженность в комнате.

— И что же? — совсем вызывающе спросила ее Ирочка Завьялова, та задорная и хорошенькая, которую Чубук вызывал к себе, а потом забыл про нее. — Начальство осталось довольно?

Она совершенно откровенно вложила нехороший смысл в свой вопрос, но Евлалия Григорьевна не поняла этого смысла. Другая же машинистка на лету поняла его и хихикнула.

— Я еще не отдала ему перевод! — простодушно пояснила Евлалия Григорьевна. — Надо вот пойти и отдать, да я как-то не решаюсь.

— Чего ж не решаетесь? — покровительственно сказала старшая. — Работа есть работа, и нечего тут — «не решаюсь»!

Евлалия Григорьевна немного растерянно провела ладонью по щеке и, вздохнув, пошла с папкой в коридор.

— Или она большая дура, или она большая сволочь! — сказала Ирочка. — Хотела бы я послушать, как она сейчас петь начальству будет.

— Ну-ну! — строго прикрикнула старшая. — Нечего в чужие дела нос совать!

Евлалия Григорьевна прошла к секретарше и объяснила ей, зачем пришла. Та, попрежнему холодно и высокомерно, оглядела ее с ног до головы, словно и она хотела что-то выпытать и узнать.

— Хорошо! — пренебрежительно кивнула она, закуривая папиросу и играя ярко красными ногтями. — Николая Захаровича еще нет. Положите работу здесь, я ее потом отдам. А если он захочет видеть вас, я вас вызову! — почти совсем величественно добавила она и слегка кивнула головой: идите, мол.

Евлалия Григорьевна пошла назад, облегченно радуясь тому, что ей самой не пришлось идти в кабинет к Чубуку и разговаривать с ним. Она прошла в комнату машинисток и тихо села.

— Что так скоро? — спросила ее старшая. — Нету еще Николая Захаровича, что ли?

— Он не приехал еще... Я секретарше отдала перевод! — очень мирно пояснила Евлалия Григорьевна. — Вы мне дадите что-нибудь печатать, Екатерина Львовна? — деловито спросила она.

— Груду! Пока вы там в вашей командировке были, мы тут все пальцы себе оббили, за вас печатая.

Евлалия Григорьевна спохватилась. Ей не приходило в голову, что за то время, пока она сидела дома, другие машинистки должны были работать больше, так как работа не уменьшалась, а подсмены, вместо нее, в бюро не дали. Она растерянно посмотрела вокруг себя и хотела сказать, что она ни в чем не виновата, что она не просила этой командировки и не добивалась ее. Но объяснить не решилась, а молча, с потупленными глазами, взяла из квадратной корзинки пачку бумаг.

— Сверху можно брать? — спросила она.

— Да хоть сверху, хоть снизу, хоть из середки... Все ведь перещелкать надо!

Евлалия Григорьевна села за машинку и начала, не отрываясь, печатать. Она не видела и не слышала, как позади нее о чем-то шушукались и хихикали, поглядывая на нее быстрым, скользящим взглядом. В этом взгляде была и зависть, и недоумение, и даже легкое возмущение: что такое нашел в ней Чубук? чем она пленила его? не нашел лучшего!

Евлалия Григорьевна весь день работала изо всех сил, стараясь напечатать как можно больше, чтобы загладить свой прогул, в котором она не была виновата. Она так ушла в работу, что совсем забыла про Чубука и про то, что он может вызвать ее. И когда, действительно, секретарша вызвала ее, у нее упало сердце.

Чубук встретил ее очень приветливо и почти ласково, но глаза его опять заискрились лукавинкой, словно он знал что-то приятное и веселое, о чем говорить не надо: и так обоим понятно!

— Ну, ну! — забормотал он. — Перевод ваш мне передали, все в порядке! Но тут другое дело есть. Я хочу вам опять командировку дать. Длительную!

— Зачем? — с искренним испугом и даже с мольбой вырвалось у Евлалии Григорьевны.

— А это уж мое дело! — весело поддразнил ее Чубук. — Это уж, как говорится, секрет производства. А откомандировать вас я хочу в спецотдел, там для вас работа есть. Молчать вы умеете?

— Как — молчать?

— Да вот так: закрыть рот и молчать. Спецотдел, — это такая штуковина, что о нем болтать никому ничего нельзя, это я вас со всей строгостью предупреждаю! — действительно, строго сказал он. — Что, как и почему, — никому ни слова. Понимаете? Явитесь завтра к товарищу Волошинцу, а он уж знает, что с вами делать. Может быть, на месяц я вас туда переведу, а, может быть, и на больше. Там посмотрим. И пока вы там работать будете, так ставка ваша будет выше. Не помню, сколько там... 400, кажись!

— А можно... — задыхаясь, осмелилась Евлалия Григорьевна, — можно мне... не идти туда?

— Не идти? — улыбнулся Чубук. — Ерунда! Ничего там страшного для вас не будет, вот вы сами увидите.

— А почему... я? Можно, чтобы... не я? — нашла в себе силы сопротивляться Евлалия Григорьевна.

— Нельзя, нельзя! — захохотал Чубук. — Именно — вы! Там ведь с французским языком требуется, так как же не вы? Да не бойтесь вы, ерунда же! Тут ведь, знаете ли, пишется — трамвай, а выговаривается — конка! — непонятно добавил он и подмигнул очень хитро. А потом понизил голос и спросил таким то-

ном, будто между ним и Евлалией Григорьевной есть какая-то тайна. — А как Семенов поживает? Здоров?

Евлалия Григорьевна вспыхнула так сильно, что даже слезы навернулись у нее на глазах. Чубук понял ее смущение по-своему и спохватился.

— Понимаю! Понимаю! — быстро заговорил он. — Не беспокойтесь, гражданочка, все понятно! Я ведь... Вы меня знаете? Понимать меня можете? Я ведь такой простой и бесхитростный, меня бояться и стыдиться нечего. Я...

Он оборвал и посмотрел на часы.

— И хоть бы кто-нибудь догадался тормоз к часам приделать! — рассмеялся он. — Так бегут, что силушки нету: не успеешь двух слов сказать, а уж четвертый час. Ну, ежели увидите Семенова, кланяйтесь ему и скажите, что дело, дескать, в порядке. Всё!

Евлалия Григорьевна в полном смятении, не зная, что думать и что делать, вышла из кабинета Чубука. Все новое ее всегда страшило, а особенно страшили ее новые люди, т. к. они всегда казались ей недоброжелательными и полными неприязни. Спецотдел же был ей особенно страшен. Она не знала, что делают в этом отделе, но знала, что именно там сосредоточена вся жизнь каждого служащего, там хранятся его анкеты, там собираются о нем характеристики, и именно туда иной раз приходят люди в форме НКВД, которые смотрят умышленно невидящим взглядом, ни с кем не разговаривают, и с которыми все опасаются встретиться. Она знала, что входить в спецотдел без зова нельзя, а когда кого-нибудь туда звали, то позванный сразу бледнел и начинал задыхаться. Самой Евлалии Григорьевне ни разу не приходилось бывать в этом отделе, он помещался этажом ниже, но иной раз она проходила мимо него и с испугом смотрела на дверь, которая вела в него: даже дверь эта была особенная, обитая войлоком, а сверху — клеенкой. Она раз спросила: «Зачем?» — и ей ответили: «Звукоизоляция!» Очевидно, спецотдел был таким местом, кото-

рое настороженно не впускает к себе никого, а от себя не выпускает даже звука.

Когда она сказала о приказе Чубука старшей машинистке, та сразу же изменилась: стала далекой и холодной. В глазах ее мелькнула почти откровенная брезгливость. «Хороша же ты, милая!» — можно было прочитать в этих глазах. Все в комнате заговорили какими-то фальшивыми голосами. Евлалия Григорьевна ничего не поняла: что случилось?

Она не знала, что на работу в спецотделе допускаются только особо проверенные люди, пользующиеся особым доверием у партийного начальства, и что все служащие этого отдела являются секретными сотрудниками («сексотами») НКВД, которые обязаны тайно следить за своими товарищами по работе, выслеживать их, копаться в их прошлом, доносить на них и даже «оформлять» данные для их ареста.

На другой день, с утра, замирая от тягостного чувства, Евлалия Григорьевна робко пришла в спецотдел, не зная, какую работу поручат там ей. Но вышло странно и неожиданно: Волошинец сказал ей, что сейчас работы для нее нет, что она должна идти домой, а он вызовет ее, когда будет нужно.

— Сидите дома и ждите! Может быть, через неделю, а, может быть, через месяц... Там видно будет! — очень неопределенно сказал он.

Потом разъяснил ей, что ставка ее будет 400 рублей, и что она будет получать ее аккуратно, хотя работать и не будет: «Это, так сказать, прогул по вине администрации!»

— Но я не понимаю, как же так? — совсем растерянно сказала Евлалия Григорьевна.

— А вам тут и понимать нечего, ваше дело маленькое! — с сухой деловитостью ответил Волошинец. — И вот что еще: обо всем — молчок! Слышишите? Ни папе, ни маме! Почему вы дома сидите, почему на службу не ходите, этого никто знать не должен. И в бюро вашем, машинисткам, тоже никому

ни слова. А если они, сороки, будут вас спрашивать, так вы их за справкой ко мне присылайте, а сами ни слова не говорите. Понятно?

— Понятно... — прошептала Евлалия Григорьевна.

— Ну, идите. Всё! А в конце месяца за зарплатой приходите, это само собою.

Евлалия Григорьевна вышла, совсем сбитая с толку. Она ничего не понимала, но тайным инстинктом чувствовала, что во всем этом что-то кроется, и кроется дурное, хотя ничего дурного, казалось, и не было: ей увеличили ставку, и она будет свободна. Кроме того, она чувствовала, что все это сделал Семенов. Как он мог это сделать, и зачем он это сделал, она тоже не знала, но в том, что сделал это он, она не сомневалась. Казалось, что она должна была бы быть благодарна ему, но благодарности она не чувствовала, а чувствовала смущение и страх.

Дома, конечно, надо было все объяснить. Евлалия Григорьевна сначала попробовала было поискать выдуманную причину, но ничего придумать не могла и сказала правду, но только в общих чертах: ее, мол, перевели в другой отдел, но там для нее работы покамест нет. Софья Дмитриевна весьма простодушно обрадовалась:

— Вот и чудесно, голубенькая! Отдохнете вы, по крайней мере, сами с собою поживете.

Григорий Михайлович не поинтересовался никакими подробностями, а с удовольствием одобрил:

— Прекрасно! — певуче сказал он. — Теперь ты сможешь сколько угодно печатать этому твоему Семе-нову! Если у него есть много работы для тебя, так ты ведь сможешь до тысячи рублей выколачивать... Прекрасно, прекрасно!

Семенов не приходил, но прислал кого-то с несколькими рукописями и с короткой запиской: «Постарайтесь перепечатать недели в 3. Пришлю еще».

— Да кто он такой, этот твой Семенов? — все допытывался Григорий Михайлович. — Где он служит?

— Не знаю! — пожимала плечами Евлалия Григорьевна, краснея от этого «твой».

— Как же так? Живет-то он где? Хоть номер телефона надо узнать. Может быть, понадобится что-нибудь или... или...

Жизнь пошла очень мирно, и Евлалия Григорьевна была бы даже счастлива, если бы ее не мучила та таинственность, которую она повышенно остро чувствовала. Какие-то люди разыгрывали какую-то игру, в которой она была пешкой. Эту пешку переставляли, куда хотели, и безропотная пешка переходила с одной клетки доски на другую, ничего не понимая и мучась своим непониманием.

Мучил Евлалию Григорьевну также и Григорий Михайлович. Видя, что теперь у дочери есть деньги, он не только бесцеремонно, но даже строго и повелительно стал требовать их у нее. Из первого же заработка она сама подарила ему 100 рублей, но, вероятно, они скоро разошлись у него, потому что он чуть ли не через неделю сказал небрежно:

— Дай мне рублей 50...

И добавил таким тоном, словно она была в чем-то виновата, и он ее в чем-то обвинял:

— У меня даже на табак нет!

У него были женщины, на которых он тратился: угощения и подарки. Он очень любил при своих посещениях быть щедрым и беззаботным барином старых времен, видя в том «стиль». Одной из его любовниц была молодая студентка театрального института, которую он учил «быть барышней», а другая — уже пожилая дама, лет за 40, служившая плановиком в кожтресте. Приходя к ним в гости на вечерок, он всегда приносил с собой или бутылку советского шампанского, или легкую закуску к чаю, или конфет. И всегда раздраженно бурчал на то, что советское шампанское так же отвратительно, «как и их ситро», от

которого оно отличается только названием, что закуска «убого примитивна», а конфеты «даже по виду не похожи на конфеты». Все это было, конечно, правдой, но тем не менее, каждый визит обходился ему рублей в 20-30. А кроме того, ему было нужно тратить деньги и на себя.

Евлалия Григорьевна мучительно искала выхода, но выхода не было, т.к. она не могла отказывать отцу. Она со страхом пересчитывала свои деньги и с болью думала о том, что она так мало дает Шурику. Софья Дмитриевна научила ее делать «превкусную и очень полезную кашку»: рис со сбитой сметаной, со стертыми яйцами, с сахаром и «с чем-нибудь душистым». Шурик с удовольствием ел эту кашку, а Евлалия Григорьевна, замирая от счастья, смотрела, как он ест ее. Но кашка обходилась очень дорого, и Евлалия Григорьевна с тоской думала о том, что «папа съедает кашку Шурика». А что делать, она не знала.

Но прошла еще неделя, и 18 сентября все сразу изменилось.

ГЛАВА XIII

Ночью раздался сильный и властный звонок. Потом по коридору застучали чьи-то крепкие, уверенные, непререкаемые шаги.

Когда все кругом спят, и когда ночная тишина сама сдерживает, никто не ходит так. Шаги не были нагло, умышленно или распущенно громкими: они были громкими, как всегда. Для них не было ночи и покоя людского сна, а поэтому они не просто стучали, но и топали. В них было что-то подавляющее и страшное.

Григорий Михайлович проснулся и испуганно сел на кровати, а Евлалия Григорьевна, словно сразу обо всем догадавшись (а она не догадывалась ни о чем), торопливо вскочила и, путаясь в складках, накинула на себя капот. Тотчас же в дверь властно постучали, дернули за ручку и вошли. Их было пятеро: трое в

форме НКВД и двое в штатском. Один из них, видимо, старший, спокойно и негромко сказал:

— Где у вас тут выключатель? Зажгите свет.

Евлалия Григорьевна, вся дрожа, зажгла лампочку у кровати. Один из тех, что был в штатском, нашел глазами выключатель и зажег верхний свет. Старший огляделся и увидел Григория Михайловича. Тот все еще сидел на кровати, теребил одеяло и бессмысленно смотрел то на пришедших, то на Евлалию Григорьевну. Старший подошел к нему.

— Володеев? Григорий Михайлович?

Григорий Михайлович не отвечал, а только смотрел испуганно и непонимающе. Его пальцы дрожали.

— Одевайтесь! — спокойно приказал старший и протянул ему небольшой листик бумаги. Григорий Михайлович взглянул, ничего не понял, но увидел два слова, вписанные в печатный текст: «обыск» и «арест». Он затрясся и еле выдавил из себя:

— Но... Но...

— Одевайтесь! — негромко, сухо и деловито еще раз приказал старший и тотчас же повернулся к остальным.

Те уже начали обыск: открыли ящики в столе, открыли шкаф, вытащили из-под кровати корзину с бельем. Евлалия Григорьевна вспомнила, что белье было все штопаное, а простыни даже рваные (она хотела их починить, но не успела), и покраснела. Один подошел к кровати Шурика и заглянул.

— Ребенок... Спит! — нервно метнулась Евлалия Григорьевна.

— Ребенок нас не интересует! — вяло и даже скучно ответил тот.

Григорий Михайлович кое-как оделся и неподвижно стоял около кровати, смотря то на одного, то на другого. А те не спеша пересматривали вещи и очень быстро пробегали глазами по каждой бумаге, которую находили. И отбрасывали ее в сторону.

Они делали обыск так, как будто бы он был им

нужен не для того, чтобы найти что-нибудь, а для чего-то другого, неизвестного, но властного и подавляющего. Ни в их движениях, ни в их взглядах не было ни злого, ни враждебного, но тем не менее, Евлалия Григорьевна почти физически чувствовала зло и враждебность, которые вошли в комнату вместе с этими пятью, наполнили собою комнату и даже воздух сделали тяжелым и тупым. Сердце у нее колотилось в тяжелой спазме, а чувства неожиданно обострились: привычная лампа над столом казалась невыносимо яркой, а шаги и движения преувеличенно громкими. Даже спокойные сонные вздохи Шурика казались шумом.

В глубине ящика стола стояла какая-то маленькая деревянная коробка, запертая совсем простым замочком. Старший взял со стола нож для разрезывания книг, просунул его под крышку и надавил. Крохотные гвоздики сразу выскочили, и коробка раскрылась.

— Это ваше? — сухо спросил старший Григория Михайловича.

В коробке лежали порнографические открытки. Старший холодно и невыразительно переглядел их, положил обратно и отвернулся.

— Это ваша жена? — спросил он Григория Михайловича, указывая на Евлалию Григорьевну.

— Дочь...

— А! Дочь!

Евлалия Григорьевна почувствовала, что она страшно хочет пить. Но подойти к графину с водой и напиться она не решалась, как будто она этим сделала бы что-то недозволенное и сейчас невозможное. Ее охватывало странное ощущение: как будто те, которые вошли так властно и беспощадно, которые одним своим появлением подавили и ее, и отца, и жизнь мирной ночи, которые не боятся даже того, что их все боятся, как будто бы они были не людьми. Это — какие-то особые существа. Они не злобствовали, не ненавидели и не свирепствовали, они очень спо-

койно, привычно и даже немного вяло делали свое дело. Но с ними пришло уничтожающее. Это не была только сила и власть, — это было неизъяснимое: не то зло, которое противопоставляет себя добру, но какое-то иное, неведомое дотоле, зло, которое существует вне добра и независимо от добра. Если бы эти пятеро смотрели, как ненавидящие враги, было бы легче, потому что с врагом можно бороться, от врага можно защищаться и врага можно умолять. Но эти пятеро не были даже врагами. Иные существа, они пришли из иного мира, в котором все иное, чем в мире Евлалии Григорьевны: иные мысли, иные чувства, иная воля и иные цели. И этот другой мир был ей страшен именно тем, что он уничтожает только оттого и только потому, что он существует. Мир иных людей, мир не человеческий.

Евлалия Григорьевна увидела, что ее капот спереди совсем распахнулся, а под капотом была только рубашка, так что грудь обнажилась. И тут же увидела, что один из штатских смотрит на ее полуобнаженную грудь. Она спохватилась и запахнула капот, но, к своему удивлению, поняла, что в ней не вспыхнуло стыда, а только негодование и брезгливость. Выходило непонятно для нее, выходило так, что тот не возбуждал в ней стыда. Почему?

Наконец (это было уже часов в 5 утра), старший как-то боком присел за угол стола, вынул тетрадку со сшитыми бланками, поправил в ней кусок копирки и очень тупым карандашом стал что-то вписывать в эти бланки. Он мог бы сесть за стол прямо, как садятся всегда, когда пишут, но он сел именно боком и именно за угол, и в этом было что-то обозначающее, — словно он чувствовал себя на каких-то развалинах, вне обычной обстановки, а поэтому ему и нельзя сидеть обычно и писать обычно. Он вписывал в бланк нужные слова, а сам спокойно бросал через плечо Григорию Михайловичу:

— Собирайтесь, сейчас поедем. Можете взять с

собой одеяло, подушку, полотенце и мыло. Ну, и зубную щетку тоже. Ку́рите? Табак тоже можете взять.

— А деньги? Деньги можно? — через силу догадалась спросить Евлалия Григорьевна.

Старший немного поморщился.

— Н-ну, — нехотя согласился он, — рублей 20-30 возьмите... И ложку захватите! — вспомнил он. — И кружку.

— А еды? Хлеб? — с большим усилием соображала Евлалия Григорьевна, в полубеспамятстве собирая нужные вещи.

— Дайте немного! Но там ведь кормят, не бойтесь...

Он встал, одернул шинель, поправил ее под поясом и сказал Евлалии Григорьевне спокойно и деловито, как будто говорил об обычном и нормальном:

— Справки можете навести на улице Розы Люксембург № 5, от 12 до 4. Но раньше, чем через неделю, не советую приходить: все равно, вам раньше ничего не скажут. Ну, пошли! — приказал он.

Григорий Михайлович, смотря тупо и покорно, надел пальто и шляпу. Потом огляделся и пошел к двери. Старший ухмыльнулся.

— С дочкой-то не попрощаетесь? Не на один день расстаетесь.

И вот в этих-то словах, а, главное, в тоне, Евлалия Григорьевна услышала то, чего раньше не слышала и не чувствовала: зловещее и ненавидящее. В этих словах старшего отразилось чувство: злое, но человеческое. Перед нею на минуту встал зловещий и ненавидящий человек, но все же это был человек, а не страшное иное существо. И она рванулась вперед.

— Но ведь папа ничего не сделал! — со страстной убедительностью забормотала она, блестя глазами. — Он ни в чем не виноват! Мы живем с ним, я служу в местпроме, а он даже нигде не работает! — бессвязно бросала она слова, не зная, почему они

должны в чем-то убедить и что-то доказать. — У него даже и знакомых нет почти никого, и он нигде не бывает, потому что...

Старший ухмыльнулся и сверху посмотрел на нее, ощупывая пуговицы на шинели: все ли застегнуты? Евлалия Григорьевна поймала этот взгляд и увидела, что перед нею опять нет человека, даже ненавидящего человека. Во взгляде было только ухмыляющееся любопытство: «А что ты будешь дальше говорить? Как ты будешь дальше извиваться от боли?»

И Евлалия Григорьевна оборвала себя. Вероятно, ее остановила гордость человека перед существом иного мира. Она замолчала и сделала шаг назад. И сейчас же все вышли и, опять очень независимо стуча сапогами, пошли по коридору. Было слышно, как за ними захлопнулась дверь в передней, и как через две-три минути автомобили под домом зафыркали и отъехали.

И чуть только они отъехали, как изо всех комнат выбежали жильцы. Никто из них не спал всю ночь, а все сидели у себя в комнатах, уже одетые, готовые ко всему, и со сжатым сердцем замирали. Гнет страха всю ночь был разлит по всей квартире, и тяжелая тень придавила всех. Каждый, не видя ничего и не слыша ничего, сидя в своей комнате, не только мозгом и сердцем, но даже и всей кожей, ставшей так остро чувствительной, ощущал злое, которое шло от этих пятерых. Не так ли собака, даже не видя волка и даже не слыша его воя, чувствует его иную, враждебную силу?

Всю ночь в квартире было придушенно, мертво и по-могильному тихо. Никто не зажигал огня, никто не отворял дверей и никто не ходил. Все время прислушивались необычайно обострившимся слухом, коротко и односложно шептали почти одним дыханием, нервно курили и, замерев, ждали: бессильные и готовые ко всему. Это был почти мистический страх перед силой, которая враждебна обычному человеку.

Притихшие в испуге люди всю ночь боялись даже дышать свободно. Чего боялись они? Каждый из них своим разумом знал, что пришли не к нему, что пришли не за ним, и что страшные пятеро даже не зайдут к нему в эту ночь. Но страх сковал всех. Угроза была не в том, что могут арестовать, сослать и даже расстрелять, а в том, что человек отдавался не человеку же, злому и беспощадному, а иному существу, которое не было человеком. Угроза и страх порождались властью этого существа. Он пришел!.. Кто он? Была ночь, и было темно. Но если бы был день, то, все равно, было бы темно.

И когда зафыркали отъезжавшие автомобили, у всех свалилась глыба с сердца. Очистился ли воздух от лучей зла, пронизывавших его всю ночь, оборвалось ли злое очарование, которое исходило от этих пятерых, но все сразу выбежали в коридор, что-то начали говорить нервно, бессвязно и торопливо, что-то начали спрашивать друг у друга, не дожидались ответа, ужасались, размахивая руками, но, в то же время, все чувствовали себя облегченно и до легкомысленности радостно: прошло!

И, не сговариваясь, почти побежали в комнату Евлалии Григорьевны. Не постучали, не спросили, можно ли войти, а вошли так, как входят в комнату, в которой лежит покойник в гробу: гроб разрешает входить даже незнакомым. Немного затаили дыхание, невольно наморщили лбы, старались ступать как можно тише... И каждый вдруг почувствовал, что Евлалия Григорьевна стала всем близка, дорога, почти любима, и что ей обязательно-обязательно надо помочь, чем только можно помочь, даже если и нельзя ничем помочь ей.

ГЛАВА XIV.

Терпугов, начальник следственного отдела, сидел перед столом Любкина и изо всех сил сдерживал себя. Он понимал, что перед ним открывается черная

пропасть, но еще не знал, свалится он в нее или сможет удержаться у края. Он старался быть спокойным и выдержанным, сидел прямо, отвечал коротко и толково, с полувоенной манерой. Но только очень большим напряжением воли он мог держать себя. Его мысли не складывались (не успевали складываться) в законченные фразы, а прыгали в мозгу отдельными словами: «Пропал? Выскочу? Конец?» Любкин говорил о делах, и Терпугов отвечал о делах же, но при этом он отлично понимал, что его судьба решится не делами и не тем, что Любкин называл «служебными неполадками», а причинами, которые ему неизвестны, и которые вытекают совсем не из дел, а из таинственного «что-то», нависшего над жизнью и покорившего жизнь.

Любкин говорил, не повышая голоса и ничем не угрожая, очень спокойно. Но видно было, что он только сдерживает себя и может каждую минуту прорваться. За последние две недели он арестовал четырех уполномоченных «за саботаж в государственном деле», а вчера арестовал начальника административного отдела. Сегодня же он вызвал к себе Терпугова «со всеми цифрами», а зачем ему были нужны эти цифры, нельзя было понять, потому что из разговора обнаружилось, что он их знает наизусть.

— У Глобышева на руках 25 следственных дел, а только четверо сознались. У Мордовцева 17 дел и двое сознавшихся, у Фишмана пятеро на 18. Куда ж к чорту такое годится? Ни к хренам собачьим такое не годится. Но я твоих следователей покамест не виню, потому что рыба всегда начинает вонять с головы, товарищ Терпугов, а поэтому я раньше всего голову-то и зацеплю под жабры. Почему не струнишь ребят? Умышленно потворствуешь? — колко и остро посмотрел он. — Итальянская забастовка? Объясни!

— Кончай! — изо всех сил постарался казаться спокойным Терпугов, чувствуя, что мысли выходят из повиновения.

— Почему у Смирнова на 28 дел 24 сознавшихся, а у Глобышева четверо на 25? Ты проследил за этим? Изучил? Вник?

— Случайный подбор дел! — нашел объяснение Терпугов, сдерживая удары сердца.

Любкин посмотрел на него с презрением, и его прорвало: размеренность и спокойствие сразу исчезли.

— Иди ты к... знаешь, куда? — как-то сбоку смотря на Терпугова, зло сказал он. — «Случайный подбор дел!» «Объективные обстоятельства!» Гаже и придумать не мог? А еще большевик! Справляться не умеете! — негромко стукнул он ладонью по столу. — Сопли распускаете! Со Смирновым говорил?

— О чем? — слегка перехватило в горле у Терпугова.

— О мамкиной титьке! — съязвил Любкин. — Почему у него все сознаются? Почему у него с обвинениями все в срок и в порядке? Как он работает? Какие у него методы? Бьет, что ли, без милосердия?

— Бьет! — коротко ответил Терпугов.

— А другие киснут? Маниловщину разводят? Ждут, пока я сам за них не возьмусь? — все больше и больше накалялся Любкин. — Я и возьмусь, но только тогда на меня не пенять: круто возьмусь, а за тебя первого!

«Значит, еще не угробит! — мелькнуло в голове у Терпугова. — Только грозит!»

— Ты вот сердишься, товарищ Любкин, — таким тоном сказал он, будто вел товарищескую беседу и не ждал ничего дурного, — а ты сам рассуди: что уполномоченный, враг себе, что ли? Он ведь знает, что если он с арестованным не справится, так тогда ты с ним самим справишься. Он и старается вовсю, правду тебе говорю. У меня ребята, если по совести сказать, молодцы, но не шилом же гранит прошибать.

— Коли шило не берет, зубило возьми! А зубила нехватит, так молотом бей, динамит закладывай, чорта взрывай, а следствие до конца доводить, и до-

водить его в срок! Ты мне пробку здесь не устраивай: до того довел, что в камерах не только сидеть, но и стоять уж негде, битком набиты! А новых я куда сажать буду? Я говорил: ничего я не разрешаю и ничего я не приказываю, а интересоваться тем, как твои следователи добиваются сознания, я не стану. Ребята у тебя, может, и молодцы, но ты, я вижу, растравить их как следует не умеешь. А ты так действуй, как добрый псарь на охоте действует. Знаешь? Как заатукает, как заулюлюкает, так даже полудохлая тявка у него зверем становится: на волка бросается и в медведя вцепляется! А у поганого псаря, вот у такого, как ты, даже и звери-собаки дохлыми тявками становятся! Лаять лают, а зубами не хватают. Понятно?

Он почти зло посмотрел на Терпугова долгим взглядом. Тот выдержал этот взгляд.

— Даю тебе ровно две недели сроку! — угрозливо закончил Любкин. — Придешь и доложишь. И тогда сам себе решение подпишешь: туда или сюда. А мое слово крепко, это ты знаешь.

Терпугов встал, одернул на себе складки, поправил пояс и вытянулся.

— Будет исполнено, товарищ начальник! — повоенному отчеканил он.

— Посмотрим! — недоверчиво протянул Любкин.

Терпугов, стараясь шагать твердо и ровно, вышел из кабинета. Любкин минуты три просидел, откинувшись на спинку кресла, а потом стал читать лежавшее перед ним «Дело». Он прочитал уже две страницы, как вдруг сообразил, что читает только глазами, но ни понять, ни осознать прочитанного не может: оно не оставляет в нем следа. Ему надо было разобраться в сложном деле местной организации троцкистов, которое было искусственно создано по приказу из Москвы: во всех городах были эти «организации троцкистов». Арестованных по делу были сотни, но следователи путали и не только не умели свести концы

с концами, но, словно нарочно, тянули эти концы в разные стороны, так что у них на каждом шагу получались противоречия, которые уничтожали друг друга. Любкин видел, что следствие заблудилось, и что надо направить его «по правильному пути», что надо дать следователям исчерпывающую директиву. «Пусть бьют в одну точку!» — хмуро думал Любкин, но никак не мог сам сообразить: где же эта «точка» и в чем она?

Следователи, доведенные до отчаяния, чувствуя себя в тупике, начинали зверствовать, потому что видели в каждом обвиняемом того своего врага, который своим упорством их самих «к шлепке подводит». «Воображения нехватает!» — гремел на них Любкин, но дело было не в недостатке воображения. Следователи были уже опустошены и уже не могли подсказывать обвиняемым нужные показания, а ошалело требовали одного: «сознаться!» В каком-то нелепом хаосе лживых нагромождений они пытались найти нужное зерно, которое можно было бы счесть хоть призраком правды. От страха и от побоев обвиняемые, доведенные до отчаяния и до волевого бессилия, пытались придумывать свои преступления, но получался нелепый, бредовой узел, в котором не было ни одного конца: середина есть, а концов нету. Получалось нелепо и даже глупо: получалось так, будто каждый из обвиняемых был в каком-то заговоре, в котором вместе с ним были и сотни других людей, но каждый из этих сотен сознавался в том, что он одновременно был и в других заговорах, т.е. одновременно был в любом из сотни заговоров. Этот хаос показаний, оговоров и взаимных обвинений мог напоминать шабаш исступленных ведьм, но получалось так, что именно в хаосе лжи оголтело видели и верность коммунистической идее и саму коммунистическую идею. «Вот это-то и есть настоящий коммунизм!»

Арестовывали без удержу, все камеры были забиты, в тюрьмах нехватало места, арестованных дер-

жали даже в товарных вагонах, на дальних запасных путях. Наряду с делом «троцкистов», шли десятки других дел, таких же нелепых и фантастичных. Любкин свирепел и требовал, чтобы следствия заканчивались в срок, чтобы «не было пробки», но дела запутывались, оговоры нагромождались на оговоры, и в каждое дело втягивались все новые обвиняемые, которые тащили за собой новых и новых.

В показаниях был «самотек», а поэтому ни у кого из следователей не было ни одной общей линии. Противоречия нагромождались такие несуразные, что следователей охватывала оторопь: в какую ж сторону вести дело? Одни говорили о своем участии в убийстве Кирова, другие сознавались в организации военного заговора. Но на другой день они менялись местами: участники военного заговора сознавались в убийстве Кирова, а вчерашние убийцы Кирова подписывали признание в своем участии в военном заговоре. Третьи несли бред о своей связи с турецким консульством...

— Почему с турецким? — хватались за голову следователи. — Ведь турецкого консульства и в городе-то у нас нет!

Тогда те спохватывались и начинали нести новый бред, об японском консульстве, которого тоже не было в городе, а следователи, сами запутавшиеся, как муха в плевке, махали рукой:

— Ну, и чорт с ним! С японским, так с японским!

Бред сплетался с бредом, порождал уродливым почкованием новый бред и свивался в кошмарную удавку, которая душила не только арестованных, но и самих следователей. И все чувствовали страх. Никто из следователей не мог сохранить ни спокойствия, ни уравновешенности, ни разума. В каждом арестованном они видели не живого человека, а угрозу себе: «Если не справлюсь с ним, то погибну сам!» И они начинали ненавидеть всех арестованных исступленной ненавистью страха. Сначала они только избивали на

допросах, избивали зверски и мучительно, с проснувшимся сладострастием, но потом начали бросаться к более острым мучениям: вспыхнувшее сладострастие ненависти и страха требовало более яркого, сильного и кровавого. Что есть силы били носком ноги в пах; вставляли в ноздрю карандаш и крепко ударяли по нему снизу книгой; зажигали перед глазами лампочку в 1000 ватт и держали так по 6-8 часов. Один из младших уполномоченных (его все называли «Жорка») придумал особый ящик, про который говорили: «Ого-го!» И все смотрели или напряженными, или потерянными глазами, запутавшись в бреде и уже не сознавая: они ли создали этот бред, или он создал их самих?

Обыкновенный, человеческий, мир исчез. Вместо него, создался мир лжи, которая подчиняла себе и сознание, и поступки, и волю людей. Лгали сексоты, делая чудовищные по вымыслу доносы; лгали следователи, создавая несуществующие обвинения; лгали свидетели, удостоверяя то, чего никогда не было и не могло быть; лгали даже обвиняемые, сознаваясь в несовершенных ими преступлениях. Все знали, что каждое слово, которое говорится и пишется в этом страшном здании, — ложь, но невдомая сила, направлявшая жизнь, вывихивала мозги и душу, а поэтому доводила людей до того, что они начинали верить в ложь, даже зная, что она — ложь. Подлинный мир людей и действий перестал существовать в сознании и в чувствовании, а вместо него, создался мир колеблющихся, неуловимых фантомов, в которых не было плоти, и которые были только тенями, но эти тени были бóльшей действительностью, чем сама действительность. Каждый живой человек переставал быть для других и для себя живым человеком, а становился фантомом с несовершенными им делами и с несказанными им словами.

А за фантомами стояла неведомая сила.

Она была неведома, но повелевала именно она. И

повелевала она не высказыванием своей воли, а только своим существованием. Смысла в ее повелениях не было, но подчинялись ее повелениям все. Вероятно, смысл повелений был в подчинении?

Странные ощущения начали в последнее время охватывать и Любкина, когда он, подобно всем, стал терять ощущение реальности жизни и реальности людей. Неуловимое сознание говорило ему о том, что все видимое им — «ненастоящее». Он прочитывал протоколы дознаний и обвинительные заключения, выслушивал доклады подчиненных, давал распоряжения, требовал исполнения, готовил материалы для «тройки», но ему все время казалось, что все это только шорохи нежити, а не звуки жизни, движения какого-то сна, а не поступь человека. «Неужто ж ненастоящее стало настоящим? — иной раз с растерянностью смотрел он перед собою. — Что ж тут к чему?» И ему казалось, что все та же сила закрывает ему его человеческие глаза, и он начинает смотреть нечеловеческими глазами.

В этот вечер он сидел в своем кресле и напряженно пытался вчитаться в дело троцкистов, но голова работала плохо. Кроме смутных мыслей, ему еще что-то мешало или, может быть, ему чего-то нехватало. «Напиться, что ли, как следует?» — подумал было он, но поколебался: на «напиться, как следует» у него обыкновенно уходило дня два, а потом нужен был еще и третий день, чтобы «поправиться». Правда, после таких трех дней он начинал работать, как чорт, но уйти на три дня из работы он сейчас не решался: «Такого тут накрутят без меня, что потом и трезвый не справишься!» И вдруг он догадался: схватил с одного из телефонов трубку и набрал номер. Подождал.

— Алло! — услышал он нежный голос Елены Дмитриевны, и ему почудилась в этом голосе ложь.

— Дома? — сердито спросил он: она была ему сейчас противна тем, что он вдруг захотел ее.

— Дома.

— Спать не ложишься?

— Еще рано, но собираюсь. Делать-то ведь мне нечего.

— Погоди, не ложись! — тоном служебного приказа распорядился он. — Сейчас приеду на часок.

Он положил трубку и стал было собираться, но вошел Супрунов. И по его лицу, по всей фигуре и даже по походке Любкин сразу увидел, что тот пришел с чем-то важным и нехорошим.

— Собираешься? — коротко спросил Супрунов, и Любкин услышал в его голосе осуждение.

— К бабе хочу съездить! — пробурчал он. — Мозги прочистить надо, а то они у меня что-то мутные.

— Погоди! Дело есть. Срочное.

— Надолго?

— А это видно будет.

— Хорошо. Садись. Я сейчас.

Он опять взял трубку телефона и опять вызвал Елену Дмитриевну.

— Ты... — начал было он, но не стал говорить то, что хотел сказать, а коротко бросил. — Ложись спать, не приеду.

И, не дожидаясь ни слова в ответ, положил трубку.

— В чем дело? — спросил он Супрунова.

Тот достал из портфеля лист бумаги и протянул его через стол.

— Читай.

Любкин стал читать. Супрунов курил и, не отрываясь, смотрел на Любкина. И видел, что лицо того все больше и больше темнеет от наплывающего напряжения, что брови сдвигаются, и жилы на лбу надуваются.

Любкин прочитал бумагу до конца, потом еще раз перечитал некоторые места, положил бумагу на стол и поднял глаза.

— Вот оно как! — очень многозначительно сказал он.

— Дело серьезное! — тихо подтвердил Супрунов. — И даже очень.

Он взял бумагу крепко стиснутыми пальцами: казалось, он хотел раздавить ее. Это был написанный от руки протокол показания председателя местного горсовета, Варискина, арестованного месяца два тому назад.

ГЛАВА XV

В 20-х годах Варискин был токарем на заводе «Серп и молот». В ленинский набор он попал в партию, но первые года никак не мог продвинуться вперед, хотя и зарекомендовал себя очень послушным исполнителем тех поручений, которые ему давались районным партийным комитетом. Ему, обычно, поручалось самое неприятное, за что другие брались неохотно, но он все выполнял не только добросовестно, но даже с такой готовностью, которая становилась удовольствием, хотя он никаких звезд с неба и не хватал. Его считали «преданным» и в конце 20-х годов послали «проводить коллективизацию». Он провел ее настолько успешно, что район занял первое место в области. Варискина отметили и, словно бы в награду, провели в члены горсовета. В горсовете пользы от него было мало, но он так рьяно суетился, так горячо кипятился, так многословно говорил и, главное, так искренно опровергал сегодня то, что защищал вчера, что в 1935 году его сделали председателем горсовета, потому что видели: Варискин «не подгадит» и ни на волос не отклонится от приказов свыше.

Став председателем горсовета, Варискин почувствовал себя на верху власти и сразу опьянел от этой власти, немного наивно преувеличивая ее. Он стал ходить медленно и важно, стал подавать руку с разбором, стал говорить коротко и внушительно. Очень

быстро он научился делать многозначительное лицо и хмуриться с особым выражением, которое он считал признаком партийной углубленности. Кроме того, он откровенно полюбил класть резолюции на различные бумаги и требовал, чтобы всякие, даже самые пустячные, бумажки обязательно приносились ему «для решения». И он, тешась сам перед собою, писал красными чернилами наискосок левого верхнего угла: «Исполнить», «проработать», «навести справку», «согласовать с облисполкомом». В горсовете над ним и над его важностью посмеивались, называли его «индейский петух», но считали его безобидным, что было правдой. А он все больше и больше набирался сознания своей власти.

Он садился в автомобиль, который ему полагался по должности, с таким чувством, будто это был его собственный автомобиль. Но не только на этот автомобиль, но и на весь горсовет он смотрел, как на «свое» учреждение, как на «своих» служащих: смотрел глазами того купца, который нанимает себе «молодцов» и искренно считает, что он «благодетельствует им», потому что «кормит» их. Варискин никогда не говорил «у нас в горсовете» или «наш горсовет», но всегда — «у меня в горсовете», «мой горсовет». И, говоря так, совершенно точно выражал то, что думал и чувствовал. Даже про город он говорил — «мой город», чувствуя себя хозяином и владельцем его.

Его арестовали в связи с арестом второго секретаря обкома, который выдвинул его в председатели горсовета: он, выходит, был ставленником врага народа. Свой арест он встретил с искренним и негодующим недоумением: как это осмелились арестовать его, «хозяина города»? И когда его вызвали на первый допрос, он пошел быстро, решительно, бормоча про себя что-то угрожающее: он собирался что-то кому-то «доказать», а потом даже и «показать». Но на допросе получилось совсем неожиданное. Уполномоченный Яхонтов, исполнив предварительные формаль-

ности, внушительно посмотрел на него и холодно спросил:

— А теперь сознавайся: за что мы тебя арестовали?

Этот вопрос сразу же сбил с толка Варискина. Он понятия не имел, что следует отвечать на подобный вопрос, но все же не смешался, а принял важный, напыщенный вид. Его, несомненно, подбадривало то, что Яхонтов был еще молод, а лицо у него было славное, простое, «компанейское».

— Видишь ли, товарищ следователь... — начал было он. — Ежели говорить прямо, по-большевистски...

Яхонтов тут же крепко хлопнул кулаком по столу и резко крикнул:

— А я тебе не «ты» и не «товарищ»! Встать! Каблуки вместе!

Варискин растерялся и не знал, что ему делать. Он продолжал сидеть, раскрыв рот с самым чистосердечным недоумением, и мигал оторопевшими глазами. Яхонтов вскочил с места, обежал вокруг стола и два раза, справа и слева, изо всех сил ударил его по скулам.

— Встать! Кому говорю!

Варискин растерянно поднялся, ничего не понимая, а Яхонтов, не давая ему говорить, стал бить его по лицу: сначала кулаком, а потом каменным прессом. Варискин хрипло закричал, поднял было руки, чтобы закрыть лицо, но вдруг глянул в глаза Яхонтова и сразу же понял, что ни пощады, ни спасения нет. Инстинктивно он мотнул раза два головой, пытаясь уклониться от ударов, а потом вдруг упал на пол: не оттого, что его свалили эти удары, а оттого, что он сразу потерял все физические силы. Яхонтов же, ничего в припадке злобы не разбирая, стал бить его, лежачего, ногами в сапогах, стараясь побольнее ударить носком сапога в живот или в пах. А потом остановился и, тяжело дыша, сел на свое место.

— Встань! Садись! — приказал он.

Варискин, стирая рукой кровь с разбитого лица, поднялся на дрожащих ногах и почти упал на стул, ничего не понимая. Все слова, которыми он хотел что-то «доказать», совсем исчезли из сознания, и он смотрел с видом полной растерянности.

Яхонтов со злобой посмотрел на него и пробурчал:

— Учить вас, гадов!

А потом зло рванул лист бумаги и схватил ручку с пером.

— Сознаешься? — с угрозой спросил он, впиваясь глазами.

Варискин смотрел, но попрежнему ничего не понимал.

— Так я же... В чем же сознаться?

— Не знаешь? — гадко ухмыльнулся Яхонтов и поднял голову. — Эй, смотри! Жорке отдам! — пригрозил он непонятной угрозой.

Варискина посадили в одиночку. Он от этого совсем упал духом, но понять не мог ничего: в чем он должен сознаться? что значит — сознаться? На двух следующих допросах он лепетал что-то невнятное и все пытался что-то объяснить. Яхонтов не слушал его, смотрел на него со злобой и с презрением, грозно ругался страшными ругательствами, пугал каким-то «Жоркой». Однако, он и сам не знал, что ему делать. Придумать для Варискина более или менее правдоподобное обвинение, которое можно было бы связать с другими делами, он не мог, а поэтому и требовал, чтобы Варискин это обвинение придумал сам. Но Варискин не понимал ничего, да вряд ли он и мог придумать что-нибудь путное.

Получалось странно и нелепо. Яхонтову был нужен не подлинный Варискин, но Варискин-фикция. Однако, человек-фикция продолжал оставаться человеком-действительностью и угрожал Яхонтову ни чем иным, как тем, что он с тупой упорностью не превра-

щался в фикцию, не растворялся и не исчезал в ней. Яхонтов требовал, угрожал, кричал, ругался озлобленной руганью, бил, но Варискин все оставался самим собою, действительным: бессильно, но упорно сопротивляющимся.

Тогда Яхонтов вызвал «Жорку».

Варискин не знал, кто такой этот Жорка, и не знал, зачем его вызывает Яхонтов. Но когда Яхонтов срывающимся, запыхавшимся голосом вызвал по телефону этого Жорку, у Варискина сразу остановилось похолодевшее сердце. Он с ужасом и с мольбой посмотрел на Яхонтова, хотел что-то сказать, он не нашел ни одного слова, а только затрепетал, как трепещет подстреленная птица, которая уже видит бегущую к ней собаку, видит полураскрытую пасть, сверкающие блеском клыки и густую слюну, скатывающуюся с черных губ.

Жорка вошел. Варискин со страхом посмотрел на него, готовясь увидеть что-то ужасное, но ничего ужасного не увидел. Жорка был просто паренек лет 25-ти, тонкий и вихлястый, со смазливым лицом и даже с некоторой развязной кокетливостью: видно было, что он считает себя красивым. Но у него были узкие, запавшие глаза в глубоких глазницах и пучковатые мохнатые брови на чрезмерно развитых надбровных дугах, и это делало его лицо странно обезьяньим. Он остановился у двери и, ухмыляясь ухмылкой, от которой его лицо стало передергиваться, мотнул Варискину головой:

— Обзнакомиться желаешь? Давай, обзнакомимся!

— На стойку! — коротко бросил Жорке Яхонтов, все еще запыхиваясь от злобного крика, которым он только что кричал на Варискина.

— Можно и на стоечку! — нежно согласился Жорка и кивнул Варискину головой. — Пойдем, коли так!

Он отвел его в подвальную камеру, в которой не

было ни одного окна и никакой мебели, кроме непонятного шкафа в углу. Стены были покрашены серой краской, а пол был каменный. Высоко под потолком тускло горела слабая лампочка, вся покрытая пылью и паутиной. Варискин вошел и сразу же поежился: в камере было очень сыро, холодно и до противности промозгло.

А за стенами было пышное лето, полное голубого неба, веселого солнца и искренней радости жизни. И Варискин очень тонкой струйкой воспоминания вспомнил, как Яхонтов (2-3 минуты тому назад!) опустил в своем кабинете штору: солнце ярко било прямо в глаза. И от этого быстрого воспоминания промозглая сырость подвальной камеры наполнила его мучительной тоской и маетой предчувствия.

— Раздевайся! — со своей недоброй ухмылочкой приказал Жорка..

Когда он говорил или только смотрел, вся кожа на его лице усиленно двигалась, словно он гримасничал. А запавшие глаза-гляделки смотрели с какой-то удивительно похабной издёвкой.

— Раздевайся ж! — еще раз приказал он.

Варискин несмело и неуверенно снял пиджак и вопросительно посметрел на Жорку, а тот замахнулся кулаком.

— Раздевайся, сволочь! — злобно закричал он. — Ждать еще тебя тут!

Варискин снял жилет и, прыгая на одной ноге, стащил с себя брюки.

— Снимай, снимай! — торопил его Жорка, двигая кожей и гримасничая.

Когда Варискин разделся донага, Жорка грубо толкнул его в спину и сильно поддал коленкой сзади.

— Иди, гад!

Варискин ничего не понимал: куда идти и что делать? А Жорка подтолкнул его к тому странному шкафу, который стоял в углу. Это был даже не шкаф, а скорее какой-то ящик из некрашеных досок: при-

мерно, полметра в длину, немного меньше в ширину, а высотой — по плечи Варискину. Никакой крышки не было, и ящик сверху был открыт. Не было в нем и дна: дном был каменный пол камеры. Задняя стенка была дверью, и Жорка отворил ее.

— Входи!

Варискин вошел, все еще ничего не понимая, но тем более страшась. Жорка захлопнул позади него дверь, запер ее на немудреную задвижку, и Варискин увидел себя в тесной загороже. Он хотел что-то спросить, но не знал, о чем надо спрашивать. Смотрел поверх досок, окружавших его с четырех сторон, и все бормотал про себя: «Что оно такое? Что оно такое?» Потом переступил с ноги на ногу, повел плечом и вдруг очень больно укололся лопаткой обо что-то острое. Он слегка вскрикнул и инстинктивно дернулся вперед, но сейчас же укололся плечом и грудью. Он вскрикнул совсем громко.

— Ага! — нагло захохотал Жорка. — Видал-миндал с кандибобером?

Варискин не только ничего не видел в тесном ящике, но и не мог ничего увидеть, т. к. не мог присесть, чтобы разглядеть. Боясь пошевелиться телом, он нагнул голову, скосил глаза вниз и кое-как разглядел, что в доску стенки были снаружи забиты гвозди, которые торчали своими острыми концами внутри ящика. Очевидно, и во все остальные стенки были сверху до низу вбиты такие же гвозди, так что в тесном ящике можно было только стоять неподвижно, но нельзя было пошевелиться, чтобы не наколоться до крови. Варискин задрожал.

— Вот оно как! — опять так же нагло захохотал Жорка. — Разглядел? С гвоздочками оно! Стой смирно, гад, а то наколешься!

Он засунул руки в карманы штанов, широко расставил ноги и, вихляя всем телом, стал смотреть на Варискина неподвижными глазами. Варискин, словно загипнотизированный, тоже смотрел на него. Он ви-

дел, как лицо Жорки становится грубо надменным, презрительными и гадко высокомерным.

— Ну, и стой! — подмигнул ему Жорка, ненавидя Варискина готовой ненавистью. — Стой тут, пока я не приду!

Он повернулся, чтобы выйти, но вдруг сложил руки за спиной, начал напевать какой-то задорный мотивчик вроде старой польки и завихлял ногами, пританцовывая. Раз, два, три! — он шаркнул вправо. Раз, два, три! — он шаркнул влево... Раз, два, три! Раз, два, три!

Варискин похолодел: это было ужасом.

Жорка, пританцовывая, вышел. Громко засунул засов снаружи и дернул дверь: заперта ли? Потом все стихло.

Варискин остался один в сырой, промозглой камере с серыми стенами, с каменным полом и с тусклой, запыленной лампочкой под потолком. Он попробовал осторожно пошевельнуться, но кожей плеча почувствовал острие гвоздя и, вздрогнув, замер неподвижно: двигать можно было только шею, поворачивать можно было только голову. Варискин застыл.

Сперва он, взволнованный и напуганный, не замечал холода, но когда Жорка ушел, и прошло минут десять, он начал весь дрожать мелкой дрожью. Непроизвольно и инстинктивно, он начал даже ёжиться, но ёжиться было нельзя, т. к. при неосторожных движениях он царапался о гвозди. Мелкая дрожь все усиливалась. Скоро он начал даже трястись всем телом, один раз он даже дернулся, но так сильно оцарапал себе руку в нескольких местах от плеча до локтя, что не удержался и вскрикнул. И крик вышел жалобным и бессильным, как у подраненного зайца. Дрожать и дергаться было нельзя, но нельзя было не дрожать и не дергаться: холод забрался в самую середину, прокрадывался в жилы и леденил сердце. У него застуча-

ли челюсти, и этот стук он стал слышать преувеличенно громко. Дрожь становилась конвульсивной.

И вдруг он почувствовал, что он страшно устал, до изнеможения устал, и не может стоять больше. Каждый мускул тела ныл: ныли опущенные руки, ныли напрягающиеся ноги, а особенно ныла поясница. На плечах лежала тяжесть, ослабевшие колени подгибались, а в груди давило. Нестерпимо хотелось пить, и слюна сделалась густой и вязкой: казалось, что именно от этой слюны так страшно хочется пить.

Ни мускулы, ни нервы не держали тела. Он попробовал было слегка опустить торс, чтобы хоть на минуту освободить больную поясницу, но стало очень больно животу, и он выпрямился. Осторожно, боясь уколоться, он перенес тяжесть тела на правую ногу и освободил левую. Стало, как будто бы, немного легче, но через минуту эта правая нога начала так дрожать, что он качнулся и напоролся бедром на гвозди. Выпрямился, даже чересчур выпрямился. Затаил дыхание. Потом перенес тяжесть тела на левую ногу и дал правой немного отдохнуть.

Нестерпимо хотелось прислониться, во что бы то ни стало — прислониться. Обманывая себя, Варискин чуть-чуть подался назад, осторожно прислушиваясь спиной к гвоздям: он хотел хотя бы немного, хотя бы слегка опереться на них, чтобы они не кололи, а только давили, но чтобы он, все-таки, мог притулиться. И действительно, в первую секунду он почувствовал облегчение в пояснице, но не мог удержать усталые мускулы, которые наваливали тело на гвозди все сильнее и сильнее, требуя себе отдыха. Несколько гвоздей тотчас же очень больно впилось ему в лопатки. Он сразу выпрямился. Подергиваясь в судорогах озноба, замер в том единственном положении, в котором он не касался гвоздей.

Пить хотелось все сильнее и сильнее. Сухой язык царапал сухое нёбо. Горло подергивалось. И изнуряющим жаром стали гореть щеки.

Времени не чувствовалось: час прошел или пять часов? Серые стены, тусклая лампочка, неподвижность, промозглый холод и тишина были вне времени. Они не двигались. Из углов подступала и с потолка опускалась гнетущая, мертвая, безнадежная тоска обреченности. Шевельнуться — нельзя, уйти — нельзя, упасть — нельзя. Можно ли умереть? Ни мыслей, ни представлений уже не было. Что-то бредовое, бессвязное и неосознаваемое начало наполнять его. И вместе с тем, в нем начало расти то ощущение подавленности и уничтоженности, которое возникло в нем, когда Жорка стоял перед ним и смотрел на него. Оно начало расти и, не сдерживаемое ничем, почти сразу достигло химерических пределов: он, Варискин, все больше и больше переставал чувствовать себя. Он, Варискин, как бы переставал быть. Его не было, но были серые стены, промозглая тишина и усталые, дрожащие мускулы.

И через бредовой туман его полусознания стала подкрадываться мучительная мысль: долго ли? Скоро ли все это кончится? Она, эта мысль, подкрадывалась незаметно, но едва лишь подкралась, как сразу овладела им всем. Варискин, конечно, не знал, что этой мысли никак нельзя допускать, потому что она мучительнее холода и гвоздей: ведь она дразнит концом, которого нет и... не будет! Эта мысль породила в нем нетерпение, которого раньше в нем не было, а от нетерпения усталость стала сильнее, гвозди — больнее, холод — нестерпимее, а тоска — невыносимее. «Долго ли еще?» И чем чаще Варискин спрашивал себя об этом, тем ему становилось все мучительнее и мучительнее. Нетерпение обострило в нем все, и поэтому все стало нестерпимее. «Долго ли? Долго ли?» Часы проходили, но они не воспринимались им, как обычные часы, как привычный счет времени, а тонули в мучительном «долго».

Вдруг звякнул наружный засов. Варискин, из каких-то последних сил, испугался. Что еще будет?

Вошел Жорка. Он, не затворяя за собою двери, вошел в камеру и остановился, кривляясь лицом и вихляя телом. Мохнатые брови силились что-то выразить и сказать, но в них не было выражения: они были у него только пучками волос.

— Стоишь, сволочь? — не разжимая зубов, спросил он. — Ну, и стой!

Он смотрел на Варискина, а Варискин смотрел на него. Они смотрели друг на друга и никак не могли отвести этот прикованный взгляд, словно оба были заворожены.

Ненависть ли еще сильнее вдруг охватила Жорку, захотел ли он еще ярче почувствовать торжество своей власти, но он подошел к Варискину и, буравя его своими злыми, узкими гляделками, ни слова не говоря, сильно и наотмашь ударил его кулаком в рот. Раз и два. Варискин отшатнулся назад и напоролся спиной на гвозди. Он вскрикнул, но во рту что-то всхлипнуло и пролилось: горячее и липкое. Он открыл рот, и кровь, смешанная со слюной, медленно и густо потекла по углам рта. И Жорка тут же еще раз сильно и умело ударил в зубы. Варискин мотнулся, вскрикнул и выплюнул выбитый зуб.

Жорка сделал полшага назад и посмотрел.

— То-то же! — с угрозой сказал он. — И стой еще, гад! Пять часов простоял, простоишь и еще. Заморю!

И опять ушел, прогремев засовом.

То, что было дальше, Варискин никогда не мог вспомнить. Сознание покинуло его, а вместо сознания, им овладел бред, и один бред все время сменялся другим, но ни разу не было ни начала, ни конца. Если же вдруг открывалась минута просветления, то Варискин начинал истошно вопить, но даже и завопить он не успевал, потому что налетал новый бред, в котором вопля уже не было. Извиваясь от холода, он натыкался на гвозди, драл себе кожу до мяса, но не чувстцовал ни боли, ни крови. Вконец обесси-

ленный, он опускался коленями и бедрами, раздирал себе ноги, руки и спину, выпрямлялся, извиваясь, как полураздавленный червяк, опять опускался измученным телом и опять выпрямлялся, сотрясаясь в судорогах. А бред пролетал в его голове, безформенный и полный ужаса. Этим бредом был Жорка.

Он метался. В секунды просветления он с отчаяньем вопил без звука — «Долго ли?» Но тут же налетала ледяная мысль: «До смерти!» И сознание гасло от этой мысли, завихрившись в разорванных обрывках. Потом пронизывала острая боль от раздиравших его тело гвоздей, потом судорога озноба кидала тело на новые гвозди, потом подкашивались омертвевшие ноги, потом несказанная тоска тисками сжимала сердце, потом открытый рот не мог уже хватать воздух...

Жорка продержал его в ящике 12 часов: это была «первая порция». Вероятно, он любил какой-то любовью свое изобретение, потому что он даже радовался, если ему приказывали «закатить двойную порцию!» Но радоваться ему приходилось редко: даже после первой «стойки у Жорки» обвиняемый сознавался во всем, в чем ему приказывали сознаться, и подписывал чудовищные обвинения против себя и против других.

ГЛАВА XVI

Варискин не помнил, — сам ли он оделся, когда Жорка выпустил его из ящика, Жорка ли одел его. Сам ли он дошел до своей одиночки, отнесли ли его туда? Он, босой (распухшие ноги с лопнувшей кожей не влезали в сапоги), упал на койку и потерял сознание, сразу провалившись в бездонное. И, конечно, он не видел, как караульный, дежуривший в коридоре, чересчур часто заглядывал к нему сквозь глазок в камеру, как подолгу он смотрел на него, неподвижного, и как после того глаза караульного становились строгими и осуждающими. А сам карауль-

ный начинал что-то беззвучно шептать, и рука его что есть силы стискивалась в кулак.

Следующий день Яхонтов дал ему «отлежаться», а на третий день вызвал его к себе на допрос. Варискина полупривели-полупринесли в кабинет Яхонтова, и тот, поглядев на него долгим взглядом, ухмыльнулся и спросил:

— Сознаешься теперь? Или опять Жорку позвать?

При имени Жорки, Варискин затрясся, но никаких мыслей собрать в себе он не мог. Хватал раскрытым ртом воздух, мутно всматривался в Яхонтова и, наконец, спохватился.

— Со... сознаюсь! — прерывающимся голосом прохрипел он.

— Ага! — фальшиво восторжествовал Яхонтов.— Ну, говори, коли так! Все говори!

Но Варискин ничего не мог сказать. Он открывал рот, силился выдавить из себя хоть что-нибудь, но, бессильный, тут же замолкал. И Яхонтов, посмотрев на него, понял его бессилие. «Надо ему передышку дать, а то от него пользы, как от козла молока!» — подумал он и отложил перо в сторону.

— Ежели ты по-хорошему, — почти примиренно сказал он, — так ведь и я могу по-хорошему. Иди сейчас к себе и все обдумай. Крепко обдумай, сознательно... Понимаешь? Все припомни, все сообрази. Дня два-три я тебе дам для передышки, а потом опять вызову, и ты мне все расскажешь. Но только...

Его глаза сразу сделались стеклянными, а голос зазвучал сухо и твердо:

— Но только если ты опять начнешь дурака валять, так ведь я рога тебе обломаю, в этом ты не сомневайся! И не таких, как ты, я вот на этом самом стуле видал! Скажу Жорке, чтобы двойную порцию тебе закатил, он и закатит. Закатит!

— Не надо... Жорку... — прохрипел Варискин.

Яхонтов неискренно захохотал.

— Не надо? Невкусно? А это я уж посмотрю: если обнаружишь полное раскаяние и поможешь следствию, так я и без Жорки обойдусь, а если... Главное: всю вашу полную организацию открыть, кто в нее входит, кто тебя в нее вовлек, кого ты вовлек... Припомни всех поименно! Адреса, явки, пароли!.. — подсказывал он. — Ну, и цели, конечно. Связь с заграницей тоже.

Варискин понимал: от него требуют, чтобы он сам придумал для себя обвинение. Он лежал на койке в своей одиночке, пошевеливал распухшими ногами, прислушивался к острой боли во всех ссадинах, которые покрывали тело, и совершенно искренно хотел не только придумать обвинение, но и проявить готовность. Но у него нехватало ни воображения, ни фантазии, а кроме того, он был вконец измучен и не мог владеть своими мыслями. Он лежал на койке, смотрел на разбухшие ноги и тщетно напрягался: «Что бы такое этому чорту сказать? — бесплодно и тупо думал он. — Что бы ему сказать такое?»

Он был сломлен. Однако, Яхонтов понимал (его научили понимать это), что сломленный Варискин может быть только пассивным: он со всем согласится, все подтвердит и все подпишет. Но такого Варискина Яхонтову было мало: ему был нужен активный Варискин, который был бы способен не только примириться со своей гибелью, но мог бы сам создать свою гибель. Яхонтов, как и многие другие, чувствовал себя опустошенным: он уже создал сотни две дел, а потому уже растратился на придумывание обвинений и улик, уже выбился из сил, подсказывая признания на допросах и показания на очных ставках. Кроме того, он ужасно устал: постоянное напряжение, всегдашняя приподнятость нервов, перегруженность работой, недостаток сна, нелепые пьянки и непрекращающийся страх сломили его. Он чувствовал себя ослабевшим, опустившимся и инертным, но знал, что никакой слабости обнаружить нельзя. И он постоян-

но вздергивал себя, вздыбливал свои нервы, вел себя, как бы под доппингом, а от этого ослабевал все больше и больше.

Но для него было несомненно, что Варискин ни на что активное не способен, потому что он уничтожен жоркиным ящиком. Варискина надо было чем-нибудь «взбодрить», и Яхонтов решил подослать к нему «подсыпку». «Подсыпки» были разные и применялись они по-разному (был даже выработан особый метод «использования подсыпок»), но Яхонтов понимал, что Варискина можно «купить» только очень простым, грубо примитивным, но ярким и бьющим в глаза. Он выждал несколько дней и не трогал Варискина, давая ему «отлежаться».

На пятый день, под вечер, в камеру Варискина привели еще одного арестованного. Это был мужчина лет 40, с очень развитыми челюстями и с бегающими острыми глазами. Он вошел без вещей и, войдя, оглянулся.

— Одиночка, что ли? — отрывисто спросил он.

— Одиночка! — неприветливо ответил ему Варискин, но посмотрел все же с любопытством.

— Та-ак! Сиживал я и в одиночке!

Он пододвинул к себе табурет, довольно развязно и независимо сел, вынул пачку махорки и стал скручивать папиросу. Варискин все лежал на своей койке и искоса поглядывал на неожиданного соседа. А тот закурил и в полоборота повернулся к Варискину.

— Давно сидите? — небрежно спросил он.

— Третью неделю... — сумрачно ответил Варискин.

— Немного! Меня вот уже больше, чем полгода держат, от следователя к следователю бросают. У меня ведь дело большое! Я с булаканского района, Петрухин моя фамилия. Не слыхали? Завзаготзерном был.

Он всмотрелся в Варискина и вдруг вскинул бровями.

— А ведь вы — товарищ Варискин! Да? С горсовета? Сразу узнал!

Варискин насупился, не зная, хорошо это или плохо, что какой-то Петрухин из булаканского района узнал его. Он недовольно покосился и пробурчал что-то нескладное. А Петрухин развязно протянул ему свою пачку махорки.

— Закручивайте!

— Не курю! — все так же неприветливо ответил Варискин.

— Это хорошо: забот меньше.

Он оглядел камеру.

— И все время — один?

— Один.

— Да ведь и меня здесь держать тоже не станут. Я ведь в допре сижу, в тюрьме, то-есть. А сюда вот на допрос привезли, да, верно, следователь занят, так меня вот вроде, как бы в ожидании сюда и посадили.

Он говорил очень уверенно, безапелляционно, как человек, который за долгое сидение уже изучил все порядки и умеет безошибочно разбираться во всем. Затянулся раза два махорочным дымом, наклонился к Варискину и, понизив голос, спросил быстрым шопотом:

— Бьют? Здорово?

Варискин в первый момент даже вскинулся: так захотелось ему все рассказать, пожаловаться и излить сердце. Но он все же сразу осекся: ему стало стыдно рассказывать о том, как его, председателя горсовета, самого Варискина, бил Яхонтов, и как Жорка поставил его, голого, в унизительный ящик с гвоздями. Он подвигал бровями и не сказал ни слова.

— Да ты, Варискин, не стесняйся! — ободритель-

но перешел на «ты» Петрухин. — Знаю, что бьют: самого били. Так лупили, что и-и-и!.. А я ведь тоже член партии с 1929 года и, можно сказать, на линии секретаря райпарткома был. Впрочем, верно, потому и били! — непонятно закончил он.

Варискин посмотрел на него искоса: недоверчиво и неодобрительно.

— Партийцев-то и бьют. Особенно, которые хорошие партийцы! Беспартийных, конечно, тоже лупцуют, но тех только так, для вида, а по-настоящему-то в переплет берут нашего брата, верных сталинцев... Так? Правду говорю?

— Ну? — промычал Варискин, слегка заинтересовываясь.

— Вот тебе и «ну»! Верных сталинцев в переплет берут, верно тебе говорю! А почему? Знаешь ты это, — почему?

— Чего такого? — сердито спросил Варискин.

— А вот это самое. Знаешь ты, почему верных сталинцев, вот таких, как ты да я, арестовывают и перца им задают? То-есть, не «почему», конечно, а — зачем? Для чего? Знаешь ты это?

— Ну?

Петрухин быстро пересел на койку рядом с Варискиным, наклонился к его уху и зашептал с большой убедительностью.

— Как ты партиец, так тебе можно сказать! Тут, брат, штука большая, тут понять надо: отбор идет!

Варискин не понял, но встревожился: слово «отбор» показалось ему зловещим, потому что напоминало — «чистку». Он глянул на Петрухина: тот смотрел очень прямо и очень уверенно.

— Что еще за отбор такой? — хмуро спросил Варискин.

— Отбор вполне серьезный! — близко наклонился к нему Петрухин, и Варискин услышал, как скверно пахнет из его рта. — Конечно, всё это в полном секрете держат, потому что иначе никак нельзя, но

только я в разных камерах с такими людьми сидел, что если б на них раньше посмотреть, так шапка с головы свалилась бы. Высокие люди, республиканского масштаба люди! Ну, им, конечно, все это вполне известно! Вот они мне и открыли: «Крепись, говорят, Петрухин! Пройди, говорят, через отбор, а тогда тебе и цены не будет!»

— Да что за отбор такой? — совсем уж не в шутку заинтересовался Варискин.

Петрухин сделал большие глаза и зашептал очень убедительно.

— В ЦК акцию готовят... Что за акция, доподлинно не знаю, не стану тебе врать, но только такая это акция, что... Сам Сталин во главе! Может, оно что-нибудь международное, а, может, и по внутренней линии, но только оно такое важное, такое важное, что такого важного и не было никогда! И нужно для этой акции 10 тысяч верных партийцев. Понимаешь, Варискин? Верных! Ну, что называется, самых уж верных, на которых в-во как положиться можно! А как их распознать? На взгляд да по словам, — все верные, а если дело до дела дойдет, так ведь запищат, у которых кишка тонка. Запищат ведь! — поджал он губы и покрутил головой. — Если, скажем, который в японскую разведку попадет, и ему там хвоста с огоньком накрутят, так ведь он выдаст, а? Выдаст ведь? Или, скажем, его начнут миллионами подкупать, так ведь он, сукин кот, не выдержит и продаст! Девять, может, выдержат, а десятый продаст!

— Десятый продаст! — солидно подтвердил Варискин.

— А надо, чтобы ни один не продал! Надо, чтобы все 10 тысяч, как один, выдержали. Надо не людей, а золото: наивернейших, наипреданнейших, наинадежнейших! А как их распознать, спрашивается? Вот в Москве и задумались. А товарищ Ежов и предложил: «Разрешите, говорит, мне, товарищ Сталин, я эту самую пробу без ошибки проведу. Пускай по всем

союзным обкомам наметят хоть сто, хоть двести тысяч верных партийцев, беззаветных сталинцев, а я им экзамен в НКВД проделаю, через мясорубку их всех пропущу. Я, говорит, переарестую их всех, да и начну им такую гайку завинчивать, что у них глаза на лоб полезут... Вот тут-то они и определятся!»

— Как определятся? — загорелся страшным любопытством Варискин.

— А очень просто! У кого партийная кишка тонка, тот не выдержит и первым делом начнет матом крыть: и советскую власть, и партию, и самого товарища Сталина. Такой, значит, коммунистом может быть только в том условии, если коммунизм его по головке гладит и председателем горсовета делает. А если коммунизм против него ежом оборачивается, так он против коммунизма и подходящего мата не подберет. Так? А если кто, значит, на самом деле верный и преданный делу Ленина-Сталина, так тот все стерпит. Понимаешь, Варискин? «Замышлял ты на жизнь товарища Молотова?» «Замышлял!» «Так ведь мы тебя, сукиного сына, за это самое сейчас же к стенке поставим!» «Коли это для партии надо, ставьте хоть и к стенке, а если по текущему моменту партии необходимо, чтобы я на себя и на других наговаривал, так я не отказываюсь, потому что я для партии — всё! И на отца родного наговорю, и на друзей, и на приятелей... Никого для партии не пощажу!» Понимаешь? Понимаешь? Да вали числом побольше, сортом покрупнее, не стесняйся: самых ответственных партийцев называй, там разберутся! И тем самым ты, выходит, докажешь, что ты верный и преданный, что на тебя положиться можно. Ну, и зачислят тебя в десятитысячники!

Варискин слушал с остановившимися глазами и почти не переводя дыхания. С самого начала своего ареста он ходил в темноте: зачем арест, зачем побои, зачем жоркин ящик, зачем страшное требование самообвинения? Но теперь вдруг все стало ясно, и да-

же радостно-ясно. Каким нелепым вздором ни было то, что говорил Петрухин, он сразу и без колебания поверил всему: оно вносило свет в обступившую его кровавую тьму, и оно устанавливало для него цель, которая могла бы даже вдохновить его, если бы у него был хоть зародыш крыльев. Никакого неправдоподобия в словах Петрухина он не видел, потому что привык жить неправдоподобием и служить неправдоподобию. «Хитро задумано! — с восхищением ухмылялся он, слушая Петрухина. — Ловкие там ребята сидят, в Москве-то... Вожди!» — и подобострастная влюбленность в Сталина и в его «соратников» зашевелилась в нем.

— Стало быть, — шепотом спросил он Петрухина, — стало быть, проверка? Отбор?

— А ты как думал? — снисходительно и покровительственно посмотрел на него Петрухин. — Сотни тысяч партийцев сейчас загребают, таких тузов берут, что и подумать страшно! Ты думал, зачем? И... и я тебе вот что скажу, Варискин: это, брат, хорошо, что тебя арестовали: значит, считают тебя достойным экзамена. Крепись!

— Да я, что ж! — всхорохорился Варискин. — Я креплюсь! Я... Разве ж я осуждаю или, скажем, матюкаюсь? Партия знает, что делает!

— А уж если ты испытание выдержишь, — обольщающе зашептал Петрухин, — и если ты в десятитысячники попадешь, так ты такого достигнешь, что и во сне не приснится! Вот ты, скажем, кто такой был? Председатель горсовета? Оно, конечно, председатель — не фунт изюма, но все же он — тьфу! Мелочь! А если ты в десятитысячники попадешь, так... так... Предсовнаркомом в какой-нибудь республичке сделают, дачу в Крыму дадут, полный гараж автомобилей предоставят... На приемах у Сталина бывать будешь, кремлевским распределителем пользоваться и... А девочек-то, девочек!.. Табуны! Икру столовой ложкой жрать будешь, во все театры вход тебе бес-

платный, улицу твоим именем назовут, а то и районный центр даже! Комфорт!

Он прельщал наивными и примитивными соблазнами, но именно они-то, своей дешевизной, и действовали на Варискина. Что-нибудь более значительное, вероятно, не захватило бы его, но кремлевский распределитель, икра и девочки захватили. Он начал слегка задыхаться...

— И чтоб милиционеры, когда я мимо ехать буду, чтоб они мне честь отдавали! — замирая от этой картины подсказал он.

— Это уж само собой! Даже первомайский парад, если хочешь, принимать будешь! — издевался Петрухин, но Варискин не видел издевательства, а все больше и больше распалялся.

— И портрет в «Огоньке»!

— На всю страницу!

— И в «Правде»!

— Без отказа!

Варискин не выдержал волнения, сел и опустил ноги с койки.

— Я уж теперь на допросе, — весь заколыхался он, — я уж теперь... всё! Как есть всё! Чего мне ершиться? Если дело на отбор пошло, так я...

— Вот-вот! Вот это самое и есть! Бей в точку, Варискин!

И, присев к нему совсем плотно, Петрухин начал поддразнивать его карьерой «десятитысячника». Варискин раскрыл рот и забыл закрыть его, упоенно слушая каждое слово. Все, что говорил Петрухин, переносило его от безмерного унижения в жоркином ящике к щекочущему величию кремлевского распределителя и козыряющих милиционеров. Петрухин все шептал ему о том, что «десятитысячником зря не сделают», и что «это самое заслужить надо»:

— Ты уж постарайся, Варискин! Ты уж придудай что-нибудь такое необыкновенное! Чтоб оно, понимаешь, в нос шибануло!

Варискин кивал головой и блаженно улыбался.

— Да я... Что ж я? Я готов! Вовсю готов!

А через час дверь открылась, и в дверях показался караульный начальник.

— Петрухин! — позвал он, не входя в камеру. — На допрос!

— Иду! — лениво отозвался Петрухин и повернулся к Варискину. — Ну, прощай, товарищ Варискин! Сюда меня назад уж не приведут, не увидимся. Понял? Не болтай! Ни слова! Все, что ты знаешь, — это твое дело: и совсем не надо, чтоб здесь знали, что тебе все известно. Словно ты и не знаешь ничего. Не будь дураком!

ГЛАВА XVII

Варискин остался один. Эти два часа, проведенные им с Петрухиным, подействовали на него, как успокаивающая и укрепляющая ванна: все мутное, неприятное и обессиливавшее разом смылось. «Отбор! Вот оно что!» Он ни над чем не раздумывал, ни в чем не сомневался, а с дразнящим упоением рисовал себе картины будущего. «Ведь ежели я в десятитысячники попаду, так»... Акцию, о которой говорил Петрухин, он себе не мог представить, а поэтому думал о пустяках. Ему мерещилось что-то нелепое, но именно оно и казалось правдоподобным: то революция в Японии, то гражданская война в Германии, то заселение северного полюса... И он упоенно воображал себе, как он будет «организовывать в Японии рабоче-крестьянское правительство», как будет распоряжаться переселением десятков миллионов людей «вообще в Арктику», как будет командовать красным фронтом в Германии. И чем нелепее были эти картины, тем все более возможными и реальными казались они ему.

Радостно укрепляло его и другое: он перестал себя чувствовать одиноким, противопоставленным. Еще несколько дней назад выходило так, что его загоняли в

тупик, как хозяйка загоняет в угол курицу, которую хочет зарезать, а он, трепыхаясь от ужаса, пытался спрятаться, скрыться, спастись. Яхонтов, Жорка и сотни других шли вместе с повелевающей силой, а он был против всех: один, растерянный и беспомощный. Теперь же он до радости явственно чувствовал себя объединенным и с Яхонтовым, и с Жоркой, и со всеми, кто идет за силой. Он чувствовал себя частью целого, крепкого и большого, точно так же, как солдат роты чувствует себя не кем-то отдельным, а именно частью целого, частью роты. Быть может, Яхонтов и Жорка сделают ему новое зло, но все же он будет солдатом их роты, а они, творящие ему зло, будут солдатами его роты. И это делало его приподнятым и сильным.

Он беспокойно провел остаток вечера и так же беспокойно провел ночь. Часто просыпался и начинал волноваться: «Надо что-нибудь придумать! Уж теперь надо что-нибудь придумать, чтобы в нос шибануло!» Это «чтобы в нос шибануло», как сказал Петрухин, завладело им, потому что «уж если Варискин за что берется, так именно, чтобы в нос шибало!» Но ничего путного он придумать не мог. И когда Яхонтов (на другой день) вызвал его, он пошел с полной готовностью, но совершенно пустой: ничего толкового, путного и связного. Спотыкаясь на каждом слове, он начал рассказывать Яхонтову про несуществующую контрреволюционную организацию, которую он назвал «Черный глаз», а потом переделал в «Черная Рука»: эти названия ему очень нравились. Он все время сыпал готовыми штампами, которыми были переполнены и статьи газет и речи всевозможных докладчиков: «диверсия», «вредительство», «саботаж», «шпионаж в пользу одной иностранной державы»... Он не знал, что такое диверсия и саботаж, но произносил эти слова очень убежденно, полагая, что именно в этих словах и заключается весь смысл. А когда Яхонтов оборвал его и спросил, в пользу ка-

кой именно «иностранной державы» вела шпионскую работу его организация, он в недоумении осекся: в газетах ведь всегда так и писалось — «в пользу одной иностранной державы»... Зачем же нужно называть ее? Он вопросительно посмотрел на Яхонтова, как бы ожидая подсказки.

—В пользу этой... как его?.. Румынии! — неуверенно сказал он, и было похоже, что он не говорит, а спрашивает: «Румынии?»

— А Германии? — тоже не совсем уверенно спросил Яхонтов, пытаясь что-то сообразить.

— И Германии! — совершенно охотно подтвердил Варискин, а для верности убежденно добавил: — И Польши тоже.

Он назвал Яхонтову десяток фамилий, чуть ли не требуя, чтобы Яхонтов тут же записал их все, а когда Яхонтов начал спрашивать его, какую роль в «Черной руке» играл тот или иной оговоренный, он совсем спутался, потому что не мог даже вообразить, какие роли могут быть у членов контрреволюционной организации. «Прокламациями заведывал!» — сказал он про одного, а про другого с трудом выдавил из себя: «Саботаж на производстве и... вообще!»

Сначала Яхонтов говорил с ним своим прежним тоном: отрывисто, сердито и с презрением. Но спустя два или три дня он, бессознательно увлекаемый чистосердечной готовностью Варискина и его нелепой, но настойчивой откровенностью, начал терять этот тон и стал говорить иначе: спокойно и даже доверительно. А через неделю получилось так, что оба они старательно и деловито стали заниматься общим делом, усердно помогая друг другу. Они как бы перестали быть следователем и обвиняемым, а сделались двумя сотрудниками общей работы, в которой были одинаково и по-одинаковому заинтересованы. Между ними не стало не только вражды и ненависти, но не стало даже и разницы. Варискин без церемонии тянулся через стол, тыкал пальцем в бумагу и учил Яхонтова:

— Нет, ты уж лучше так пиши: «Срыв производственного плана на военных заводах». А про Пискарева пиши, что ему, дескать, было поручено держать связь с заграницей.

Он, по партийной манере, перешел на «ты», чего Яхонтов раньше не допускал, и оба (ни он сам, ни Яхонтов) этого даже не заметили: теперь оно ничему не противоречило.

Возвращаясь в одиночку после допросов, Варискин всегда чувствовал себя как бы взволнованным тем особым волнением, которое можно назвать волнением старательности. Подобное волнение он испытывал и раньше, когда, лет 10-12 тому назад, приступал к выполнению заданий райкома: «Наилучш-ше!» В нем говорила не простая добросовестность исполнителя, а нечто более сложное: тут было и подобострастное желание «угодить» (лакеи когда-то любили «угодить хорошим господам»), тут было и стремление «себя показать» («это ж не фитюлька какая-нибудь за дело взялась, а сам Варискин!»), тут было и то, что определяется формулой «не за страх, а за совесть», в варискинском понимании и ощущении этой «совести». И «десятитысячник» становился для него почти реальным существом.

Изо дня в день он ходил на допрос, придумывал новые версии и напрягал свое скудное воображение. Он неуклюже сочинял разговоры сообщников, их собрания и отдельные детали жизни «Черной руки», иногда смешные своей нелепостью, а иногда совсем похожие на правду. И чувствовал полное удовлетворение, когда у Яхонтова срывалось одобрительное:

— Вот это так! Вот это — дело!

Изо дня в день он жил в напряжении, создавая ложный мир ложных людей, ложных слов и ложных действий. Он, конечно, не знал того, что безнаказанно жить в ложном мире нельзя, что ложный мир подобен сыпучим пескам: он засосет в себя. И с Варискиным стало твориться то, что творилось со мно-

гими: он начал верить в правдивость и в реальность придуманной им лжи. Он говорил: «Районные списки составлялись Булавиным и хранились у него же», и при этом он чуть ли не воочию видел эти списки, которые сам только что придумал. Он видел несуществующий ящик в несуществующем столе Булавина и папку со списками в этом ящике. Для убедительности, он делал большие глаза, топорщил пальцами, и эта убедительность убеждала раньше всего его самого. Он чуть ли не осязаемо видел и собрания, и заговорщиков, которых он сам создал, и он стал бы горячо, с обидой, спорить, если б ему вдруг начали доказывать, что ни собраний, ни заговорщиков никогда не было. Все, созданное им, казалось ему таким же несомненным и существующим, как сапог на его ноге, как потолок над головой.

Самым же реальным была ложная цель: 10 тысяч отборных, верных партийцев, выполняющих великую акцию, во главе со Сталиным. Бессильный вообразить себе эту акцию и ее смысл, Варискин беспрестанно щекотал себя теми грошовыми и ненужными подробностями, которые были для него единственно нужны и единственно ценны. «Сталин, небось, сам инструктировать будет. Но как же он сразу все 10 тысяч соберет? Такого помещения и в Москве, поди, нету». И он придумывал способ: то разбивал эти 10 тысяч на 5 отрядов, то спохватывался («Станет тебе Сталин пять раз одно и то же повторять!») и решал, что Сталин будет инструктировать по микрофону. «Ну, а нас-то уж разместят там где-нибудь по разным местам!» Он думал над пустяками, только над пустяками, и, лежа на своей койке, соображал по ночам: будет ли дана этим десятитысячникам особая форма («или хоть бы значок какой-нибудь посверх пальта!»), чтобы каждый сразу видел, с кем он имеет дело, и... трепетал.

Пустяки охватили его со всех сторон, и чем невозможнее они были, тем более реальными казались

они ему. Он даже начал придумывать рисунок этого значка «посверх пальта», но ничего придумать не мог, хотя безо всякого усилия видел на себе этот значок, даже не зная, каков он должен быть.

Мечта о десятитысячнике захватила его целиком, подчинив в нем все. Он неуклюже и бестолково придумывал новые нелепые подробности, губившие и его самого, и других людей, и тешился тем, что он, мол, участвовал «вон в какой организации! Это тебе не промпартия какая-нибудь паршивая, а — «Черная рука»! А я в ней — почитай, что самый главный!» Реальное и нереальное поменялись местами, но он не замечал этой перемены и не страшился ее, а подчинился перемещению, словно потонул в нем. Он возводил на людей губительные обвинения и, не колеблясь ни минуты, уверял Яхонтова:

— А если он, сукин сын, отказываться будет, так ты его на очную ставку со мной поставь. Я ему припомню! Он у меня припомнит!

Это не было ни сумасшествие, ни мания: это было нормальное состояние для ненормальной жизни в мире фикций. В старину говорили: «леший обошел». Заблудившийся путник терял представление о расстоянии, о направлении и о времени, а блудил, не веря своим глазам и не видя своих следов. То же было и с Варискиным, завороженным, как лешим, созданным им ложным миром. Он не имел сил выбраться из него, потому что не сознавал ни того, что он заблудился, ни того, что потерял и путь и цель. И чем больше углублялся он в несуществующий мир, тем реальнее становился для него этот мир призраков-фикций.

ГЛАВА XVIII

Дело Варискина, в конце концов, влилось в общее дело «троцкистов» и обезличилось в нем. Но по мере того, как показания Варискина начали являться полезным основанием «по смежным делам», т. е. для обвинения многих других, его стали вызывать к себе и

другие следователи, которые (он видел это) были покрупнее и позначительнее Яхонтова. Один из них особенно импонировал Варискину: крупный, кряжистый и с ромбом в петличке. Он не кричал, не ругался, не бил, говорил Варискину «вы» и так умело подсказывал нужные факты, что Варискину оставалось только поддакивать. Он и поддакивал, с удовольствием чувствуя, что «помогает следствию», и помогает не просто, а «как сознательный, верный большевик». Мечта о «десятитысячнике» становилась реальностью: «Клюет! Молодец, Петрухин!»

Но вместе с тем, какое-то надоедливое сомнение начало мучить Варискина: достаточно ли он сделал для того, чтобы попасть в «десятитысячники»? Что особенное он сделал, чтобы «в нос шибануло», как того требовал Петрухин? «Оно все, как будто бы, и хорошо, да ведь оно в нос не шибает, потому что шибать нечем!» И он мучился недостаточностью сыгранной им роли.

В долгие и тоскливые часы сидения в одиночке он все старался придумать такое, чтобы уверить в своей несомненной значимости: он — не такой, как все, он — Варискин! «Вот если бы, скажем, подкоп под Кремль, — убого и беспомощно придумывал он, — и чтобы подкоп этот вел Ворошилов или, скажем, Калинин. А я, значит, чтобы это все обнаружил!» Но тут же он спохватывался и пугался такой мысли: даже оглядывался по сторонам, не подслушал ли кто-нибудь эту мысль? «За это — к стенке!» Даже ночью, просыпаясь и долго лежа без сна (он стал спать очень плохо), он все придумывал: «Что бы сказать еще такое, чтобы... чтобы — необыкновенное!» Но в голову лезли только бессмыслицы: то какие-то дрессированные змеи, которых заговорщики собираются разводить в сочинском дворце Сталина, то заражение Москвы-реки «самыми что ни на есть вредными бациллами». Целыми днями он ходил из угла в угол по своей одиночке, заложив руки за спину и бесшумно ступая босыми

ногами. Морщил лоб, поднимал кверху брови и все шептал, настраивая и подзадоривая себя: «А если, скажем... Вот, если...» Но никакое «если» никак не приходило в голову.

И вдруг оно пришло. Пришло сразу, без усилия, само собою: как если бы кто-нибудь повернул выключатель, и, вместо темноты, стал свет. Варискин вздрогнул, поднял голову, вскочил с койки и начал почти бегать из угла в угол, взволнованно шепча:

— Вот! Вот оно! Уж ежели этого мало, так... Теперь уж прямо в десятитысячники! Без пересадки!

И, немного успокоившись, стал уговаривать себя:

— Это самое дело... Его надо провертеть по-умному, это дело, потому что... Такое уже это дело, что его по-умному провертеть надо!

11 сентября, часов в 12 дня, Яхонтов вызвал его к себе. Яхонтов, конечно, никак не предполагал того неожиданного поворота в деле, который задумал сделать Варискин, а потому и не приготовился. Впрочем, дело Варискина уже начало надоедать ему.

Варискин вошел в кабинет с такой торжественной многозначительностью на лице, что Яхонтов не удержался и пошутил:

— Чего такого мо́рда у тебя больно важная? Орден тебе прислали, что ли?

— Орден не орден, — не спеша и напыщенно ответил Варискин, — а должен я тебе сделать еще признание, товарищ Яхонтов. Самое важное! Такое уж важное, что важнее ничего и быть не может!

— Что за признание? — не совсем охотно заинтересовался Яхонтов. — Хватит уже, довольно! А, впрочем, говори...

Варискин ответил не сразу. Он сел на стул, оглянулся по сторонам, многозначительно прокашлялся и только тогда начал говорить. Говорил он, понизив голос, делая большие глаза, шевеля пальцами и напористо подчеркивая интонациями отдельные слова. Он все тянулся через стол, чтобы говорить совсем тихо,

и время от времени сторожко оглядывался: не слышит ли кто-нибудь? Сначала говорил обиняком, немного осторожно, словно не решался сказать прямо, а потом осмелел.

По его словам выходило так, будто «Черная рука» проникла даже в органы НКВД, в том числе и в управление. Опасность велика, потому что во главе «Черной руки» стоит не кто другой, а сам Любкин. Супрунов же стоит во главе боевого отдела «Черной руки», которым уже выработан большой план террористических актов.

О Любкине и о Супрунове Варискин не знал ничего, кроме их фамилий и того, кем они были в управлении. Но это его ничуть не смущало, потому что он был прельщен их значительностью. «Выше-то, кажись, никого и нет у нас!» — наивно думал он, считая НКВД самым высоким и самым важным учреждением в Советском Союзе. Он плохо помнил, откуда он знает эти фамилии: не то Яхонтов называл ему их, не то «тот, с ромбом».

Яхонтов открыл было рот, чтобы крикнуть на Варискина и приказать ему замолчать, но осекся. Почти молниеносно в нем промелькнул рой мыслей, и он, не успев разобраться в них до конца, понял только то, что нельзя ни «затыкать рот», ни «выпускать дело из своих рук». И он, подчеркивая холодностью тона и краткостью вопросов значительность показания Варискина, начал его допрашивать. А потом «начерно» записал его показания, тут же дал их подписать и сейчас же отправил Варискина назад в камеру. И когда остался один, то задумался тяжело и со страхом. Что делать?

Даже еще не продумав новости, он знал, что она опасна. Есть вещи (он хорошо знал это), которых знать нельзя: тот, кто их знает, гибнет. Он вспомнил, как таинственно исчез года два тому назад уполномоченный Маракуев: он случайно узнал «что-то такое» про Ягоду. Ягода тогда был у власти, и Маракуева не

стало. Сейчас он, Яхонтов, узнал «что-то такое» про Любкина. Что станет с ним «за то, что он знает»?

Такие дела подобны зачумленной местности: одно лишь присутствие в них гибельно, если тебе не покровительствует сама чума. Но разве можно ждать покровительства от той силы, которая мрачнее и страшнее чумы?

Яхонтову было до несомненности ясно: Варискин врет. Но до такой же несомненности ему было ясно и другое: и Любкин и Супрунов могут быть «в два счета» зачислены в число «врагов народа» на том же основании, на каком зачислены в это число десятки других людей, по оговору того же Варискина. Для этого надо только одно: надо, чтобы этого кто-то «захотел». Кто может «захотеть» сделать Любкина и Супрунова «врагами народа», Яхонтов даже не думал, потому что ни имена, ни лица ему были не нужны. Ему нужно было знать только то, что это может быть. И он это знал.

Что же делать? Раньше всего он подумал было о том, что надо объяснить Варискину всю его глупость, пригрозить, заставить замолчать. Но он тут же откинул эту мысль: Варискин зацепится за свой бред, повторит свое показание другому следователю и нажалуется тому, что Яхонтов не только «скрыл», но угрозами заставлял и его «скрывать». Тогда, если нелепое дело не замрет, его, Яхонтова, обвинят и в злостном соучастии и в стремлении покрыть преступление.

Скрывать дело нельзя. Ему надо дать немедленный ход.

Ход может быть по двум путям: или доложить обо всем Любкину и дать ему понять, что вот-де он, Яхонтов, доверяет ему и даже спасает его, или же передать все начальнику отдела, а тот уж пускай сам действует. Но второй путь опасен: если Любкин «выкрутится», то он отомстит Яхонтову: «Знал, а мне не сказал? Утопить хотел?» Но и первый путь опасен: если Любкин «не выкрутится», то его, Яхонтова, со-

чтут соучастником: «Зачем предъявил такой материал заподозренному лицу?»

— О, чорт! Вот влип, так влип!

Проколебавшись чуть ли не до вечера, страшась придти к окончателььеому решению, Яхонтов, в конце концов, решил: доложить обо всем Любкину. Но, еще немного подумав, он пошел не к Любкину, а к Супрунову: «Оба они в одинаковом положении!» Кроме того, Яхонтов боялся Любкина, а Супрунова знал больше и втайне уважал его.

Супрунов выслушал его, прочитал показание Варискина и пытливо посмотрел.

— Кому говорил об этом? — тихо, но очень веско спросил он.

— Никому! — также тихо ответил Яхонтов.

— Не врать! — резко ударил по столу Супрунов.

— Никому! — все так же тихо, но твердо ответил Яхонтов.

Супрунов задержал на нем свой взгляд секунд десять. А потом ослабил тон и сказал совершенно мягко, почти дружественно.

— Ты парень с головой, товарищ Яхонтов, и ты должен понимать, что в таком деле на двух стульях сидеть нельзя, и в прятки играть тоже нельзя. И если кто-нибудь еще знает...

— Я никому не говорил! — таким тоном перебил его Яхонтов, что Супрунов поверил: вгляделся в него и даже ласково подмигнул.

— А коли говорил, то дурак, значит. А дураков здесь не жалеют.

— Вы не сомневайтесь, товарищ начальник: никому.

— А тот? Варискин?

— Кому ж он может сказать? Он же в одиночке!

— А если его к кому-нибудь другому следователю вызовут? По смежному делу? Впрочем, это уж я сам устрою... И вот что я тебе заранее скажу: ты правильно поступил, что обо всем мне доложил. Раскаи-

ваться не будешь. Иди теперь к себе и... молчи! Начальнику доложу я сам, а потом передам тебе, как и что.

Отпустив Яхонтова, Супрунов пошел к Любкину.

Как нетерпеливо ни спешил Любкин в тот вечер к Елене Дмитриевне, уже предупредив ее о своем приезде, он, прочитав показание Варискина и выслушав Супрунова, сразу забыл о своем нетерпении. Крепко сжал зубы и задумался. Он хорошо понимал, что у него есть враги: и здесь, в управлении, и там, в Москве: должны быть, не могут не быть. Конечно, обвинение Варискина — глупый вздор, но ведь и то обвинение, которое предъявлено Варискину, такой же глупый вздор. Дело не во вздоре, а в том: подпадает он, Любкин, под неведомую ему категорию или не подпадает?

— Дело серьезное! — тихо и раздумчиво сказал он.

— Конечно, серьезное! — подтвердил Супрунов. — И не из-за таких штук людей ликвидируют, если считают, что их надо ликвидировать.

— Вот в том-то все и дело: если считают. А шут их знает, как они там насчет меня и тебя считают. Сегодня одно считают, а завтра другое начнут считать. Прочитают там эту ерунду и решат: «А давай-ка и этих притянем, благо — основание готово!» Так?

— Совершенно так.

Он мигнул Любкину, и тот понял: оба прошли в тот угол, где не боялись микрофона, и сели близко друг к другу.

— Надо прекратить! — решительно и уверенно сказал Любкин.

— Конечно. Только надо подумать, как его прекратить.

Любкин и пяти секунд не подумал.

— К стенке: и Варискина и Яхонтова. Завтра же.

Супрунов ничего не ответил, а задумался, напористо соображая. Любкин молчал и ждал. Он знал,

что сам он иной раз излишне горячится, а Супрунов горячиться не умееет и поэтому видит лучше.

Наконец, Супрунов, видимо, взвесил и решил.

— Так просто к стенке нельзя! — тихо сказал он. — Без тройки расстрелять, конечно, можно, но потом-то как объяснять будешь? Заподозрят что-нибудь и разнюхивать начнут.

— Что же?

— Я иначе сделаю. Ликвидну их и без стенки.

— Придумал?

— Нет, так... Общая наметка только покамест! Ты уж не вмешивайся, я сам.

— А мне что ж? Баба с возу...

— Вот именно! А это ты у себя оставишь? — спросил Супрунов и показал глазами на лист с показанием Варискина.

Вопрос был простой, и задан он был просто, но Любкин все же слегка вскинулся от него: чуть заметно, одними только бровями да уголками рта, но все же вскинулся. Значит, было в этом вопросе что-то такое, что укололо его. «Да нет, показалось мне!» — быстро подумал он и захотел было взглянуть на Супрунова, но удержался и не взглянул.

— Сам уничтожу! — сказал он и тут же добавил, сам не зная, зачем он добавляет эти слова. — А если хочешь, так при тебе уничтожу... Вместе уничтожим!

Супрунов только пожал плечами.

— На что ж? Я тебе доверяю.

— Ты-то? Мне-то?

Любкин встал с места, и Супрунову, когда он глянул на него, показалось, что лицо у него стало мягче.

— Мы с тобой, Павел... Мы... — не умея высказать такую мысль, начал было он. — Я тебе одно скажу: ты у меня один. Никого у меня нету, а ты есть.

— Да и ты у меня один, Ефрем.

— С того самого дня. Помнишь?

— Забыть нельзя.

— И терять нам, стало быть, друг дружку невозможно.

— Никак.

Любкин взял протокол и, стоя, еще раз прочитал его. А когда кончил, то посмотрел с недоумением, почти растерянностью. Он, видимо, увидел в этой бумаге что-то такое, чего он не увидел в ней сразу, и чего он не мог понять: так глубоко не мог, что это его даже взволновало или, по меньшей мере, смутило. Он переводил глаза то на протокол, то на Супрунова и все что-то обдумывал.

— Любопытно было бы, — очень медленно начал он, — поговорить с этим Варискиным, чорт его дери совсем! Как он? Что он? Балды кусок или... или...

— Что тебе любопытно? — не понял его Супрунов.

— Да вот это самое! — щелкнул пальцами по протоколу Любкин. — Ну, хорошо: выдумал. Да разве ж это все? Выдумал, а... а... А что сам-то думает?

— Да думает, поди, что хорошо придумал: вон, мол, какую я штуку вам открываю, пожалейте меня, я хороший!

— Нет, разве ж в этом дело? — поморщился Любкин. — Разве ж в этом все? Тут надо глубже вникнуть, Павел, тут человеческое надо понять, потому что это... это ведь... это — край? — не поверил он сам этому своему слову, а потому и спросил.

— Какой «край»? — недовольно посмотрел на него Супрунов.

— Да разве ж не край? Ведь он-то... Варискин-то... ведь он, поди, сам вон в это верит!

— А кто ж его знает! — холодно и безразлично усмехнулся Супрунов. — Может быть, и верит.

— По-ни-маешь ты! — с особенной значительностью подхватил Любкин. — Ведь это что ж такое? Сам выдумал, и сам поверил!

Он сделал было шаг к своему столу, но остано-

вился и строго посмотрел перед собою. А потом резко повернулся к Супрунову.

— Любопытно бы, чорт его дери, поговорить с ним! Как он? Что он? Глаза-то, глаза-то у него какие? Как он может видеть то, чего нету? Погоди! — поймал он какую-то мысль. — Он тебя знает? В личность-то тебя знает?

— Нет. Откуда же? И он меня не видал, и я его.

— Да, да! И меня он не знает. Так ты вот как сделай, Павлуша! Сюда его приводить не след, догадается, а ты выбери какую-нибудь комнатку да и вызови его, словно ты другой следователь. А я сбоку посижу, посмотрю... Так?

— Я сейчас за Яхонтовым пойду! — не отвечая на его слова, сказал Супрунов, и Любкин понял, что тот опять осуждает его. — Надо дело делать, а не о человеческом думать. Какое такое человеческое ты нашел? Зачем оно тебе? Ты большевик, и, следовательно... Следовательно, большевиком и будь!

ГЛАВА XIX

Когда Супрунов вышел, Любкин сел в свое кресло и с удовольствием почувствовал, какое оно мягкое и удобное. Он откинулся на спинку и понял, что он устал, страшно устал. И ему изо всей силы захотелось отдохнуть, но отдыху что-то мешало: копошилось и беспокоило внутри. Опасность от Варискина (Любкин знал это) была легко устранимой: Варискина — к стенке, Яхонтова — к стенке, протокол — в печку. А тем не менее, что-то все же беспокоило и даже больше — угнетало его. Не опасность угнетала, он не первый раз в жизни встретился с опасностью: в гражданскую войну еще и не то бывало. Но в те года все опасности были хоть и больше, но проще: смерть. Теперь же опасность была в другом: тебя не просто убьют, а уничтожат. Или даже иначе: тебя сначала уничтожат, а уж только потом убьют. Страшно не то, что могут расстрелять, поистине

страшно другое: страшно Любкину, которого уничтожает неведомая сила, попасть во власть другому Любкину, который еще служит этой неведомой силе.

— Вот ежели... паровой каток, скажем... и он через мышь проедет... — с усилием думал он. — И ежели он... мышь-то... Не то, чтобы в лепешку, а прямо в мокрое место раздавит... И ежели, скажем, он ее расплющит, а она... она все же жива останется! Вот это самое так и есть. Это тебе не пуля в затылок, а все, что сначала с тобой сделают... Каток через человека пройдет, одно мокрое место от него останется, а человек-то, все-таки... жив!

Он перевалился в кресле. Кресло с податливой ласковостью подалось под ним, став удобным и для новой позы. Но чем легче было телу в мягком кресле, тем тягостнее было внутри: там все замерло в странном и сложном ощущении, которое Любкин не мог бы даже назвать. И оно не уходило.

И оттого, что оно не уходило, возникла мысль. Это была даже не мысль, а только вопрос, но в нем (Любкину это было несомненно) заключалось не только большое, но и решающее:

— Хорошо: Варискин сам выдумал и сам поверил. Допустим! Ну, а я-то? Я-то сам — верю? Или же это я сам все выдумал и во все поверил? Выдумал? Пòверил?

Он не говорил себе, что именно «все» выдумал он, он почти боялся назвать это «все» по имени, но его мгновенно охватила злоба. Он перекосился ртом и выругался вслух: сочно и гадко, словно проклиная что-то или кого-то. «И чего это я раскис? — тут же подумал (спрятался?) он. — Подумаешь, важность: Варискин какой-то!» Но при этом он знал, что обманывает себя, что дело совсем не в Варискине, что за Варискиным он только прятал то, что только что покрыл густым заборным матом. И, словно бы назло кому-то или чему-то, вспомнил, что хотел поехать к Елене Дмитриевне. «В самый раз оно сейчас!» — убе-

дил он себя, чувствуя, что беспричинная злоба не утишается и не проходит.

Он рванул с телефона трубку и смаху набрал номер. В трубке загудел вызов, но на вызов никто не подходил. Наконец, он услышал:

— Алло!

— Заснула? — резко и сердито бросил он, как будто обрушивался бранью.

— Да, уже легла! — спокойно ответила Елена Дмитриевна.

— Погоди, не спи! Сейчас приеду.

— Приезжай.

Любкин страшно заторопился. Сам не понимая, почему он так торопится, он сучил руками, прятал протокол Варискина в несгораемый шкаф и, почти срываясь с голоса, заказывал себе машину.

Елена Дмитриевна ждала его и на звонок отворила сразу. Он, не поздоровавшись и не говоря ни слова, крупно и твердо прошел впереди нее в комнату и остановился, обернувшись к ней.

— Коньяк есть? — хрипло и резко спросил он.

— Конечно.

— Давай.

Он, не садясь на стул, залпом выпил стопку коньяку, не чувствуя ни его вкуса, ни запаха, и сейчас же налил вторую. И только тогда присел, шумно выпустив из себя струю воздуха.

— А ты чего ж не пьешь? — кинул он Елене Дмитриевне. — Пей!

— Выпью! — мирно согласилась та. — Только я стопкой не умею.

— Ну, и чорт с тобой! Пей рюмкой!

И тут только он как следует увидел ее.

— А и красивая ты, чорт! — неемного задыхаясь, сказал он.

— Красивая? — вызывающе и самодовольно переспросила Елена Дмитриевна. — Я красивая?

— Красивая, чорт! — откровенно задыхаясь, по-

вторил Любкин, бегая по ней глазами. Уже задрожавшей рукой он начал было наливать себе еще одну стопку, но не долил и вскочил.

— Идем!

И, не дожидаясь ее, пошел в спальню. Елена Дмитриевна пошла за ним. И гордая ненависть разлилась по ее лицу, по улыбке, по глазам. Она шла и ненавидела, заранее торжествуя над чем-то и заранее в чем-то уверенная.

Через полчаса Любкин, утихший и немного ослабевший, посмотрел на часы. Было половина второго.

— Ого! Пора! — дернулся он.

— Уходишь? — как будто безразлично спросила Елена Дмитриевна, но было в этом безразличии что-то необычайное. Любкин слегка покосился.

— Работы много! — буркнул он.

— Ну, иди. Хотя... Минут пять можешь еще подождать?

— Что надо? Дело, что ли?

Елена Дмитриевна приподнялась, спустила ноги с кровати и движением плеча поправила рубашку.

— Дело не дело, а я хочу тебе сказать.

— Чего такого?

— Оно, может быть, тебя совсем и не касается, не нужно тебе и ничуть не интересует тебя, но... По правде говоря, я не знаю, зачем я хочу сказать тебе это, но — хочу и хочу!

Любкин почти в недоумении повернулся к ней: это что-то не простое, в этом что-то есть. Он хотел спросить ее, но она, почти без паузы, продолжала:

— Я давно уж, несколько дней, даже больше, все хотела сказать тебе это, но откладывала, потому что... Правда это? Я сама не знала, правда это или нет. Но теперь я знаю, наверное знаю, что это — правда, самая настоящая, искренняя правда.

Она приостановилась и посмотрела на него глубоким взглядом. Кажется, она никогда еще не смотрела на него так.

— Я люблю тебя! — сказала вдруг она, снизив голос и словно бы испугавшись своих слов. И опустила глаза.

Любкин остановился, неподвижно смотря на нее. Эти три слова прозвучали не только неожиданно, но и невозможно. Он почти не понял их, и они прошли почти мимо него, незнакомые, лишние и ненужные. Но вместе с тем, в нем тут же что-то вскинулось так сильно, что он понял: на эти три слова обязательно надо ответить. Что ответить?

— Люблю! — нежно, стыдливо и глубоко повторила Елена Дмитриевна, и Любкин готов был рвануться, чтобы ближе посмотреть на это «люблю», чтобы яснее его услышать и глубже понять. Но он стоял неподвижно, слегка ошеломленный и напрягшийся в новом для него усилии. Что надо делать, когда звучит слово «люблю»? Оно прозвучало из другого мира, в котором Любкин не был никогда: и этот мир обминал его всю жизнь, и он сам обминал его. На один миг этот другой мир заблистал перед ним новыми цветами, новым светом и новым воздухом, но тотчас же начал быстро бледнеть и исчезать, а через секунду совсем исчез. Любкин стал обычным собою.

— С чего ж оно так? — неуверенно и нелепо спросил он.

— Не знаю! — грустно вздохнула и чуть-чуть покачала головой Елена Дмитриевна. — Ничего я не знаю. Люблю и люблю. Но только...

Она вскочила с кровати и вытянулась во весь рост.

— Только мы об этом не будем говорить! — горячо и даже страстно сказала она. — Тебе надо уходить? Уходи. И не говори сейчас ничего. Тебе ведь уже пора!

— Мне, конечно, пора, но...

— Уходи!

Любкин видел, что немного сбит с толку: все

это было так ново и неведомо для него, что он не знал — как говорить и что делать. Уйти? Но можно ли уйти, не сказав ни слова?

— Ты... — нерешительно начал он. — Ты... Это дело большое! — нашел он новое слово, не зная, подходит оно или нет.

— Большое? — чему-то усмехнулась Елена Дмитриевна.

— Большое! — с неожиданной искренностью и убежденностью повторил Любкин.

— И ты не знаешь, что сказать мне в ответ? Ладно, я помогу тебе: ничего не говори. Не говори и уходи. Сейчас же уходи!

Прыжком легла в постель, закуталась одеялом до самого подбородка и закрыла глаза.

— Ни слова больше. Уходи.

Любкин, в непонятной для него нерешительности, постоял с полминуты, а потом тихо, стараясь ступать как можно мягче и бесшумнее, поворотился и пошел. Плохо понимая все то, что произошло, он надел в передней шинель и фуражку и вышел, очень осторожно и внимательно заперев за собою дверь.

Когда он вернулся в свой кабинет и опять сел в свое удобное кресло, он понял, что работать не сможет. Ни дела троцкистов, ни Варискина с Яхонтовым для него уже не было, а было лишь смятенное недоумение. Кроме того, он чувствовал еще то, чего, быть может, не хотел чувствовать, и в чем он, конечно, не сознавался себе: чуть ощущаемую, чуть намеченную, почти прозрачную радость. «Люблю! Вот оно какое, слово-то это!» — страшно неопределенно думалось ему.

И он начал вспоминать о том, что никогда еще не слышал и никогда еще сам не говорил этого слова. Было ли оно хоть раз в его жизни? Знал ли он любовь? Когда-то, очень давно, когда ему не было и 18 лет, он «страдал» по дочери помещика их деревни. Это была еще совсем молодая девушка, вероятно, его

сверстница, которая окончила гимназию и приехала на лето из города. Он тогда тоже окончил министерскую школу в селе и собирался поступить в техническое училище. Все тогда бродило в нем, чем-то волнуя, что-то обещая и куда-то маня. Отец его был «кулаком», имел десятин 30 земли, приарендовывал еще столько же, занимался мелкой торговлей, давал деньги за проценты и был, как говорили, «оборотистым». А сам Любкин уже и тогда был «революционером», хотя не только не состоял ни в какой партии, но и в партиях-то совсем не разбирался. Но он был «за свободу», а поэтому с готовой враждебностью относился и к помещику и ко всему, что окружало помещика.

Дочку помещика в доме все звали Люсей, а дворовые и крестьяне, когда говорили о ней, называли ее «барышня Люся». Как ее звали полностью, Любкин тогда не знал, но имя «Люся» звучало для него удивительно нежно и почти благоуханно. О своих чувствах к ней он не думал и в них не разбирался, но при встречах с нею он всегда робел, вспыхивал и почти терял себя. Ее взгляд, чистый и глубокий, напоминал ему небо, и ему даже казалось, что он видит в этом взгляде порхающих ангелочков. Однажды он услышал, как она рассмеялась чему-то, рассмеялась так звонко, весело и серебристо, что у него захватило дух от восхищения и сладостного очарования: он и не знал, что бывает такой смех. «Соловушка!» — умиленно и нежно вспоминал он потом.

А в другой раз вышло так, что он под вечер встретил ее в поле, неподалеку от деревни. Она шла, опустив голову, и перебирала тонкими пальцами пучок полевых цветов. Когда она поравнялась с ним, она подняла глаза и посмотрела. Он смешался, вспыхнул, едва догадался поклониться, торопливым рывком сорвал с себя фуражку и, кажется, что-то буркнул. А она очень вежливо и удивительно просто поклонилась ему. И он в первый и в последний раз услышал от

нее слово, обращенное к нему: «Здравствуйте!» — сказала она. А в конце августа она уехала.

Вот и все. Была ли это любовь?

Даже тогда, в молодости, Любкин не спрашивал себя об этом, но очень долго, много лет, он упорно и нежно помнил «барышню Люсю» и когда случайно, где-нибудь в толпе, видел лицо, напоминавшее ему ее, чувствовал, как нежное и теплое заливает его сердце. С годами память утихла, но не умерла, и забыть «барышню Люсю» он никогда не мог. Помнил по сегодня, и когда вспоминал, делался задумчив и немного грустен.

Встреч с женщинами было потом много, но слов любви не было никогда: сходились без ласковости, расходились без огорчения. А главное — дела. Еще во времена военного коммунизма он пошел на работу в ЧК, отошел от людей, ушел в мир насилия и крови, замкнулся в себе и научился переживать только в себе и для себя все то, что переживалось. Он (умышленно или оно так вышло само по себе?) ограничил свою жизнь только самыми тягостными и самыми мрачными делами, уверив себя в том, что ему больше ничего и не надо. А поэтому для любви не было ни времени, ни места, ни охоты в его жизни.

И теперь, услыхав «люблю» Елены Дмитриевны, он немного потерялся: что делать, как говорить? Елена Дмитриевна была «стервою», он это знал, но ее «люблю», несмотря ни на что, как будто обещало ему что-то такое, что он не хотел бы выбросить из своей жизни. «Да неужто любит? — недоверчиво и даже хмуро спрашивал он себя. — С чего ж это она так?» И то чувствовал неприязнь к Елене Дмитриевне, то желание еще раз услышать это слово.

И вдруг пугающий и волнующий вопрос сам собою родился в голове:

— Ну, ладно... Пусть хоть так! Ну, а я-то? Я-то люблю ее или нет?

Вопрос родился, но ответа не было. Конечно,

Любкин никак не мог сказать — «да, люблю», но вместе с тем, он в недоверчивом недоумении понимал, что никак не может сказать и другое: «нет, не люблю».

И то, что Елена Дмитриевна «стерва», не вспоминалось ему больше и не приходило в голову.

ГЛАВА XX

Возвратившись от Любкина, Супрунов тотчас же вызвал к себе по телефону Яхонтова. Яхонтов, хорошо понимая, по какому делу вызывает его Супрунов, тотчас же пошел, немного тревожась и нервничая. Супрунов ничего не делал, а только поджидал его. Яхонтов привык видеть Супрунова всегда деловито подтянутым, холодным и очень твердым, а поэтому и удивился: Супрунов посмотрел на него приветливо, почти дружественно и сразу же улыбнулся подбадривающей улыбкой.

— Пришел? Ну, вот и ладно. Молодец! — неизвестно, за что похвалил он, как будто Яхонтов мог ослушаться его и не придти по вызову. — Садись-ка.

Яхонтов сел и сразу же почувствовал, что такая встреча успокоила его: он не того ждал, не зная, чего именно он ждал. А Супрунов вытянулся в кресле и смотрел, улыбаясь.

— Дела, дела! — неопределенно пожаловался он. — Устал я чертовски, а тут еще эта ерунда с твоим Варискиным... Ерунда ведь, а? — с интимной доверительностью подмигнул он.

— Конечно же, ерунда! — без тени сомнения подтвердил Яхонтов.

— А под сукно ее не положишь: выпятится! — пошутил Супрунов и принял более официальный вид. — Я доложил начальнику! — деловито добавил он.

— А он что? — не остерегся и спросил Яхонтов, хотя через секунду и понял, что этого не следовало бы спрашивать.

— Рассмеялся, конечно! — очень просто, как совершенно равному, ответил Супрунов. — Но сам ты

понимаешь, — немного понизил он тон, — что в таком деле надо быть го-го-го как начеку! Оно ведь хоть и смешно, но и серьезно. Ты ведь не маленький, — еще более понизил он голос, — и совсем свой человек, так что тебе объяснять нечего. Начальник завтра в Москву поедет. Доложит!

То, что он понизил голос, то, что он говорил доверительным тоном, и то, что он сказал — «ты совсем свой человек», не только успокоило, но и укрепило Яхонтова. Он почувствовал себя связанным с Любкиным и Супруновым, а это даже льстило ему: «Любкин, Супрунов и я — в одном деле!» Он выпрямился на стуле и стал смотреть гордо.

— Я тебе откровенно скажу, товарищ Яхонтов, — с подкупающей простотой продолжал Супрунов, — я нашими ребятами не совсем доволен: старания в них, конечно, много, не стану спорить, а вот мозгу мало. Таких мозговитых, как ты, — один-два да и обчелся. И начальник то же самое говорит: «Хорошо, говорит, что это дело к Яхонтову попало. Другой стал бы дурака валять, а этот сразу правильный путь нашел: сам — молчок, а дело — по начальству». Так?

— А как же иначе? — солидно пожал плечом Яхонтов.

— Ну, да! Ты-то это понимаешь... Начальник, надо тебе сказать, давно уж к тебе присматривается, потому что ему особый человек сейчас нужен. Строго доверенный! Погоди-ка...

Супрунов встал с места, осторожными шагами подошел к двери, приоткрыл ее и выглянул в коридор. И по этому жесту Яхонтов понял, что сейчас начнется важный и секретный разговор. Он постарался принять сдержанный и спокойный вид.

Супрунов вернулся, но сел не на свое место, а рядом с Яхонтовым, и стал говорить очень тихо, наклонившись к нему.

— Мне начальник поручил переговорить с тобой: «Яхонтову, говорит, довериться вполне можно, не

подведет!» У нас, надо тебе знать, новое дело начинается. И такое это дело, что даже и вообразить себе трудно: важное, тонкое и... тайное, конечно. До того оно тайное, что я даже мух из комнаты выгоняю, когда им занимаюсь: боюсь, чтобы не подсмотрели! — усмехнулся он. — Тебе вот первому рассказываю, а о нем, кроме начальника и меня, ни одна душа еще не знает. Штука в том, понимаешь ты, что это дело не туфта какая-нибудь паршивая, как все наши дела, а самый доподлинный заговор. Из заграницы идет. И шутка, понимаешь ты, в том, что во что бы то ни стало, а дело это надо в наших руках оставить, чтобы Москва его не перехватила. Мы его прощупали, мы его и вести должны. Так? А то ведь в Москве много таких субчиков, которые на готовенькое падки. Понимаешь?

— Понимаю! — уверенно подтвердил Яхонтов.

— Я тебе потом все расскажу, завтра, а сегодня ночью надо одну штуку провернуть. Штатское платье у тебя есть с собою?

— Есть.

— Так ты вот что сделай: переоденься, а потом я тебя приду и арестую: в одиночку спрячу. Пусть никто тут не знает, что ты на подсыпку пошел, а то еще предупредят чего-доброго: никому не верю! А утром туда к тебе арестованного приведут, так надо, чтобы он тебя там уж застал, в камере. Можно, конечно, тебя и потом к нему подкинуть, но психологически другая картина будет: если тебя потом подкинуть, то у него недоверие может быть, а если он тебя уже в камере застанет, то он подсыпки не зачует. Я уж это все обдумал. Надо, чтобы комар носа не подточил!

— Это правильно: совсем другой подход! — согласился Яхонтов.

— Люди там тертые, ловкачи, их на кривой не очень-то объедешь. И в том твоя задача будет, товарищ Яхонтов, чтобы этому гусю без мыла в душу

влезть. Ты скажешь — трудно. Согласен. Но я тебе помогу. Ты выбери минутку, отвернись от него, вздохни глубоко да и скажи, словно сам себе говоришь: «Папироска моя не курится, не знаю, с кем буду амуриться!» Будешь помнить? Запиши!

— Это что же? Пароль?

— Само собою! Вот увидишь, клюнет. И сразу же он тебе ответит: «А моя папироска курится, и любит меня курица». Но только, — совсем строго и даже угрожающе добавил Супрунов, — только, товарищ Яхонтов, ты действуй без ошибки, потому что за ошибку в таком деле сам полетишь к чэртовой матери. Никому ни слова!

— Об этом не надо говорить, товарищ начальник.

— То-то же! И если я хоть душок этого дела замечу где-нибудь там, где ему быть не полагается, так я без расспросов буду знать: от тебя душок идет, ты проболтался. А тогда уж не взыщи: милости не будет! Тут и пересол на спине, и недосол на спине.

Яхонтов качнулся на стуле, хотел ответить как-нибудь особенно, сильно и даже торжественно, но не нашел ни слова и только посмотрел на Супрунова.

— Я в тебе не сомневаюсь! — подбодрил его тот. — Но и ты дураком не будь. Иди сейчас к себе, переоденься, а я тебя, по всей форме, приду и арестую: никто ничего не должен заподозрить. Ах, да! — вспомнил он. — Захвати с собой револьвер в карман, заряженный. И все время его с собой носи: тут такое может быть, такое, чего ты и не ожидаешь. Ну, иди!

Яхонтов ушел к себе. Он торопливо начал переодеваться в штатский костюм, которого он не любил, и вдруг неожиданная, жгучая мысль так сильно обожгла его, что у него даже потемнело в глазах, и сразу стеснилось дыхание. «А вдруг... подвох? А вдруг — ловушка?»

Неизвестно, откуда взялась эта мысль, и что ее

подсказало. Она пришла, казалось бы, безо всякого основания, случайная и ничем не вызванная, но тем не менее, она сразу же стала для Яхонтова несомненной и неоспоримой. Его лицо сразу запылало, и противный, мерзкий страх схватил его за сердце. Полуодетый и сразу обессиленный, он растерянно опустился на клеенчатый диван и стал бессмысленно смотреть перед собою. «Подвох, или мне мерещится?» Ложь окутывала его все время, он видел ее всегда, но сейчас она словно бы собралась в одной точке и уплотнилась до того, что стала чуть ли не осязаемой и весомой. «Да неужели же?» — чуть не вскрикнул он, каким-то шестым чувством улавливая связь между своим фиктивным арестом и делом Варискина. И тут же вспомнил, как он «покупал» Варискина басней о десятитысячниках.

Он заметался в тоске и в страхе, так как понял, что он попался, и что выхода ему нет. «Уйти сейчас, что ли, и... и бежать?» Но он понимал, что бежать некуда, что бежать нельзя. «Конец? Да неужели же конец?» — холодел он. Он весь напрягся, чтобы найти выход и спасение, и этот выход открылся ему сам по себе: «А револьвер? Зачем Супрунов приказал взять револьвер?» Он не понимал, совсем не понимал, зачем нужен в цепи лжи этот револьвер, о котором Супрунов говорил так настойчиво, но, странным образом, револьвер сразу опрокинул и его мысли и их направление. Все подозрения о ловушке исчезли, как будто их и не было, потому что — «Зачем же револьвер, если здесь ловушка?» И иначе — «Если револьвер, так, значит, никакой ловушки нет!»

Представления шли не от анализа и не от логики, а только от чувств. Страх перед «попался» был так силен, что даже револьвер стал спасением, потому что спастись было нужно. Ложь, которая только что уплотнилась в почти существующий комок, перестала быть и губить, потому что «возьми с собой револьвер» стало бóльшей реальностью, чем эта ложь.

И если бы кто-нибудь сказал сейчас Яхонтову, что этот револьвер есть тоже ложь, он отшатнулся бы, потому что должна же быть правда хоть в чем-нибудь, хоть в револьвере.

Через час Супрунов взял с собой двух уполномоченных, предупредив их, чтобы они «не болтали», и прошел в кабинет Яхонтова. Тот (уже в штатском) сидел за столом и делал вид, будто занимается. Супрунов короткими шагами подошел к нему, негромко, но сильно ударил кулаком по столу и сказал с холодной властностью:

— Довольно дурака валять! Все уж известно! Понятно?

Яхонтов поднялся. Он знал, что Супрунов играет комедию, о которой они оба только что условились, но все же он побледнел: не мысль о ловушке пришла к нему, но ему был страшен отблеск ареста в ложном зеркале фикции, потому что даже этот отблеск говорил ему об уничтожающей силе. Игра в уничтожение была так же страшна, как и само уничтожение, потому что грань между фикцией и действительностью была для него стерта, как была она стерта для многих. Он растерянно глянул на Супрунова, нервно перевел дыхание и пошевелил языком в мигом пересохшем рте.

— Иди с ними! — приказал ему Супрунов.

Уполномоченные смотрели на Яхонтова странным взглядом: ни один из них даже мысли не имел в голове, что перед ним разыгрывается игра, а поэтому и думал, что «Яхонтов влип». И во взгляде каждого уполномоченного было то, что вызывалось в нем выработанным рефлексом исполнительности: во взгляде было и довольство охотника, поймавшего зверя, и недоумение («Да неужто Яхонтов враг?»), и чуть ли не явственный страх перед тем, что ведь завтра может дойти и до него очередь, без предупреждения и без причины. Но все это прикрывалось в глазах холодностью, бесстрастием и служебной готовностью.

Супрунов сам проводил Яхонтова до одиночки, а когда дверь за ним закрылась, он повернулся к уполномоченным:

— Никому ни слова! Понятно? Завтра будет объявлено в приказе, а до тех пор — ни звука!

— Есть, товарищ начальник!

После того Супрунов стал дожидаться, пока Любкин вернется от Елены Дмитриевны. И когда Любкин вернулся, Супрунов вошел к нему с каким-то особенным лицом: ласковым, немного снисходительным, немного таинственным и — безусловно обещающим. Примерно, так улыбается нянька ребенку, которому она приготовила вкусный сюрприз.

— Ну? Сделал? — порывисто и стремительно спросил Любкин.

Супрунов улыбнулся еще больше.

— Дело нехитрое! — не без хвастовства сказал он.

— Сидит?

— Крепко.

— Караулу ничего не сказал? «Знаю, мол, почему меня арестовывают! Знайте и вы!»

— А я его так арестовал, что он даже и не знает, что он арестован.

— Молодец! Но это ж еще не все... А что с ним дальше делать? К стенке?

— Не горячись! — спокойно остановил его Супрунов. — Шлепнуть нетрудно, а оформить шлепку без тройки трудно будет, потому что слишком много носов сюда сунется. Лучше не бери на себя: прорваться может.

— Что же?

Супрунов посмотрел, почти не скрывая своего превосходства.

— В основном я наметил: без шлепки обойдемся. Ночью или завтра утром до конца додумаю. Не промахнусь, не бойся.

Любкин почувствовал облегчение. «Утром к ней

поеду!» — мелькнуло у него в голове, а в связи с чем оно мелькнуло, нельзя было понять.

— И еще одно! — чуть заметно усмехнулся Супрунов. — Ты хотел на Варискина поглядеть? Поговорить с ним хотел?

— Да, но ведь ты...

— Я? Я — ничего. И теперь так выходит, что потолковать с ним, действительно, надо. Я его вызову утром, словно бы на допрос, а ты посиди рядышком, коли интересуешься.

— Конечно, что интересуюсь! — твердо сказал Любкин, но в тоне его голоса все же проскользнуло что-то извиняющееся, словно он чувствовал себя виноватым в том, что интересуется Варискиным. — Утром вызовешь? А сейчас который уже час?

— Скоро три! — посмотрел на часы Супрунов. — Чорт! И спать-то мы разучились, совсем не спим.

— Ну, так иди, поспи.

Супрунов встал и собрался было выйти, но почувствовал, что он еще не все сказал. И опять сел.

— Все это так. Но вот мысли в тебе, Ефрем, какие-то есть. Что за мысли?

— Мысли? Никаких таких особенных мыслей и нет! — попробовал спрятаться Любкин.

— Шататься ты еще не шатаешься, но прежней крепости в тебе уже нет. Безусловности в тебе нет! Словно бы ты с трещинкой. А?

— Это тебе только так кажется! — уверенно ответил Любкин, но все же насупился. — Я внутри себя до конца крепкий, и некрепким я никак не могу быть, потому что если я отвалюсь, так тут же мне и смерть приключится. Вот возьми ты хоть ноготь на пальце! — протянул он растопыренную руку. — Пока он на пальце, он живой, а чуть ты отрежешь его, так... куда ж он? на что? Вымести и выбросить, вот и все. Я — большевик, а если меня от большевизма отрезать, так сразу же и выбросить надо, потому что в другой жизни мне жизни нет. Так? Так!

— Это верно! — одобрил и подкрепил Супрунов. — Мы без большевизма смысла не имеем. Если, предположим, контрреволюция вдруг победит, так мы с тобой без остатка погибнем. И не оттого, что нас расстреляют или на каторгу сошлют, а оттого, что ни в одном уголке жизни нам места не будет. Новая жизнь будет, и новые люди будут, а нам в этой жизни и с этими людьми места не будет.

— И, стало быть, — крепко сжал кулаки Любкин, — я в себе вот как уверен! А если мне на Варискина поглядеть любопытно, так ничего в этом нет: любопытно, значит, любопытно, только и всего!

— Ты так уверен? — скосился Супрунов.

— А как же иначе! — спокойно и убежденно ответил Любкин.

ГЛАВА XXI

На другой день, часов в 10, Супрунов зашел за Любкиным и отвел его в маленький кабинет, отгороженный фанерной перегородкой от большой комнаты старого дома. Фанера была покрашена под красное дерево и очень нарядно блестела лаком. Любкин знал, что за фанерой лежал толстый слой войлока, прикрытый с другой стороны такой же фанерой, потому что с другой стороны тоже был маленький кабинетик, а никто не должен был знать и слышать того, что делается у соседа. И то, что на каждом шагу были закрытые двери, не пропускающие звука перегородки и замкнутые лица, то, что везде была таинственность, опять напомнило Любкину о «ненастоящем». Он нахмурился. И вдруг ему показалось, будто он смутно боится того, что сейчас увидит в Варискине.

Это было странно: почему то, что он увидит в Варискине, может пугать? Он поежился.

Супрунов позвонил в буфет и приказал принести чаю и бутербродов, а потом позвонил в караульное помещение и распорядился привести к нему Варискина.

Варискина привели очень скоро, а с чаем запаздывали. Супрунов отдал караульному расписку «в получении арестованного», и тот вышел. Варискин, вероятно, ожидал увидеть Яхонтова или «того, что с ромбом», и откровенно удивился, увидев незнакомое лицо Супрунова. Он глянул на Любкина, но Любкина он тоже не знал, а поэтому инстинктивно к чему-то приготовился, чуть слышно крякнув: осторожно и неслышно.

— Садись, товарищ Варискин! — почти приветливо сказал ему Супрунов.

Варискин сразу отметил это «товарищ»: оно означало для него что-то хорошее. Он вспомнил Петрухина, подумал — «Вот оно!» и приосанился. Сел на стул почти независимо и стал чувствовать себя так, словно он, свободный, пришел по делу в обком или в облпрофсовет: равный к равному.

В это время служительница из буфета, Лида, развязная и очень самонадеянная, с наглыми, бесстыжими глазами, принесла на подносе чай и бутерброды. Увидев арестованного, она немного замялась в дверях, но Любкин взглядом показал ей на столик, который стоял около дивана. Она поставила поднос и с притворным безразличием на лице вышла.

Супрунов ненужно перелистал листы в каком-то случайном «деле», притворившись, будто внимательно вчитывается в страницу, а потом шумно захлопнул это «дело» и крепко посмотрел на Варискина.

— Так вот... По поводу твоего вчерашнего показания, товарищ Варискин... Стало быть, Любкин и Супрунов? Да?

Варискин огляделся быстрым поворотом головы. Ничего не подозревая, а только чувствуя, что он здесь «товарищ», он тихо, но твердо сказал:

— Да, и они тоже.

— Наверное знаешь? — пытливо спросил Супрунов.

Варискин даже фыркнул слегка.

— Не знал бы, не говорил бы!

— Дело, сам понимаешь, нешуточное. Это я тебе, как большевик большевику говорю. Словами трепаться нечего, а коли что есть, так выкладывай. Доказать можешь?

— Могу! — с уверенностью ответил Варискин, сам не зная, какие доказательства он может представить, и что именно может служить доказательством. — Спрашивайте.

— Погоди... Может быть, ты есть хочешь? Чаю выпьешь?

Варискин покосился на стол, где стояли бутерброды, и одобрительно крякнул. Он очень хотел чаю, да к тому же, он был постоянно голоден.

— Чаю? — переспросил он. — Оно отчего ж, если чаю...

— Так пей, не стесняйся!

Любкин поставил рядом с ним стакан чаю и тарелку с бутербродами. Варискин с нескрываемой жадностью схватил верхний, откусил и стал торопливо жевать. Супрунов смотрел на него.

— Есть — ешь, а все-таки, говори! — приказал он.

Варискин замялся: о чем говорить и что говорить? Но за все последнее время он так вросся в созданный им заговор, в дела и в людей этого заговора, что привык почти воочию видеть все, что говорил на допросах, и ему стало совсем нетрудно уходить в созданный им мир ложных теней.

Он громко проглотил кусок и слегка потянулся через стол к Супрунову.

— На заседании Центрального Бюро «Черной Руки»... Вы записывайте! — чуть ли не приказал он и ткнул пальцем в лист бумаги. — На этом самом заседании председательствовал Любкин, и он тогда зачитал нам инструкцию, которую получил от заграничного центра. А потом он нам сказал, что...

— Погоди! — перебил Супрунов. — Что было в инструкции?

— Ну, как это — что? — удивился его непонятливости Варискин и чуть ли даже не обиделся. — Известно, что: пароль для явки, опять же насчет вредительства на военных номерных заводах и... и... того! насчет шпионажа тоже: где какие гарнизоны стоят, с каким, значит, вооружением, и... вообще!

Он уже не раз говорил нечто подобное Яхонтову, а поэтому проговорил все это хоть и бестолково, но довольно уверенно, гляди Супрунову прямо в глаза. И при этом успевал жевать бутерброд и глотать чай.

— Ты сам на этом заседании был? — спросил Супрунов. — Сам слышал?

— А как же! — для полной убедительности сделал большие глаза Варискин. — Не был бы, не говорил бы!.. А потом вызвал меня к себе этот самый Любкин, и...

— Куда вызвал? На дом?

— А шут его знает! На Канатчиковую улицу я тогда, кажись, ходил! Может, он и жил там, а, может, это только так... для виду!

— Ну?

— Ну, и дал мне список. Зашифрованный, конечно. А в том списке все было обозначено: в каком городе кто в верхушке состоит, и кто из НКВД в заговор вовлечен. Все было обозначено!

— Где ж этот список?

Варискин немного поперхнулся: об этом он не успел подумать.

— А он его у меня потом назад взял! — догадался он.

— Стало быть, ты Любкина хорошо знаешь? — спросил Супрунов.

Варискин не мог ответить с полным ртом, а только энергично закивал головой: знаю, дескать, хорошо знаю! Любкин (с каменным лицом) тихо обошел во-

круг стола и встал рядом с Супруновым, прямо против Варискина, неотрывно смотря на него.

— Когда это было? — совершенно пустым голосом спросил он, пристально вглядываясь в Варискина.

Варискин поднял на него глаза, с усилием проглотил то, что было во рту, торопливо хлебнул глоток чаю и уверенно ответил с полной готовностью:

— Числа я точно не помню, а зимой, примерно...

— Ах, зимой! — странным тоном протянул Любкин. — А Супрунов?

— Что Супрунов-то? — не понял Варискин.

— Откуда ты знаешь, что он тоже в вашей организации состоял?

— Так он же вместе со мной в одном секторе работал! Сектор внутренней связи назывался! — удивляясь тому, что они даже этого не знают, горячо сказал Варискин.

— Так зимой, говоришь? — спросил Любкин.

Варискин опять замотал головой, прожевывая кусок: зимой, зимой!

— А, может быть, ты ошибаешься? — немного странным тоном, словно подсказывая ему, сказал Любкин, кладя руку на плечо Супрунова и слегка пожимая ею: не мешай, дескать.

— Почему это ошибаюсь? — недовольно и даже сердито спросил Варискин.

— Да ведь Любкина и Супрунова зимой здесь совсем еще и не было. Они ведь сюда совсем недавно приехали.

— Да как же это так, что не было? — совершенно серьезно обиделся Варискин. — Как это так, совсем не было, коли они были! Я ж вам говорю, что вот на собрании присутствовали и... и меня потом к себе вызывали, а потом этот самый список мне дали. Это все по шифрованным протоколам можно доказать, у Владыкина протоколы эти.

— Да они-то зимой не то в Сибири, не то в Монголии были.

Варискин хитро прищурился: и простаки же вы, как погляжу на вас! Он даже улыбнулся наивности вопроса.

— Они, может, и в Сибири были, а сюда, когда им надо было, нарочно приезжали! — наставительно пояснил он. — Далека ли та Сибирь? На самолете-то — раз и готово! Сделают здесь, что им надо, и — назад. Долго ли?

— Любкин тогда тоже с бородой был, как сейчас, или бритым ходил? — спросил Супрунов, поддерживая игру Любкина.

— С бородой! — убежденно подтвердил Варискин. — Я ему говорю: «Зачем бороду носишь?» — а он — «В Сибири, говорит, холодно!» На купца он похож, с бородой-то...

— А Супрунов? — спросил Любкин, впиваясь в него глазами.

— Без бороды! — солидным басом ответил Варискин, уже видя в своем воображении и бородатого Любкина и безбородого Супрунова. — Мужчина видный! — с удовольствием добавил он, вглядываясь в свое воображение. — Немного рябоват малость! — неожиданно для самого себя добавил он.

— И без двух пальцев на правой руке? — подсказал Любкин.

— И без двух пальцев на правой руке! — с удовольствием подтвердил Варискин: вот ведь как оно все хорошо сходится у нас. И, безо всякого напряжения, он свободно увидел правую руку воображаемого Супрунова: как раз двух пальцев нехватает, указательного и среднего.

И он опять схватился за бутерброд и за простывший чай.

— Проголодался, что ли? — сочувственно спросил Супрунов. — Ешь, не стесняйся. А вечером я тебя опять вызову, так поужинаешь! — пообещал он. — Об остальном вечером мне расскажешь, а сейчас иди

к себе. Погано там у тебя? — сочувственно поинтересовался он.

— Да нет, ничего! — не захотел жаловаться Варискин: в жалобе он видел как бы осуждение, а он никак не мог ничего осуждать. — Вот только есть дают маловато! — не утерпел он, но все же сказал не «мало», а «маловато».

— Это можно исправить. Это мы в два счета для тебя исправим! — пообещал Супрунов. — Ты ведь в одиночке?

— В одиночке...

— Оно и лучше: бузы меньше. В общих-то камерах дряни всякой много.

— Там дряни много! — подтвердил Варискин, с удовольствием понимая, что его этой дрянью не считают.

Супрунов отослал его. Когда Варискин вышел, Супрунов поворотился к Любкину. «Ну, что?» — хотел спросить он, но остановился, чем-то пораженный в выражении лица и, особенно, глаз Любкина.

— Видел? Видел? Видел? — нервно, несколько раз подряд спросил Любкин.

— Что видел-то? — очень недовольно и даже сердито огрызнулся Супрунов.

— Верит! Понимаешь ты? Сам всему верит! И бороде, и двум пальцам! До чего дошел: верит!

Супрунов нахмурился и передернул на себе туго затянутый пояс.

— Ну, и чорт с ним! — зло сказал он. — Верит, и — пускай! Тебе-то что? Не один ведь Варискин в свою выдумку верит, все верят!

— Все? — приковался к нему глазами Любкин. — Все? Все сами придумают, и все сами верят? Все?

— К этому идет.

— Да не идет, а ведет! — несдержанно вырвалось у Любкина. — Ведут! Мы ведем! Мы! К ненастоящему ведем! А ты? — с вызовом бросил он Супрунову. — Ты, Павел? Ты-то веришь в то, что ты выдумал?

— Я? — нехорошо скривился Супрунов. — Я ничему, Ефрем, не верю, потому что ничего мне не надо из того, что люди придумывают, чтоб в свое придуманное потом верить. Ничего! А вот ты...

— Что?

— Ой, Ефрем, Ефрем! — многозначительно покачал головой Супрунов, с неодобрением прикрывая веками глаза. — Смотри-ка за собой крепче!

Любкин не ответил. Уставился в одну точку и долго смотрел.

— А для чего это ты сегодня Варискина вызвал? — в ответ на какую-то свою мысль спросил он. — Чего ты от него хочешь, не понял я.

— Я-то? От него? — безразлично пожал плечом Супрунов. — Особенного мне от него ничего не надо, а приручить его к себе мне, действительно, надо. Чтоб он меня не боялся, корм из моих рук брал и даже поноску носил.

— Зачем?

— А там видно будет!

— Опять... ненастоящее?

Супрунов подошел вплотную к Любкину, сильно хлопнул его ладонью по плечу и потряс за это плечо.

— Ненастоящее, говоришь? Плевать! Зато я настоящий, я! Понимаешь? Я!

— Ты... настоящий! — почему-то грустно согласился Любкин.

— И ты сам тоже настоящий!

— А больше что ж нам надо?

— Больше-то? Ничего. Что ж больше-то? Ведь больше-то, может быть, ничего и нету!

ГЛАВА XXII

В тот же день, часов в 12, Любкин поехал к Елене Дмитриевне.

Дверь Любкину отворила работница, которая приходила по утрам убирать квартиру. Любкин ожидал увидеть Елену Дмитриевну и почему-то рассер-

дился, увидев, что это не она. Буркнув что-то бессвязное, он быстро прошел в комнату. Елена Дмитриевна стояла у окна, спиной к нему. Услышав его шаги, она повернулась и на полсекунды растерялась: он не предупредил о своем приезде, и она не ждала его. Но очень быстро нашлась и исправилась: сделала вид, будто смутилась, опустила глаза и коротко вздохнула.

Любкин, задержавшись на секунду в дверях, поверил ее смущению и ее радости, а, поверив, ощутил в себе то, что он назвал бы счастьем, если бы он знал, что называется счастьем. Очень крепко и очень твердо шагая, он быстро подошел к ней и, остановившись перед нею, стал пристально смотреть на нее.

— Да? — не удержался и спросил он, делая к ней не шаг, а невольное короткое движение.

Он хотел спросить — «Любишь?» — но это слово никак не сходило с его языка: он и не умел произносить его, и стыдился его, и даже боялся. Это слово казалось ему изменой чему-то, чему он не имеет права изменять. Он жил в мире других слов, определяющих ту жизнь, которую он, вместе с другими, строил, и для «любишь» в этой жизни места не было. «Любишь» звучало откуда-то со стороны, из другого мира, не из его мира, и он не знал: не опасно ли «любишь» для него и для всего того, чему служил он.

— Да?

Елена Дмитриевна (словно через силу) подняла глаза, глянула прямо и глубоко, чуть стыдливо улыбнулась и почти неслышно ответила:

— Да...

И опять опустила глаза.

«Вот оно, настоящее-то!» — с каким-то чересчур внезапным восторгом мелькнуло в голове у Любкина. Не зная, что делать и что говорить, он немного нелепо качнулся на месте, потом так же нелепо сделал два-три шага по комнате и сел на диван. «Да

неужто ж оно настоящее?» — не поверил он себе, ощущая радость, от которой ему хотелось смеяться.

Елена Дмитриевна, очень легко ступая, подошла и села с ним рядом. Он не хотел или, вернее, не смел посмотреть на нее и сидел, тоже потупив глаза. Она мягко и нерешительно дотронулась концом пальцев до его руки и слегка погладила ими. Он незаметно вздрогнул: так незаметно, что она не должна была бы уловить это движение, но она все же уловила его и отметила в себе.

— Я не знаю, зачем я сказала тебе это сегодня ночью! — тихо и по-необыкновенному нежно шепнула она. — Впрочем, никакого «зачем» ведь и нет, а есть только — «почему»...

— Почему? — немного глухо спросил Любкин, все еще не поднимая глаз.

— Потому что, если любишь, то не можешь умолчать. Понимаешь? Вот потому-то я и не смолчала. Но я боялась: а вдруг ты рассердишься?

— Почему... рассердишься? — поднял глаза Любкин.

— Почему? Ты — большевик, партиец, чекист. Твоя жизнь не для женщины: ни ты сам душой не пойдешь к женщине, ни к себе в душу ты женщины не пустишь. Да? «Баба» тебе, конечно, нужна, потому что ты здоров и силен, но... Моя постель тебе нужна, а я — нет! — грустно зазвенела она голосом. — Я — стерва. И я...

— Нет, ты молчи! — болезненно сморщив лоб, перебил ее Любкин. — Об этом ты молчи! Это ведь не то... Оно даже и не так!

— Но только ты, — вдруг взметнулась и заторопилась Елена Дмитриевна, — ты не думай, будто теперь что-нибудь должно измениться, или что я тебя к чему-то обязываю! Ничуть! Ни капельки! Как все было, так все и останется! И если...

— Нет, оно уж так не останется! — неожиданно

для себя, но с несомненной уверенностью вдруг сказал Любкин. — Так оно уж остаться не может. Никак!

Елена Дмитриевна бросила на него, сквозь опущенные ресницы, быстрый взгляд, хотя и искоса, но страшно пытливо: Каков сейчас он, Любкин? Каким он может стать дальше?

— Я сказала «люблю» не для тебя, а для себя! — немного понизила она голос. — Мне нужно — (она сделала ударение на «мне») — мне нужно, чтоб ты знал, а тебе это совсем не нужно, ты и не знай! Хорошо? Впрочем...

Она встала с дивана и вся вытянулась. Нижняя губа у нее слегка задрожала, словно она укрощала невольную улыбку, но улыбка все же пересиливала и, наконец, засияла. И от этой улыбки ее лицо стало прелестным. Она посмотрела на Любкина и, не удержавшись, бросилась к нему: не опустилась, но упала. Что есть силы обняла его за плечи и прижалась щекой к его груди, пряча и лицо и глаза.

— Люблю, люблю, люблю... — затвердила она, прижимаясь. — Люблю, люблю, люблю...

В это время за дверью послышались преувеличенно громкие шаги и преувеличенно громкие движения работницы, которая убирала на кухне. Елена Дмитриевна отдернулась от Любкина и успела сесть прямо. Работница же не то поцарапалась пальцами в дверь, не то постучала, притворяясь, будто не может сразу открыть ее, и давая этими звуками знать, что она сейчас войдет.

— Ну? Войдите, конечно! — громко приказала Елена Дмитриевна, показывая и своим тоном и нарочитым «конечно», что она совсем не понимает, почему работница мешкает войти.

Та вошла.

— Я уже все прибрала, Елена Дмитриевна! — с лицемерной скромностью сказала она, не опуская глаз, но, в то же время, смотря как-то никуда. — Больше вам ничего не надо?

— Нет, нет! — торопливо ответила Елена Дмитриевна. — Можете идти. Сахару вы купили?

— Купила.

— Хорошо, идите.

Работница молча поклонилась и очень тихо ушла. И когда через минуту щелкнул замок затворившейся двери, Любкин с какой-то необыкновенной остротой почувствовал, что вот он и Елена Дмитриевна сейчас — одни. Он почувствовал это по-новому: радостно, дразняще и завлекающе. И Елена Дмитриевна, тоже по-новому, стала для него желанна. Ему захотелось стать осторожным, нежным и ласковым, каким он не был никогда в жизни: ни с нею, ни с другими. И он рассмеялся очень глупым, но очень счастливым смехом.

Вероятно, прошел час, а может быть, и два: Любкин не знал. Он, конечно, мог посмотреть на часы, но он забыл о времени, потому что оно стало ему не нужно. Он смотрел вокруг себя и не узнавал ни комнаты, ни стола, ни буфета: они стали совсем иными, какими не были никогда. Главное же — ему не хотелось уходить, а, наоборот, с мягкой настойчивостью хотелось сидеть подле Елены Дмитриевны, молчать и знать, что она тут. И еще захотелось (он даже застыдился этого желания), чтобы на дворе было по-осеннему пасмурно, холодно, чтобы дул резкий ветер и сеял противный, тоскливый дождь. Тогда здесь стало бы еще лучше: совсем тепло, совсем уютно и совсем ласково.

Елена Дмитриевна подошла к буфету и начала там что-то переставлять и искать. Накинула на стол скатерть (не совсем чистую) и опять подошла к буфету: поднялась на цыпочки и стала шарить рукой на верхней полке.

— Есть захотела? — несмело спросил Любкин.

— Давай закусим! — весело предложила она.

— Закусить? — даже обрадовался Любкин. — Оно, конечно, хорошо... Очень даже хорошо! — уве-

ренно одобрил он, хотя ему и не хотелось есть. — А до обеда-то разве далеко?

— До обеда? У меня нет обеда.

— Как же так? — заинтересовался Любкин. — Где ж ты обедаешь? В столовку, что ли, куда-нибудь ходишь?

— А кому ж у меня обед варить? — пожала плечом Елена Дмитриевна. — Самой возиться? Не хочу! Я часто хожу обедать к моей подруге: она любит, чтобы у нее все было по-домашнему, а я — богема, я по-домашнему не люблю. Разве нельзя быть сытым без обеда? И проще и легче!

— А если, — совсем уж весело спросил Любкин, — если, скажем, гуся с яблоками? Оно ведь совсем неплохо! Или блинов с икрой, а?

— Блины — хорошо, а гусь — нет! — тоже весело согласилась Елена Дмитриевна. — Хочешь, как-нибудь сделаем блины, когда ты будешь свободен!

— Ну, до масленицы еще далеко!..

— А разве непременно нужна масленица? Разве нельзя так, без масленицы?

— Да, надо полагать, можно и без масленицы, — немного замялся Любкин, — но на масленице, понимаешь ты, блин вкуснее!

— Разве? Не знаю! — рассмеялась Елена Дмитриевна. — Я ведь никакой масленицы не знала и не знаю. Родилась я в 11-ом году, а в 17-ом вы масленицу в чека посадили, и не то вы ее там расстреляли, не то в изоляторе ее держите... без права переписки! — рассмеялась она. — А хорошо было на масленицу?

— Любопытно! — с одобрением покрутил головой Любкин. — Не знаю, как оно было у больших людей и у господ, а у нас на деревне очень даже любопытно было. Катанья, понимаешь ты, устраивали... Лошадей всех лентами уберем, бантами украсим, в гривы им всякие такие звезды понацепим, а сани ковром покроем, и — раздайся, душа, на две половинки! Кто на гармонике, кто с балалайкой... У нас на дерев-

не сапожник был, Егорыч, так тот на корнете здорово умел изображать: в полковом оркестре научился. Сядет на облучок да как наярит галоп или кавалерийскую атаку, так что ж это такое!.. А тут тебе колокольчики да бубенчики, как сумасшедшие, понимаешь ты, заливаются! Снег глубокий, колючий, занозистый!.. Коренник словно лебедь плывет: ногами выбрасывает, а идет плавно, хоть стакан воды на него ставь, не расхлещет! Пристяжные, те, конечно, удаль показывают, в кольца вьются... Эй, раздавлю!

— И ряженые? И ряженые?

— Ряженые, те на Святки, а на масленицу — балаганы, качели, карусели... Наша-то деревня от города всего верст 15 была, так мы, значит, — туда. А там уж дед-раешник на морское чудо, на нездешнее юдо зовет посмотреть, а под каруселью орган «Дунайские волны» воем воет... В третьем месте тебе женщину на 12 пудов показывают или, скажем, карликов-лилипутов. А мальчишки-то, мальчишки, понимаешь ты, под ногами вьюнами вьются, в сопелки-дуделки дудят-свистят, от ребячьего счастья земли под собой не чуют! Помню, как же! — широко улыбнулся Любкин. — А сверху-то солнце, а снизу-то снег, а вокруг тебя воздух ядреный! Эх, мороз-морозец, аленькие щечки, пар изо рта, иней на бровях! А потом — блины. Ну, и водочка к ним, конечно... Смородиновая, полынная, зверобойная, сорокотравчатая... А от блинов дух идет, аромат съедобный, лучи невидимые сияют!.. Которые блины с припеком, которые с нетом, а которые — так. «Горяченьких несу! Приготовсь!»

— Ты из богатой семьи был?

— Жили, не нуждались! Да ты не думай, — горячо спохватился он. — Если даже и самый бедный мужик был, так и он себе в блине никак не отказывал. Хоть он блин-то, может, с конопляным маслом ел, а все-таки свою масленичную судьбу хвалил да похваливал. «Подвали-ка, жона, горяченьких!» Тогда

ведь какая жизнь была? Эту жизнь знать надо, а не то, чтоб...

— Зачем же... разрушили? — дрогнувшим голосом спросила Елена Дмитриевна.

Любкин нахмурился. Он очень хорошо знал, чтó надо отвечать на такой вопрос, но отвечать он не стал: что-то мешало ответить готовыми словами, не хотелось сейчас этих готовых слов.

— Это... статья... другая! — неохотно выдавил он из себя.

— Вот именно: статья! — дернула плечом Елена Дмитриевна. — Блины и балаганы им помешали! Мальчишки с ребячьей радостью в дудки дули, так надо было эти дудки на черепки разбить. Да? Колхозники-то теперь блины едят ли? — вызывающе спросила она.

Любкин болезненно поморщился.

— Не про то разговор... Масленица, она, конечно... Но ты не одну только масленицу бери, а ты вообще бери!

— Эх, «вообще»! Никакого «вообще», Ефрем Игнатьич, друг ты мой сердечный, в жизни и нет совсем, а есть одно только «в частности»! Вообще? А ты про сезон на Ривьере слыхал когда-нибудь? — совершенно неожиданно, с вызовом, спросила она.

— Это еще что такое? — нахмурился Любкин, непонятно для себя чувствуя что-то враждебное.

— Это? Это такое пирожное! — рассмеялась Елена Дмитриевна. — А еще есть пляж в Биаррице, автомобиль Ролл-Ройс, манто из чернобурых лисиц и белая яхта в Средиземном море. Впрочем, нет, нет! — замахала она руками. — Я ошиблась! Всего этого ничего нет, нигде нет, совсем нет, вот как жар-птицы и золотой рыбки нет! Но грезить-то о них разве нельзя? Сказкой тешить себя разве нельзя? Есть жар-птица! Есть сезон на Ривьере!

— Ты что-то... не о том! — с ласковой укоризной повернулся к ней Любкин.

— О том! — страстно зазвенел голос Елены Дмитриевны. — О том!

Она откинулась назад, положила ногу на ногу и, обняв руками колено, стала смотреть в одну точку. Любкин не отводил от нее взгляда и все ждал: что еще скажет она? И ему хотелось, ему очень хотелось, чтобы она говорила как можно больше, и все — о себе.

— Я помню, — сдержанно сказала Елена Дмитриевна, — шла я один раз через нашу Караваевку. Года два тому назад это было. Знаешь Караваевку? Бывал там? Окраина, тротуаров нет, мостовые провалились, их в последний раз еще при царе чинили... Заборы упали, кучи везде какие-то... Вечер был тогда, совсем темно и — ни фонаря: только из окон какие-то подслеповатые пятна мигают. И... и где-то пьяный не то храпит, не то блюет. Дождь сверху сеет, холодный такой, скользкий, осенний... И грязь! Нога по щиколотку тонет, липнет в грязи, скользит и ступить боится: противно ей. Дошла я до угла, а там — ветер со всех сторон. И как мне через улицу перейти, я уж и не знаю.

Она вся сморщилась в брезгливой гримасе.

— И вдруг, — выпрямилась она, — вдруг где-то около меня труба громкоговорителя на столбе загудела. Сначала только загудела, закашляла, а потом словно бы справилась и... И скрипки вдруг моцартовский концерт запели! Ах! Я так и замерла!

— Чего это? — не понял Любкин.

— Да неужели ж ты не понимаешь? — чуть не всплеснула руками Елена Дмитриевна, и Любкин услышал совсем странный голос: была в этом голосе и горечь, и тоска, и жажда, но была и ненавидящая злоба к чему-то и издевательство над чем-то. — Ты пойми! Пойми! Тьма, холод, осень, грязь, пьяный блюет и матом кроет, а тут — скрипки моцартовский концерт поют! Да разве же, — с надрывом вырвалось у нее, — разве существуют на свете скрипки и Моцарт,

если кругом — тьма, холод и грязь? Мерзкая жижа мне в башмаки насочилась, я ее своими пальцами до противности чувствую, а скрипки поют что-то такое, в чем ни тьмы, ни грязи не только нет, но и быть не может! Я, помню, постояла, постояла и... и заплакала! От отчания? От зависти? От тоски? Не знаю. Верно, от злобы. И не плакать мне хотелось, а выть: истошно выть, от сердца, от живота выть!

Любкин слушал и не понимал себя. То, что Елена Дмитриевна говорит такое, чего она ему никогда раньше не говорила, и то, что он слушает ее напряженно и со вниманием, было для него новым. И совсем новое было для него то, что в нем самом стало шевелиться участие к Елене Дмитриевне. Ни ее мысли, ни ее слова, ни ее чувства ему раньше никогда не были нужны, и он проходил мимо них так же, как волк проходит мимо зеленой муравы, как ворона пролетает мимо куста роз. А сейчас ему было интересно в ней все: и то, что она не готовит дома обеда, и то, как она плакала на темном перекрестке глухой окраины. Он слушал, пытливо вглядывался в нее, и ему хотелось, чтобы она говорила еще, еще и еще...

— Сезон на Ривьере! Пляж в Биаррице! Это — обман, этого — нет! Это только откуда-то по волнам эфира к нам идут такие слова, а на самом деле есть только достижения стахановцев, увеличение добычи угля и «дети поймали шпиона»! А знаешь, чего я тогда захотела? До боли, до муки, до отчаяния захотела?

— Чего? — с напряженным любопытством спросил Любкин.

— Быть в той зале! — широко раскрыла глаза Елена Дмитриевна, как будто увидела эту залу. — Быть в той зале, где сейчас играют скрипки! Это неважно, что играли они, наверное, не в зале, а в студии какого-нибудь радиокомитета, неважно! Я думала о том, что играют они в большом белом зале с мраморными колоннами, с хрустальной люстрой на-

верху, с тысячью людей в изящных туалетах... Тепло, хорошо, светло! Кресла такие удобные, свет такой мягкий, чуть-чуть пахнет тонкими духами, и фраки на всех такие элегантные!.. Или на концерт не надевают фраков? Забыла... Впрочем, и не знала, кажется! Но все равно: я до дрожи в сердце захотела быть в том зале, и я до сих пор хочу быть в нем! Сезон на Ривьере! Пляж в Биаррице! Ты читал сегодня «Правду»? — с внезапной злобой зазвенела она. — Кто еще прислал рапорт любимому Сталину? Сколько поросят принесла свинья свинарке Фитькиной?

Любкин не понял: почему зала и Ривьера, а после Ривьеры — рапорт Сталину? Но он чувствовал, что слова Елены Дмитриевны оскорбляют в нем что-то, оскорбляют чуть ли не лично его. Он немного нахмурился.

— Ты... Не понимаю я тебя! — тихо сказал он. — Какая-то ты сегодня такая... Непохожая! Да не в том суть, что непохожая, — свел он брови, — а в том... настоящая ли ты?

— А разве ты уже все настоящее ненастоящим сделал? — резко спросила Елена Дмитриевна.

Любкин, не вдумываясь ни во что, вдруг неприятно почувствовал себя так, будто он, действительно, в чем-то виноват, будто это, действительно, он все настоящее сделал ненастоящим. Но он не успел еще сделать ни одного движения, как вдруг зазвенел телефон. Елена Дмитриевна, не вставая, дотянулась до трубки и сняла ее.

— Алло!

Любкин поднял голову. Он не знал, кто звонит и что говорит, но шестым чувством понял, что звонит Супрунов, который сейчас скажет что-то такое, чего он изо всей силы не хочет слышать здесь и сейчас.

— Да, передаю трубку! — на что-то ответила Елена Дмитриевна.

Любкин взял трубку, но подождал, ничего не говоря, а только прислушиваясь. Он не хотел спраши-

вать, чтобы не услышать то, что сейчас скажет Супрунов.

— Ну? — сумрачно бросил он, наконец. — Павел? Чего надо?

— Бросай-ка все и приезжай! — очень сдержанно ответил Супрунов. — Сразу же!

— Чего так спешно? — недоверчиво спросил Любкин. — Погодить разве нельзя?

— Коли зову, значит, надо! — все так же сдержанно, но и строго, прозвучал в трубке голос Супрунова.

— Пожар, что ли? — попробовал неловко пошутить Любкин, но понял, что ни шутить, ни оставаться здесь уже нельзя. — Ладно, сейчас! — коротко добавил он и повернулся к Елене Дмитриевне. — Зовут! — не то сожалея, не то извиняясь, пояснил он.

Он подошел к ней, взял ее за плечи, слегка поворотил к свету и заглянул ей в глаза.

— Так-то и вот так-то! — вздохнул он и слегка привлек к себе. А потом поцеловал ее так тихо и осторожно, как не целовал еще ни разу. Немного поколебался, но все же повернулся и пошел. И пока шел, все слегка колебался: надо ли идти? не правильнее ли будет остаться? Совсем остаться!

ГЛАВА XXIII

Вскоре после того, как Любкин уехал из управления к Елене Дмитриевне, Супрунов вызвал к себе Яхонтова. Того привели из одиночки. Супрунов смеющимися глазами посмотрел на него.

— Ну, садись, арестантик... Чего уж там!

Яхонтов тоже улыбнулся, сел и посмотрел вопросительно.

— Дело-то чуть-чуть изменилось! — сказал Супрунов, закуривая и пододвигая Яхонтову коробочку с папиросами. — Оказывается, того гуся нельзя было ночью арестовывать: надо ему дать сегодня в одно

место сходить. Напрасно ты ночь в одиночке просидел!

— Неважно! — снисходительно отмахнулся Яхонтов.

— Знаю, что неважно, но не люблю, когда что-нибудь зря делается! — пояснил Супрунов, посмотрел на Яхонтова и словно бы к чему-то примерился.

— Ну, ладно! — сказал он полуустало-полунебрежно. — Надо теперь тебе все это дело до конца объяснить, чтобы ты в курсе был. Дело, надо тебе знать, такое...

Он еще раз примерился глазами к чему-то и поднялся с места. Если бы Яхонтов был наблюдательнее и тоньше, он заметил бы в движении Супрунова деланность и нарочитость: уж слишком как бы «между прочим» поднялся он.

— Надоело сидеть! — засмеялся он и слегка вытянулся. — Целый день сидишь, сидишь, как ворона на суку! Тело движений хочет, а я все сижу. Я ведь бег люблю и прыжки, а зимой — лыжи... Ты любишь? Спортом занимаешься?

— Я в футбольной команде был! — чувствуя удовольствие от этого дружеского разговора, ответил Яхонтов.

— О!

Супрунов вышел из-за стола и прошелся раза два по комнате. Потом остановился у окна и открыл его. Окно выходило в сад.

Управление помещалось в здании бывшего института благородных девиц: старый, громадный дом, построенный еще до крымской войны. Когда им в 1926 году завладело ГПУ, его начали перестраивать и с тех пор беспрестанно что-то переделывали, перегораживали и приспосабливали для новых нужд. Но сада не трогали и даже не прочищали никогда. И сад заглох, задичал, стал угрюмым и неприветливым, но в то же время чудесным своей заброшенностью и за-

пущенностью. Сейчас, осенью, кой-где уже полуголые деревья стояли на золотом ковре опавших листьев, еще не прибитых и не запачканных осенними дождями, и грустно пошевеливали обнажающимися ветками. Запыленные, осиротевшие кусты сирени, жимолости и жасмина тянулись к невысокому каменному забору и, загибаясь вдоль его, уходили куда-то дальше, в глубь сада. Чистое небо было уже бледновато, словно и оно увядало, как деревья, и от его побледневшей синевы лилась на землю тихая грусть. Солнца не было видно, оно было сзади, за домом, но его осенне-золотые лучи, казалось, наполняли весь воздух ровным, спокойным светом. В саду было тихо, не по-городскому тихо, и даже было слышно, как ворошилась и попискивала на ближайшем дереве какая-то пичужка.

Если бы Супрунов и Яхонтов почувствовали, что только несколько шагов и только кирпичная стена отделяют грустные деревья, слегка вспотевшую землю, освещенный солнцем воздух и попискивающую пичужку от всего того, что находится здесь, в доме, они закричали бы и завопили, потрясенные немыслимым, химерическим контрастом. Но для них не было ни тишины сада, ни бесшумно падающих багряных листьев, ни темных теней между уходившими вглубь деревьями. Они не видели их, и только поэтому они могли быть теми, кем они были.

Супрунов перегнулся через подоконник (комна- была невысоко, над полуподвалом), заглянул вниз и зачем-то пробежал глазами по кустам сирени, которые шли вдоль забора.

— Осень, — совершенно безразличным тоном сказал он, — а слякоти еще нет. Впрочем...

Он присел на подоконник, лицом к комнате, и очень остро глянул на Яхонтова. Тот смотрел в сторону.

— Осень осенью, слякоть слякотью, разговоры разговорами, а дело-то ведь делом! — переменил тон

Супрунов. — Ты револьвер с собой взял, как я говорил?

— Взял.

— Дело! И не расставайся с ним... С тобой он?

— Со мной.

— Покажи-ка... Годится?

Яхонтов встал с места и подошел к окну, на ходу доставая из кармана револьвер. Супрунов понимающе осмотрел.

— Сойдет! — сказал он, держа револьвер в левой руке. — На большую дистанцию стрелять ведь, все равно, не придется. Но мой лучше! — добавил он, доставая из кармана брюк свой револьвер. — А, может быть, он и хуже, да только привык я к нему. Каждый день, как правило, упражняюсь, а потому и стреляю, надо тебе знать, совсем ладно: и быстро и метко. Ты хорошо стреляешь? Левой рукой умеешь?

— Левой?

— Да, вот так...

Все остальное произошло чрезвычайно быстро: в две или в три секунды. Супрунов, держа револьвер Яхонтова в левой руке, вдруг выстрелил из него вбок, в сторону своего письменного стола, и почти сейчас же, не дав Яхонтову даже вздрогнуть, быстро, уверенно и четко поднял правую руку со своим револьвером и выстрелил Яхонтову в глаз. Яхонтов тут же упал, а Супрунов удивительно цепко охватил взглядом его упавшую фигуру, что-то мигом оценил в ней и, быстро нагнувшись, подкинул на пол к его правой руке его револьвер. Потом (в ту же секунду) легго и ловко перепрыгнул через тело, бросился к двери и распахнул ее.

— Сюда! — резко и повелительно крикнул он.

Караульный, который привел Яхонтова и который сидел в коридоре у окна, вскочил с места еще при звуке выстрелов и сразу же, метешливо и бестолково, кинулся к Супрунову на его крик. И из другой двери кто-то выскочил, а за ним еще кто-то.

— Вот гад! — немного задыхаясь от негодования, крикнул Супрунов, ни к кому не обращаясь. — Выстрелил в меня и через окно бежать хотел!

Он повернулся и пошел в свой кабинет. С разных сторон прибежало еще несколько человек и, нервно наталкиваясь друг на друга, пошли за Супруновым, заранее вытягивая головы, чтобы поскорее увидать. Караульный, думая, что на нем лежит какая-то особая, отличающая его обязанность, сделал неестественно серьезное, нахмуренное лицо и, что есть силы сжав пальцами револьвер, вошел с видом полной готовности и даже некоторой самоотверженности.

Яхонтов лежал на полу, слегка подвернув под себя левую руку и широко откинув правую. Кровь несильной струей вытекала из глаза и текла по щеке.

Супрунов вошел, остро посмотрел на убитого и перевел дыхание.

— А ну, гляньте: жив или нет?

— Доктора позвать?

— Позови... мигом!

Двое наклонились к Яхонтову и стали осматривать его, неумело и даже недоуменно ощупывая.

— На диван положить, что ли? — нерешительно предложил один из них.

— Правильно! Кладите! — распорядился Супрунов. Но чуть только эти двое приподняли тело и сами повернулись к дивану, он словно бы раздумал. — Нет, не надо! — приказал он. — Кладите на пол, а то еще весь диван кровью попачкаете.

Тело положили опять на пол. Супрунов искоса, но очень метко глянул: первоначальной позы, в которой лежало тело после убийства, уже нельзя было установить.

— Выходит, что убит! — словно чем-то недовольный пробурчал он. — Он в меня вон оттуда выстрелил, а я...

Но он сразу же осекся и не сказал, откуда стре-

лял, а повернулся в сторону своего стола и неопределенно поискал глазами по стене.

— Где ж тут его пуля попала? — спросил он сам себя. — А ну, кто найдет? Она вот где-то тут должна быть...

Пулю нашли почти сразу: она пролетела над столом и ударилась в стенку недалеко от кресла Супрунова, на высоте груди стоящего человека.

— Он было бросился к окошку, — счел нужным пояснить Супрунов, хорошо притворяясь слегка взволнованным, — а я вскочил и сразу же за карман. Выхватил револьвер, а он, вероятно, угадал, что уж не успеет через окно перескочить, повернулся и выстрелил. И я в ту же секунду — бах! Только вот он промахнулся, а я — нет...

Вошло еще несколько человек со слегка встревоженным и настороженным видом. Супрунов достал папиросу и закурил.

— Значит, здорово был парень влопавшись! — немного угодливо сказал кто-то, посматривая на Супрунова: услыхал ли?

— Не без того! — подтвердил другой.

— Ну ладно! Лишнего не болтать! — коротко приказал Супрунов.

Вошли караульный и доктор: в белом халате, с дежурства. Он, ни о чем не расспрашивая (главное ему уже успел рассказать по дороге караульный), опустился на колени перед Яхонтовым, натянул ему и без того открытое веко уцелевшего глаза, ковырнул пальцем рану и всмотрелся обдумывающим взглядом. Потом расстегнул Яхонтову жилет и рубашку и приложил стетоскоп к сердцу. Несколько секунд послушал, потом зачем-то согнул в локте правую руку Яхонтова, выпустил ее и решительно встал с колен.

— Наповал! — негромко, но совершенно уверенно сказал он.

— Та-ак! — протянул Супрунов. — Начальнику доложу я сам, а вы скажите, — неопределенно рас-

порядился он, ни к кому не обращаясь, — чтобы вынесли его.

Когда все вышли, Супрунов, очень искренно не видя тела Яхонтова, сразу осунулся и так опустился в кресле, словно ни один мускул не держал его. Он закрыл глаза.

Это была реакция. Яхонтов провел в его кабинете не больше 4-5 минут, но эти минуты все время требовали от Супрунова большого и ответственного напряжения во всем: от тона голоса до меткости выстрела. Раньше такое напряжение давалось Супрунову легко, но в последнее время (год и даже больше) после напряжения его всегда охватывала слабость. И кроме того (это было еще хуже), вместе с мускулами, ослабевала голова: мозг терял четкость, становился вялым и малоподвижным.

Прошло минут десять. Супрунов открыл глаза, пошевелил плечами, распрямляя их, разгладил ладонями лицо, сильно потерев щеки, и встал с места. Хмуро посмотрел на труп Яхонтова и как-то пренебрежительно дернул плечом. Потом взял трубку с телефона, набрал номер Елены Дмитриевны и вызвал Любкина.

Любкин, приехав в управление, выслушал доклад Супрунова нахмурившись, все время что-то соображая и представляя себе то, что произошло. Когда Супрунов кончил, он не сказал ни слова, а долго еще продолжал соображать и взвешивать. Наконец, он, очевидно, прощупал все узлы и звенья, остался доволен, с одобрением посмотрел на Супрунова и даже подмигнул ему:

— Комар носа не подточит, а?

— Надо полагать, что не подточит! — довольный собой, но все же как-то холодно ответил Супрунов и погладил свой безукоризненно выбритый подбородок.

Любкин невольно залюбовался им: такой он был

крепкий, ладный, подобранный. Но в холоде его тона он почувствовал упрек себе («Ты вот у своей бабы сидел, а я тут черную работу должен был делать!») и считал, что этот упрек заслужен.

— Ну, а Варискин? — и увильнул он и вспомнил с озабоченной деловитостью.

Супрунов ответил по-готовому, по уже обдуманному.

— Варискина я иначе ликвидну, но только не сейчас: нельзя раз за разом, заподозрить смогут. У наших ребят нюх иногда чертовский бывает, не понимаешь даже, откуда они и берут... Варискин пусть еще посидит да ко мне попривыкнет! А дурака свалять я ему не дам, об этом ты не беспокойся.

— А если его кто-нибудь из других следователей к себе вызовет? По смежному делу, а?

— А я еще вчера распорядился, чтобы его никто не трогал!

ГЛАВА XXIV

Когда Супрунов ушел, Любкин сначала долго сидел и думал. Потом встал с места и начал ходить по своему большому кабинету. И ходить и думать было приятно. Постепенно его стал охватывать знакомый ему прилив служебной энергии. Он вызвал к себе начальника административного отдела, потребовал у него отчет по делам, долго говорил с комендантом, а потом достал «дело» троцкистов и стал в него вчитываться. Еще вчера вечером это дело никак не давалось ему, а сейчас он без труда нашел в нем нужный «кончик», на который легко было намотать все остальные концы. Он с удовлетворением крякнул и стал быстро, размашисто набрасывать на листе бумаги план следствия. Потом достал другую папку и прочитал обвинительное заключение по одному из законченных дел. Отметил на полях свои условные знаки: получалось 5 смертных приговоров и 17 ссылок на разные сроки. Он слегка задумался: «Пять?

Не мало? Как бы в Москве дураки не сказали, что я сам слаб!»

И вдруг почувствовал какое-то нетерпеливое желание. Сразу догадался, набрал номер и стал ждать.

— Алло! — услышал он.

— Что делаешь? — ласково спросил он.

— Ничего! — слышно было, как улыбнулась Елена Дмитриевна. — Я ведь всегда делаю «ничего»...

— Неужто?

— А что же мне делать? Читать надоело, в театр не хочу... Приедешь?

Любкин заколебался. Приехать ему очень хотелось, но он никогда не позволял себе ни «малодушества», ни «баловства».

— Завтра, разве... — с сожалением сказал он. — Ну, спи!

— Рано еще, — засмеялась Елена Дмитриевна. — Только девятый час еще!..

— Ну, сходи куда-нибудь проветриться!

— Куда?

— Мало ли...

— Нет уж! Где уж! Куда уж! — вздохнула Елена Дмитриевна. — Так не приедешь?

— Не могу! Завтра, разве...

— Ну, и ладно! Не люблю! — капризно бросила Елена Дмитриевна и положила трубку. Контакт прервался, в трубке тихо загудело, и раздались чьи-то далекие неясные голоса. Любкин несколько секунд подождал, словно ему было досадно расставаться с трубкой, но положил ее на аппарат и опять занялся делом.

Но на утро он не утерпел и съездил «на часок». А потом, в тот же день, вечером («На часок же!»), съездил опять. И начал ездить каждый день.

Раньше, когда он приезжал, он входил торопливо, озабоченно, как за делом, не говорил почти ничего и даже не смотрел. Но теперь он стал бывать по-иному: приехав, садился на диван, чувствовал себя

легко и начинал разговор. Говорил случайно и слушал случайное же, но ему было интересно и слушать и говорить. Елена Дмитриевна подсаживалась к нему, он обнимал ее за плечи и с удовольствием чувствовал, что она — тут, с ним. И обязательно спрашивал:

— Так любишь?

— Люблю! — очень послушно говорила ему это слово Елена Дмитриевна.

Он гладил ее по рукам, плечам и груди, целовал эти плечи, руки и грудь и дивился: какие они у нее красивые! Он и раньше знал, что они красивы, но раньше он знал это иначе, и красивы они были тоже иначе. Он осторожно, кончиком пальцев, обводил контуры плеч, а внутри у него начинало дрожать от умиленной радости. И он уезжал, даже не заходя с нею в спальню.

Прошла неделя. Однажды Любкин, заехав к Елене Дмитриевне, увидел на диване книгу. Машинально он взял ее и раскрыл. Это был румыно-русский словарь. Он очень простодушно удивился.

— На чорта тебе эта чепуха?

— Это... Это... Ах, у меня так много чепухи!

Казалось бы, что нет ничего ни в том, что у Елены Дмитриевны лежит румыно-русский словарь, ни в том, что она ответила неопределенно, словно увернулась от ответа. Но вместе с тем, было что-то вороватое, скользящее, прячущееся. Любкину показалось даже, что Елена Дмитриевна сделала было движение, чтобы выхватить у него эту книгу, но только сразу же удержалась. И в тоне ее ответа было тоже что-то такое, что бывает у человека, который попадается на чем-то нехорошем и зазорном. Любкин ничего не сказал, ни о чем не спросил, но внутри у него что-то зашевелилось: сомнение или, вернее сказать, подозрение. Он просидел недолго, говорил мало, а если и говорил, то скупо и холодновато, и поскорее уехал. И, конечно, он не видел, как Елена Дмитриевна, после его

ухода со злостью схватила словарь и швырнула его так, как будто он был в чем-то виноват. Лицо у нее перекосилось, и она на минуту задумалась: взвешивала и соображала. А потом выругалась про себя нехорошим, заборным ругательством.

Любкин ехал в автомобиле в управление и хмурился. Заноза сидела в нем и покалывала, но он не сознавался себе ни в чем, хотя занозу и чувствовал. А потом вдруг схватился за мысль, которая ложно объясняла эту занозу и отводила его совсем в сторону: «Варискин! — вспомнил он. — Это он, чорт его дери, беспокоит меня! Кончать бы пора!»

Приехав, он сразу вызвал к себе Супрунова и нахрапом спросил его про Варискина. Супрунов холодно посмотрел, ничуть не удивился вопросу и коротко ответил:

— Вероятно, завтра...

Всю истекшую неделю Супрунов про Варискина не забывал. Каждый день (иногда даже по два раза в день) он вызывал его к себе: никакого допроса не снимал, почти ни о чем с ним не говорил, а усаживал его за отдельный стол, заказывал ему в буфете чай и какую-нибудь еду и угощал его. Варискин начал привыкать к таким вызовам и настолько уж освоился, что несколько раз назвал Супрунова «товарищ». Тот не только не оборвал его, но даже и не обратил внимания на это привычное словечко. Тогда Варискин осмелел и перешел на партийное «ты»: Супрунов и на «ты» не реагировал. Варискин приободрился и понял, что испытание на «десятитысячника» он выдержал.

22 сентября вечером Супрунов заглянул в буфет и оглянул стойку.

— Котлеты да колбаса! — недовольно упрекнул он буфетчицу. — Поострее нет ли чего?

— Селедки есть.

— А ну их!

— Рыба маринованная...

— Это из банки из консервной, что ли? Хоть бы сами потрудились да замариновали, все бы повкуснее было.

Вдруг он догадался.

— Капуста кислая есть?

— Есть.

— Поджарьте-ка с салом и с колбасой. На манер бигуса! Только луку побольше положите и поперчите покрепче: люблю! Слышите? Покруче, а то я вам ее на голову вывалю.

Через полчаса та же Лида принесла поднос и, выставив вперед грудь, ушла, нагло скользнув глазами по Супрунову. И чуть только она вышла, Супрунов подошел к тарелке и критически попробовал капусту. Вероятно, он одобрил ее. Тогда, не оглядываясь и не торопясь, а уверенно и спокойно делая свое дело, он вынул из бумажника маленькую ампулу, отломил ее кончик, вылил в тарелку то, что было в ампуле, а пустую ампулу и обломанный кончик спрятал обратно в бумажник. Потом сел и вызвал Варискина.

Варискин вошел, слегка напуская на себя важность, поздоровался за руку (он уж начал так здороваться) и сел на свое место.

— Ешь, коли голоден! — кивнул ему Супрунов, не поднимая глаз от бумаг. — Только оно уж простыло, кажись...

— Не то, чтоб очень уж голоден, но... — словно уступая и соглашаясь, ответил Варискин.

Он стал не спеша есть. Супрунов читал бумаги и делал в них отметки толстым карандашом, время от времени взглядывая на Варискина: как тот ест? Только это одно и интересовало его исключительно деловым, хотя и настороженным интересом.

Когда он увидел, что Варискин кончил есть и даже подобрал вилкой последние остатки капусты, Супрунов, как всегда, спросил его:

— Сыт?

— Ничего, спасибо.

— Ну, и ладно.

Он хотел уж надавить кнопку звонка, чтобы вызвать караульного и отправить Варискина назад в камеру, но вдруг задержал руку.

— Так у Супрунова, говоришь, двух пальцев на руке нету? — словно бы поддразнивая, спросил он.

— Нету! Как раз двух! — с тупой солидностью подтвердил Варискин.

— Ты его часто видал?

— Не так, чтоб очень уж часто, но в личность его хорошо знаю.

— А он вот говорит, будто никогда тебя и в глаза не видал, и какой ты есть, он не знает.

— Брешет, сука!

— Я тебя на очную ставку с ним поставлю. Припрешь? Не дашь отвертеться? Смотри, не подгадь! Человек он крепкий!

— Это так, крепкий! — согласился Варискин и, выпятив вперед нижнюю губу, с самодовольством добавил: — Да и я-то ведь не тараканья моща!

Супрунов поднял голову и с проникновенным интересом посмотрел на него. И ему, как раньше Любкину, показалась до жути странной та уверенность, с какой Варискин говорил про несуществующего Супрунова. «Да ведь его сейчас хоть к Жорке посылай, а он все будет верить, что знает Супрунова, и что Супрунов в их организации был, хоть никакой организации и нет совсем!»

Он все смотрел на Варискина, а тот не понимал, почему Супрунов смотрит на него, и стал нелепо улыбаться. И Супрунов понял, что он ненавидит Варискина, а за что он его ненавидит, он себя не спрашивал. Тяжелая злоба стала охватывать сердце.

— Ну, иди уж к себе! — грубо приказал он. — Мне тут надо делами заняться, а не разговоры разговаривать!

— Пойду, коли так... — не сказал, а согласился, Варискин и очень независимо встал со стула.

Весь остаток вечера и часть ночи (часов до 4) Супрунов проработал очень напряженно, с удовольствием наблюдая, что «голова варит хорошо», т. е. четко и послушно. В ночной работе он никогда не позволял себе ни крепкого чая, ни кофе, не говоря уж про вино. Даже старался курить меньше: курил по расписанию — одну папиросу в час.

С утра в управлении его немного нетерпеливо ждали, и чуть только он уселся в кресло, как комендант ему доложил о ночном происшествии: арестованный Варискин («одиночка № 11») ночью скоропостижно умер во сне.

— Разрыв сердца, надо полагать! — пожал плечами комендант. — Никто и не видел, как он умер. Лег спать, как обыкновенно, а утром не встает. Его окликнули, а он уж холодный.

Супрунов сделал вид, что с минуту обдумывает.

— Ну, и шут с ним! — решил он. — Не заводить же дела! Составь акт, а доктор пусть осмотрит и даст какое-нибудь заключение. Какое хочет!

— Слушаю!

— Рапорт подашь мне, а начальнику доложу я сам.

— Слушаю!

Узнав от Супрунова о скоропостижной смерти Варискина, Любкин не стал расспрашивать, а поинтересовался только официальной стороной дела. Она была безукоризненна. Тогда Любкин подавил в себе что-то и подмигнул Супрунову.

— Стало быть, все концы в воду?

— В воду! — спокойно и уверенно подтвердил Супрунов.

Любкин отворил несгораемый шкаф, порылся в нем и отыскал протокол с тем показанием, которое Варискин дал Яхонтову.

— Ну, что ж, Павлуша! — хитро улыбнулся он. — Спалим его, что ли?

— Не в музей же революции отдавать! Но только... — искренно расхохотался Супрунов. — Но только ведь и спалить его негде: центральное отопление! Не в котельную же нам идти с этим!

— О! — вцепился в него глазами Любкин и почему-то разозлился: не на центральное отопление, конечно, не на Супрунова и не на протокол, а на что-то внутреннее, неясное. Но он сдержал себя и коротко буркнул. — Так идем на балкон, коли так!

Они вышли на балкон. Супрунов чиркнул спичкой и поджег лист бумаги. Оба пристально проследили, как сгорел он. Потом Супрунов сгреб ногой остатки пепла и спихнул их через железную решетку балкона. Более крупные из них полетели черными бабочками, вяло и не спеша колыхаясь на ветру.

Конец 1-ой части.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Конец ночи, т.е. первые часы после ареста Григория Михайловича, был для Евлалии Григорьевны бессвязным и оборванным: металось что-то случайное в мыслях, тоскливо схватывала за сердце боль, и беспорядочно говорили ей непонятные слова те люди, которые наполняли комнату и все не уходили. Кажется, ей что-то советовали и чему-то ее учили: «Надо сходить вот туда-то» или — «хорошо бы попросить вот такого-то». Софья Дмитриевна заботливо принесла стакан чая и, неотвязно ходя за нею следом, все требовала, чтобы Евлалия Григорьевна этот чай выпила. При этом вид ее был настороженный, как будто она боялась за Евлалию Григорьевну и каждую секунду была готова поддержать ее, если та пошатнется. Евлалия Григорьевна послушно хваталась за стакан, делала один или два глотка, но тотчас же ставила стакан на стол и с непонимающими, пустыми глазами начинала судорожно и бестолково хвататься за разбросанные вещи, пытаясь прибрать их. Но прибрать никак не могла, а все только перекладывала их с места на место.

— Да уж оставьте, оставьте! — вырывала вещи из ее беспомощных рук Софья Дмитриевна. — Потом уж вместе приберем.

Когда настало утро, соседи разошлись, потому что почувствовалось: то, что было ночью, было «вчера», а сейчас наступило уже «сегодня», в котором вчерашнее не реальность, а воспоминание. В комнате с Евлалией Григорьевной осталась только Софья Дми-

триевна. Обе начали наводить порядок (Евлалия Григорьевна кое-как справилась с собой), причем изо всех сил старались казаться спокойными, как будто своим спокойным видом они хотели убедить друг друга (и самих себя!) в том, что «все это только какое-то недоразумение», что оно, «конечно, скоро выяснится», и что «ничего страшного нет».

Евлалия Григорьевна не могла отделаться от странного ощущения. Сначала ей казалось, будто это ощущение похоже на то, с каким возвращаются домой после похорон близкого человека: чувство боли, утраты и одиночества. Но потом ей стало казаться, что сейчас ее ощущение совсем иное, хотя чувство утраты и одиночества было. Но, кроме этого чувства, было и другое. Это другое не выражалось словами и было даже неопределимо: это было почти физическое ощущение той силы, которая пришла, отняла и задавила. Возможно, что эта сила ощущалась и раньше, ощущалась всегда, но сейчас, в эту ночь, она подошла совсем близко, дохнула прямо в душу и заглянула прямо в глаза, а потом пошла дальше, ничуть не мучась и не тревожась тем, что она уничтожила жизнь своим дыханием и взглядом.

— Вы, голубенькая, поскорей об этом Семенову скажите! — тихо, но очень уверенно сказала Софья Дмитриевна. — Может быть, он и сможет помочь вам... Кто ж его знает!

— А? — немного очнулась Евлалия Григорьевна и провела ладонью по виску и по щеке. — Семенову? Ах, да...Конечно! — Но... где же он? Я ведь не знаю!

— Я так думаю, что он сможет помочь. У него там, в НКВД этом самом, и знакомые и друзья, верно, есть... Пусть похлопочет, нельзя же вашего Григория Михайловича без помощи оставлять!

— Конечно, нельзя! Никак нельзя! Но... Но я не знаю, где можно найти Семенова. Я ведь и адреса его не знаю и... ничего не знаю!

— Узнать надо. Человек не иголка. А человек он, так надо полагать, видный: его должны знать.

— У кого же узнать? Может быть, Чубук знает? — соображала и догадывалась Евлалия Григорьевна. Но, вспомнив о Чубуке, она вся сжалась: ей было нестерпимо идти к Чубуку и просить его, чтобы тот помог ей разыскать Семенова.

— Да хотя бы и Чубук этот самый. Вот приведите себя в порядок, да и ступайте к нему с Богом! Девятый час уже.

Евлалия Григорьевна понимала, что только через Чубука она может найти Семенова, но идти к Чубуку она не хотела изо всех сил. Пересиливая себя, она оделась, жалобно посмотрела на Софью Дмитриевну и пошла. Секретарша встретила ее совсем уж не так надменно, как встречала раньше: даже что-то угодливое было и в ее голосе и в том, как она сейчас же пошла к Чубуку доложить о приходе Евлалии Григорьевны.

Чубук принял ее тотчас же: он не хотел быть невнимательным к любовнице Семенова, о которой тот так настойчиво и откровенно заботится. И принял ее на этот раз совсем уж не так игриво и шутливо, как принимал раньше, а с предупредительностью: неуклюжей и неумелой, но все же явной и даже подчеркнутой.

— Ну-с, как дела? — приветливо спросил он, опираясь ладонями в коленки и слегка покачиваясь взад и вперед.

— Очень не... нехорошо! — волнуясь, ответила Евлалия Григорьевна. — У меня сегодня... То-есть, ночью... Моего папу арестовали! — с большим усилием, но решительно, сказала она и подняла глаза.

«Это ужасно, не правда ли? — спросила она взглядом. — Но ведь я же не виновата, я же ведь ни в чем не виновата!»

— Папу? — крякнул Чубук. — Отца вашего, стало быть?

— Да... Отца...

— Гм! — Чубук сразу нахмурился. — Отца... Да ведь и муж ваш, кажись, тоже арестован?

— Да... Муж тоже...

Чубук еще больше нахмурился, и лицо его стало неприветливым и отдаленным. Он словно бы замкнулся или отгородился.

— Та-ак! — протянул он. — Ну, а я что ж? — холодно спросил он и посмотрел куда-то в сторону.

— Вы... Я хотела просить вас... Как мне дать знать об этом Павлу Петровичу? Может быть, он...

— Какому такому Павлу Петровичу?

— Семенову! — немного удивилась Евлалия Григорьевна: неужели Чубук не знает имени-отчества Семенова?

— А, Семенову! — живо поворотился тот, и отчужденность слегка сбежала с его лица, как будто имя Семенова позволило ему ближе заинтересоваться несчастьем Евлалии Григорьевны. Он даже пожевал губами, что-то соображая. — Да, оно, конечно, следовало бы... Но надо вам знать, гражданочка, что штука это не такая простая, потому что Семенова вашего не всегда можно найти. Вот оно как! Я вот даже и не знаю, в городе он сейчас или уехал. А вы его адреса разве не знаете? Или, скажем, телефон? — немного недоверчиво и подозрительно покосился он.

— Нет, он не говорил мне...

Чубук поджал губы. «Хитро ведет себя парень, осторожненько!» — с одобрением подумал он.

— Так и надо! — решил он поддержать «парня». — Вы этому не удивляйтесь и ничуть на это не обижайтесь, потому что ему иначе нельзя! Но это ничего, мы с вами вот как сделаем: я ему сегодня звякну по телефону, если он в городе, и скажу ему, что вы хотите его видеть. Так? А вы... того! Мне вот вы сказали про отца-то, а больше здесь никому не говорите пока что... — даже немного понизил он голос.

— А Волошинцу? — догадалась спросить Евлалия Григорьевна.

— Волошинцу? — сдвинул брови Чубук. — Ему, конечно, знать надо, потому что он ваш прямой начальник, а кроме того, он... Ему обязательно знать надо! Но только ему я сам скажу, а то ведь вы не сумеете: вы ведь вон какая! — усмехнулся и подмигнул он.

Когда Евлалия Григорьевна вернулась домой, в комнате все уж было чисто и прибрано. Софья Дмитриевна не только все убрала, но даже переменила обстановку: ширму, которая загораживала уголок Евлалии Григорьевны, переставила и загородила ею постель Григория Михайловича. Евлалия Григорьевна, увидя это, хотела было спросить — «Зачем?» — но сразу поняла, что именно так и надо было сделать.

А Софья Дмитриевна все ходила по комнате и смотрела так, словно искала: что бы еще прибрать? Но при этом видно было, что у нее есть какая-то досадливая мысль, которую надо высказать, но высказывать которую она не хочет. Она все ходила по комнате, посматривала по сторонам, жевала губами и искоса поглядывала на Евлалию Григорьевну. А потом подошла к письменному столу Григория Михайловича, слегка приоткрыла средний ящик и сказала сурово, отвернувшись в сторону:

— Тут, Евлалия Григорьевна... Эта самая шкатулочка... Так ее надо подальше куда-нибудь спрятать, чтобы кто-нибудь другой, не дай Бог, не открыл бы...

То, что она сказала «Евлалия Григорьевна», а не «голубенькая», Евлалия Григорьевна заметила сразу и по одному этому поняла, что сказано так неспроста, и что Софья Дмитриевна этим что-то выражает: строгое и осуждающее.

— Что такое? — очень простодушно спросила она.

— Не знаете? Не видали? Ну, так потом посмотрите, без меня, когда я выйду. А при мне я вам не позволю смотреть на... это!

И чуть только она вышла, Евлалия Григорьевна подбежала к столу, достала шкатулочку и раскрыла ее.

Это была та шкатулка, которую взломали при обыске. Ее крышка сейчас же открылась, и Евлалия Григорьевна увидела сверху обыкновенную открытку. Она глянула и сперва ничего не поняла. И только тогда поняла, когда разглядела как следует. И тотчас же вся залилась краской. Это была порнографическая фотография, грубая и гадкая до предела, с полуграмотным четырехстишием внизу. Бесстыдное было в фотографии, бесстыдное было и в стихах.

Отвращение, сильное до боли, охватило Евлалию Григорьевну. Она выронила открытку из рук и глянула внутрь шкатулки: там лежала другая. Не совсем ясно понимая, что и зачем она делает, Евлалия Григорьевна высыпала все открытки на стол и стала перекидывать их, стараясь не разглядывать, но, в то же время, и увидеть. Именно так: не разглядывать, даже не смотреть, но все же увидеть. А зачем ей надо было увидеть, она себя не спрашивала.

Среди открыток были рисунки, были и фотографии: все бесстыдно откровенные наглым бесстыдством, которое хвастается тем, что оно бесстыдно. Не было ни красоты, ни остроумия, было только издевающееся похабство, которое пыталось прельстить грязью и разнузданностью поз, оголения и движений.

Евлалия Григорьевна хорошо понимала, что это — «папина коллекция», но обманывала себя и, заливаясь горячей краской стыда, возмущенно шептала: «Откуда это? Откуда это у нас?» И с острой болью, от которой она чуть не вскрикнула, она вспомнила покойную маму. И чуть только вспомнила, как на нее сразу же нахлынуло бушующее, страстное, неудержимое негодование: как смел «этот человек» ласкать ее мать!

Она стояла и дрожала мелкой дрожью от охватившего ее негодования, а вместе с тем, она чувствовала,

как омерзительная тошнота гадливости подкатывает к ее горлу. Спутанными обрывками представлений она, не создавая себе никакой картины, чуть ли не воочию видела, с какими ласками ее отец шел к ее матери. «Вот так? Вот так? Да разве же может быть так? Разве же может быть такое?» И она вдруг вскрикнула: ведь он — ее отец! ведь она зачата — от этого!

Торопясь и срываясь, не обдумывая своих движений, она бросилась к печке, открыла ее и бросила в огонь все открытки. Потом, перекосив от отвращения лицо, захлопнула дверцу печи, выпрямилась и отошла. Остановилась около балконной двери и стала смотреть на улицу, не видя ни улицы, ни домов, ни прохожих.

Потом прибежал Шурик, потом надо было сообразить, что купить к обеду, и надо было готовить обед. Евлалия Григорьевна разговаривала с Шуриком, готовила обед, но ей все время казалось, что она испачкана. Она ни разу не сказала себе слова «противно», но именно противное все время мучило ее.

После обеда Шурик опять побежал на двор, и Евлалия Григорьевна стала мыть посуду. И вдруг она поняла, что той боли, которая вспыхнула в ней, когда Григория Михайловича уводили, в ней уже нет, совсем нет, потому что эту боль сменило другое: «противно». И когда она увидела, что боли нет, она с недоумением спросила себя: «А жалко мне его?» Спросила, но не ответила, потому что отвечать было нечего. Но даже и то, что нечего было отвечать, не испугало ее: как будто бы вот так и следует.

Заходила Софья Дмитриевна и расспрашивала, видела ли она Чубука, и что сказал Чубук. Евлалия Григорьевна отвечала ей, но как-то очень безразлично, почти рассеянно, так что Софья Дмитриевна посмотрела на нее удивленными глазами, но сделикатничала и переспрашивать не стала. А когда Софья Дмитриевна ушла, Евлалия Григорьевна прилегла на кровать и закрыла глаза. Старалась не думать ни о

чем, но уже знала: ей отца не жалко, потому что он — «такой».

Прошло часа полтора. Евлалия Григорьевна все лежала на кровати, почти не шевелясь. Начало слегка темнеть, и она подумала, что Шурику пора уж вернуться со двора: «Ведь уже сумерки! Что ж это он?» Она было зашевелилась, чтобы встать и пойти за ним, но случайно посмотрела на ту ширму, которой Софья Дмитриевна загородила кровать Григория Михайловича. Еще днем, когда она увидела эту ширму, у нее сжалось сердце: Софья Дмитриевна посчитала нужным закрыть ширмой постель арестованного, как бывает нужно закрыть покрывалом лицо покойника. И сейчас тоже: «ширма» и «покрывало» слились в представлении Евлалии Григорьевны в одно, и Григорий Михайлович стал казаться ей покойником. Это ее ударило. Но еще больнее ударило ее то, что не просто покойником стал казаться ей Григорий Михайлович, а больше: он стал казаться жертвой, замученной той силой, которую Евлалия Григорьевна не умела назвать по имени. Ей воспаленно показалось, будто из Григория Михайловича высосан весь его мозг, выпита вся его кровь, и будто в нем искромсано сердце и изнасилована душа. Что-то похожее на муху и паука промелькнуло перед нею.

И Евлалии Григорьевне стало ясно: никто не имеет права быть против того, на кого навалилась злая сила. Эта сила враждебна всем и угрожает всем, а потому она и объединяет всех: чистых и грязных, праведников и преступников. Горечь залила ей сердце: «Как я могла! Как я смела!» Она нервно вскочила с кровати и метнулась, не зная за чем. «Надо спасать! Надо спасти!» — колотилось в ее мозгу, и ей несдержанно хотелось скорее куда-то побежать и что-то сделать.

ГЛАВА II

Камера № 15, в которую отвели Григория Михайловича, была небольшая: 10 шагов длины и 8 ширины. В ней не было ни коек, ни стола, ни табуретов. Только одна двухэтажная полочка, перегороженная на ячейки, висела на стене. Окно было почти в земле, и лишь верхняя его половина была над землей. Но через эту половину ничего нельзя было видеть: в трех шагах от наружной стены стоял глухой забор, обитый котельным железом, с перепутанной и уже поржавевшей колючей проволокой наверху. Но тоска в камере была так сильна, и мысль о воле была так страстна, что постоянно кто-нибудь из заключенных подходил к окну, почти ложился на пол и, изо всех сил нагибаясь, старался снизу увидеть, через верхний пролет окна, хоть кусочек неба: то ясного и радостного, то облачного и унылого.

Несильная лампочка день и ночь горела под потолком. Воздух был неимоверно спертый, удушливый и прокисший. В углу стояла параша, которой заключенные (по взаимному уговору) старались днем не пользоваться.

Заключенные сидели на полу, поджимая к себе или под себя свои нехитрые пожитки. Но сидеть было трудно, а лежать было невозможно, потому что в камере было так тесно, что нельзя было даже понять: как это в ней может поместиться так много народа? Всего заключенных в камере было 37 человек. Григорий Михайлович пришел 38-ым.

Когда он вошел, он сначала ничего не понял: что такое перед ним? От самого порога, по всей небольшой площади пола, перепутанной и переплетенной, кучей лежали люди. Лежали «валетами», лежали друг на друге головой или ногами, плотно прижимаясь один к другому и изо всех сил стараясь поместиться на своем маленьком кусочке пола. Густой воздух, полный зловонными испарениями и отравленный дыха-

нием, встал перед Григорием Михайловичем почти видимой стеной, и Григорий Михайлович боялся сделать хоть один вздох. Этот воздух был не только ядовит, но он был и страшен: казалось, будто он полон той невыразимой тоской, которую день и ночь, во сне и наяву, каждый час и каждую минуту, с каждым ударом измученного сердца выдыхают из себя люди-тени.

Дверь за Григорием Михайловичем захлопнулась, засов загремел, и Григорий Михайлович остался стоять у двери, потому что дальше ступить было некуда: везде была груда человеческих тел в грязном белье, которые переплелись между собою немыслимым клубком.

Был седьмой час в начале. Кое-кто уже проснулся и курил. Остальные еще спали и судорожно всхлипывали во сне.

— Что ж... Здравствуйте! — тихо и спокойно сказал Григорию Михайловичу один из проснувшихся.

Григорий Михайлович повернул голову на тихий голос, но в груде тел не увидел того, кто с ним поздоровался. Он все же поклонился и очень вежливо ответил слегка дрожащим голосом:

— Здравствуйте...

— Сегодня ночью взяли? Или вас откуда-нибудь перевели сюда?

— Нет, я... Я сегодня... То-есть, меня сегодня взяли! — ответил Григорий Михайлович, хотя еще вчера он сказал бы не «взяли», а «арестовали».

Проснувшийся сел и оглянулся.

— Тесно у нас! — не то констатировал, не то пожаловался он. — Но в других камерах, говорят, хуже. И вы, все-таки, садитесь!

— Да, но... куда же? — с недоумением огляделся Григорий Михайлович: он даже ног не мог расставить, так как не было места.

— А вот там, где вы стоите, там и садитесь.

Постепенно начали просыпаться и шевелиться

все. Кто-то громко и удушливо закашлял, кто-то с ожесточенным остервенением начал скрести себе голову обеими руками, кто-то стал вздыхать и несвязно шептать про себя. Потом все закурили, и Григорий Михайлович догадался, что и он тоже смертельно хочет курить. Он достал коробочку с папиросами и закурил.

Люди одевались, и Григорий Михайлович не понимал: как это они ухитряются одеться в такой тесноте, где нельзя даже ногу вытянуть, а надо все время быть скорченным. Многие уже встали и изо всех сил вытягивались в странной гимнастике, стараясь размять онемевшее за ночь тело. Другие «прибирали свою постель», т. е. собирали в кучу какие-то узелки, встряхивали разостланное пальто и привычно устраивали себе на день нечто вроде сидения.

К Григорию Михайловичу подошел мужчина довольно высокого роста, с топорным, но умным лицом, которое еще было измято недавним сном, с очень внимательным, проникающим, взглядом и с большой странностью на лице: у него не было бровей, а вместо бровей, над глазами лежали две припухлые, красноватые полоски. Как потом узнал Григорий Михайлович, он постоянно сам выщипал по волоску свои брови, нервно и конвульсивно выдергивая их пальцами. Даже и теперь, когда в бровях, кажется, не осталось ни одного волоска, он все еще бегал пальцами по красным бугоркам над глазами, перебирая и подергивая.

— Я — староста камеры! — отрекомендовался он. — Миролюбов, Николай Анастасьевич. Позвольте узнать ваше имя?

— Ах, очень приятно! — спохватился Григорий Михайлович и протянул руку, как если бы здоровался в гостиной. — Володеев, Григорий Михайлович.

— Вы потом разберетесь, — продолжал Миролюбов, — кто здесь сидит, и кого как зовут, а вот только...

Он немного понизил голос и показал глазами в угол.

—— Вот там лежит один... Козаков. Видите? Его не трогайте, он ночью с допроса пришел: почти трое суток допрашивали.

— Да? Трое суток? — не понял, что это значит, но испугался Григорий Михайлович.

— Сильно избит! — пояснил Миролюбов. — И на ногах 10 часов простоял: не позволяли садиться.

— На ногах? — совсем похолодел Григорий Михайлович.

Он и раньше слышал про избиения и пытки на допросах, но относился к рассказам о них, как к чему-то такому далекому от него, что оно от этой отдаленности было нереально и почти воображаемо. Раньше он слушал эти рассказы и, делая вид, будто морщится от боли, говорил «Ах, это ужасно!» — но никакого ужаса на самом деле не чувствовал. Но сейчас человек, весь избитый и простоявший 10 часов на ногах, был уже не «где-то там», а лежал в углу, в пяти шагах от Григория Михайловича. И Григорий Михайлович почувствовал, как сосущая тоска крепко стиснула его сердце. Потом она уж не проходила, а все сосала и сосала.

Камеру вывели на прогулку. Гулять выводили в маленький боковой дворик, в котором не было ничего. Только грубо сколоченные козлы стояли в углу, а около них вся земля была густо засыпана опилками: здесь, вероятно, вчера пилили дрова. Заключенные гуляли парами, делая небольшой круг по двору. Каждый старался дышать жадно, как можно глубже, чтобы надышаться свежим воздухом чистого осеннего утра. Многие вскидывали голову вверх и смотрели в небо. Стайка голубей пролетела наискосок, и все проводили ее глазами.

Миролюбов пошел рядом с Григорием Михайловичем.

— Вы, конечно, понимаете, — тихо начал он, — что вам не следует быть в камере болтливым. Мы все ведем себя очень осторожно и редко прорываемся, но один у нас иногда говорит чересчур несдержанно. Обратите на него внимание. Вот он идет справа в четвертом ряду. Видите? Это инженер Русаков, его обвиняют в том, что он — немецкий шпион. Так вы... Вы будьте к нему снисходительны и не очень удивляйтесь тому, что он говорит. Надо вам знать, что говорит он очень разумно, интересно и оригинально, но вместе с тем, есть в его словах что-то такое, что... Ему на допросах пришлось очень тяжело, и, по-моему, он не выдержал: не то, чтобы сошел с ума, но какой-то винтик из мозга выскочил, это несомненно. Он — странный. И его речи, хотя они и интересны, странны тоже. Это, повторяю вам, не сумасшествие, но это несомненная странность.

— Значит... — прерывающимся голосом спросил Григорий Михайлович, — значит, на допросах бьют?

— Бьют! — коротко ответил Миролюбов. — Искренно советую вам приготовиться ко всему. Нервы у вас крепкие? Надо, чтобы были крепкие. И еще одно: не называйте следователя — «товарищ следователь», они этого не любят. Оно, конечно, следователь и обвиняемый никак не могут быть товарищами, хотя... Хотя мне известен один случай, в достоверности которого я ничуть не сомневаюсь. Его мне рассказывал один очень хороший человек: его водили в подвал, на фиктивный расстрел. И вот он говорил мне, что тот чекист, который привел их, выстроил их по списку, а потом объявил им: «Товарищи смертники, заходи вон в ту дверь на шлепку!» Так что, как видите, при некоторой коммунистической углубленности, палач может видеть в своей жертве «товарища».

Григорий Михайлович слушал, плохо понимая, но все больше и больше холодея: ужасное подступало ближе, и он почти уже видел это ужасное.

— Как много для всего этого надо! — с внезап-

ной тоской воскликнул Миролюбов. — Ах, как много для этого надо! Право, путь от амебы до человека проще и короче, чем путь от человека до... большевика!

— Заходи-и! — скомандовал караульный.

После прогулки принесли кипяток в ведре и раздали по полфунта хлеба. Заключенные копались в своих мешочках, доставали какие-то кусочки и не спеша, умышленно медленно, ели их. А потом потянулся день.

Русаков, о котором Миролюбов говорил Григорию Михайловичу на прогулке, оказался соседом Григория Михайловича. Это был мужчина лет под 50, с таким задумчивым выражением глаз, что казалось, будто он не видит и не слышит того, что делается вне его. И когда он говорил о чем-нибудь, то имел такой вид, будто он в это время настойчиво и упорно думает совсем о другом.

Кончив пить свой кипяток и очень аккуратно сложив все пожитки, он примостился на полу и попытался сесть удобно. Оперся локтями в колени, опустил голову и погрузился в мысли. Молча просидел долго, с четверть часа, а потом, не поднимая головы, вдруг сказал Григорию Михайловичу таким тоном, будто продолжал уже начатый разговор:

— Они говорят, будто я — немецкий шпион. Основание? А я, изволите ли видеть, лет десять тому назад ездил в служебную командировку в Германию. Для меня несомненно, что если бы эта командировка была тогда в Англию или в Польшу, то я теперь был бы английским или польским шпионом. Но...

Он поднял голову, пристально уставился в одну точку, а потом докончил удивительно равнодушным и безразличным тоном:

— Но ведь все может быть, все может быть. И очень может быть, что я и на самом деле — немецкий шпион, но только вот я до сих пор этого не знал, а

они знали и теперь сказали мне об этом. А? Как вы думаете?

— М-да! — неопределенно протянул Григорий Михайлович, не зная, что ему говорить и как себя вести. «Сумасшедший ведь!» — мелькнуло у него в голове.

— Они говорят, — все тем же безразличным тоном продолжал Русаков, — будто я даже не русский, а немец, и будто моя фамилия не Русаков, а Росскопф, а это я нарочно переделал ее в Русакова, чтобы отвести подозрение. Мимикрия шпиона! Я очень много думаю теперь над этим, я очень, я очень много думаю над этим! — повторил он несколько раз, и тоскливая нотка прорвалась через безразличие его тона. — Ведь если я — Росскопф, который на самом деле — Русаков, то это очень странно и страшно, не правда ли? — спросил он с таким видом, будто за его словами спрятана очень значительная мысль. — И вы понимаете, чем оно окончится? Они, в конце концов, расстреляют немецкого шпиона Росскопфа. Пусть! Но ведь русский инженер Русаков... но ведь русский инженер Русаков останется жив? — полуспросил-полуутвердил он. — В этом есть очень, очень большой смысл. Очень большой смысл! Потому что...

Он повернулся к Григорию Михайловичу и немного понизил голос, как будто бы открывал ему тайну.

— Дело ведь в том, что я — совсем не исключение, а общее правило. То, что со мною, то и со всей нашей жизнью, с советской жизнью. Ведь вся она — Росскопф, которого нет и который на самом деле — Русаков. И вот этот Русаков, он есть. Вы заметили? Наша советская жизнь, вся, сплошь, от верху до низу, есть не что иное, как Росскопф, которого нет. И вот именно эта жизнь, которой нет, именно она-то и существует. Вы понимаете меня? Существует только то, чего нет: мирная политика, рост зажиточности трудящихся, преданность партии и правительству, добро-

вольность подписки на заем... Всего этого нет, а поэтому оно существует. Но все то, что есть, оно не существует: не существует страдание народа, не существует его мечта об освобождении, не существует проклятие тиранам. Существует только то, чего нет! Конечно, все те, которые не знают нашей жизни, этого никогда не поймут, потому что для понимания этого нужно одно непременное условие, которое немыслимо нигде, кроме, как в СССР: надо, чтобы каждый Русаков, который есть, понял, что он — Росскопф, которого нет. Я достаточно ясно выражаюсь? — внимательно спросил он.

Григорий Михайлович сочувственно колыхнулся, но ему было неприятно слушать Русакова. Он знал (Миролюбов предупредил его), что Русаков «со странностями», но его слова (так казалось Григорию Михайловичу) заключали очень большой смысл, как будто их говорил вдумчивый и глубокий человек, который постиг то, чего другие еще не постигли. И Григорию Михайловичу было неприятно, что этот большой смысл открывает ему человек «со странностями».

— Я... Я это не совсем ясно понимаю! — сознался он.

— Не понимаете? — страшно изумился Русаков. — Хорошо! В таком случае я вам скажу еще что-то, и вы тогда поймете все сразу и до конца. Дело в том, что недели две тому назад...

Он вдруг схватил Григория Михайловича за руку, повернулся к нему прямо лицом и впился ему в глаза пристальным взглядом:

— Две недели тому назад я... Я сознался в том, что я — действительно Росскопф, а не Русаков! И... И... Это же самое главное, это же самое важное! И вот уже две недели, как я чувствую себя именно Росскопфом! Как жаль, что я плохо говорю по-немецки: мне так хочется начать говорить по-немецки! И я теперь знаю: когда они расстреляют Росскопфа, они расстреляют меня, которого нет, но я, который есть, я,

Русаков, останусь жив. Теперь понимаете? — слегка торжествуя, спросил он.

— Теперь понимаю! — тихо ответил Григорий Михайлович, удивляясь сам себе: после последних слов Русакова он совсем перестал понимать его, но именно от этого ему и показалось, что теперь он понял все совершенно ясно.

Русаков поправился на своем неудобном сидении и, все думая о чем-то, замолчал. Григорий Михайлович оглядел камеру: одни сидели, другие полулежали. Какой-то, еще молодой, человек, с простодушным лицом и с всклокоченными рыжеватыми волосами (его фамилия была — Жук, и был он «потомственным железнодорожником», сцепщиком вагонов), сидел неподалеку, охватив руками поджатые колени и положив на эти колени щеку. Чуть слышно он напевал про себя, заунывно и монотонно:

Жаркий день наста-ал,
Холодо-ок в тени...

Все смотрели вниз, а лица у всех были застывшие, сведенные, полумертвые. Было почти совсем тихо, только не то шорох, не то шопот ползал по грудам людей, сгорбившихся и скорчившихся в уродливых позах. Все ожесточенно курили («до полуды во рту!» — как они сами говорили) и, втягивая в себя махорочный дым, подолгу задерживали его в себе. Неподалеку от Григория Михайловича, под самой стенкой, один что-то рассказывал, вполголоса, тихо и не спеша, а другой вяло и бесцветно не слушал его.

Загремел засов, и дверь распахнулась.

— Козаков! На допрос!

Козаков, только ночью вернувшийся с трехсуточного допроса, весь избитый и с опухшими ногами, кожа на которых лопнула от 10-часового стояния, зашевелился в своем углу. Все подняли голову, и сразу же невидимое волнение пробежало по камере. Неужели можно брать на допрос измученного человека?

Никто не сказал ни слова, не издал ни звука, никто не сжал кулаков и не блеснул глазами, но у всех сердце забилось от негодования и возмущения. И вот это-то общее биение сердца и почувствовалось в камере.

Миролюбов поднялся.

— Доложите карначу! — спокойным, деловым тоном сказал он. — Козаков болен, и ему нужен доктор.

Караульный немного помялся, приготовился было что-то начальнически приказать или грубо окрикнуть, но замялся и промолчал. Он не стал настаивать, а попятился задом и, не поворачиваясь, закрыл перед собою дверь. И — странное дело — он закрыл ее не с размаху, как всегда, а закрыл ее осторожно и засов задвинул тихо. Все, как подняли головы, так и остались сидеть: в позе каждого было напряженное ожидание.

— Я... — прохрипел Козаков, немного приподнимаясь на колени и опираясь в пол руками. — Я...

— Лежите! — почти приказал ему Миролюбов.

Козаков опять лег (почти упал) на место.

— Кто он такой? — с ужасом, стараясь не смотреть в страшный угол, шепнул Григорий Михайлович.

— Директор ватной фабрики... Партиец! — сдержанно пояснил ему сосед слева. — Крепкий, как бугай, силищи был прямо необыкновенной, а... подается!

Около Козакова сочувственно зашевелились: его чем-то укрывали, поправляли ему под головой подобие подушки и бессвязным полушопотом говорили дружественное и ободряющее. Он лежал плашмя, большой и громоздкий, закрыв глаза и стиснув зубы. Тяжелые тени пробежали у него по лицу, и брови вздрагивали.

— В жоркин ящик поставят! — очень тихо пробурчал кто-то. — Он вчера просто так стоял, вольно, без ящика, а теперь его вот в ящик поставят... Я уж знаю!

Засов загремел так громко, и дверь распахнулась так властно, что многие вздрогнули. Через порог быстро, решительно и непререкаемо переступил караульный начальник, зачем-то сжимая в руке револьвер. Было видно, что он хочет показать: он на все готов. За ним стояло несколько караульных, двое из них — с винтовками.

— Козаков! — резко и повелительно крикнул караульный начальник. — На допрос!

Миролюбов (он, как встал тогда, так и не садился на место), изо всех сил стараясь казаться спокойным, повернулся и сказал деловым тоном:

— Козаков, товарищ карнач, совсем болен.

— Не ваше дело! — оборвал его караульный начальник. — Староста? Не ваше дело!

Он сказал это деланным тоном, но совсем не сердито: даже что-то уговаривающее послышалось в его голосе. — Козаков, давай! — спохватился он.

Козаков попробовал было подняться, но чуть только он встал на ноги, как ноги не выдержали и подкосились. Он зашатался и, падая, оперся обеими руками о стенку. Соседи вскочили и поддержали его: молча, с напряженными лицами.

— Не могу! — хрипло, срываясь с голоса, еле выговорил Козаков и, как куль мякины, упал на колени.

— Взять! — приказал караульный начальник.

Двое караульных, сделав неестественно озлобленные лица, очень решительно и словно ничего не видя перед собой, зашагали в угол почти по сидящим людям. Они подхватили Козакова подмышки и, силясь, неуклюже подняли его. Он, видимо, не только не сопротивлялся, но даже помогал им остатком своих мускулов, но его опухшие и омертвевшие ноги никак не держали.

— Товарищ карнач! — тоном просьбы и легкой

укоризны сказал Миролюбов. — Вы же видите... Вы же можете доложить...

— Не ваше дело! — крикнул было караульный начальник, но тут же оборвал. — Я уже докладывал... Только что! — хмуро, вполголоса пояснил он, не смотря на Миролюбова. И тут же рассердился на себя. — Вывести! — преувеличенно громко и грозно приказал он.

Козакова потащили. Караульный начальник пропустил его перед собой и вышел из камеры последним. И на выходе задержался на минутку в дверях.

— Я... Я еще раз доложу! — буркнул он в сторону Миролюбова и вышел, заперев дверь.

И как только за ним затворилась дверь, сразу же все задвигались. Многие (в волнении) даже встали с мест и пытались сделать хоть 2-3 шага вперед или в сторону, но в тесноте камеры нельзя было сделать ни шагу. Они нервно потоптались на месте и опять опустились на пол. А Жук, «потомственный железнодорожник», ото всего сердца выругался крутой, сочной и витиеватой руганью.

— Боже мой! Боже мой! — заволновался Григорий Михайлович. — Это... Это... Что же это такое?

Ему не ответили.

Позже вызвали на допрос еще одного: студента строительного института. Тот возвратился скоро, часа через два. Едва он только вошел, как все повернули к нему головы и посмотрели вопросительно, но не спросили ни о чем. Студент улыбнулся молодой улыбкой, молодцевато подмигнул и пренебрежительно бросил:

— Буза!

И с развязной лихостью прошел на свое место.

— Вот! Вот! Буза! Он же говорит, что буза! — с радостью подхватил Григорий Михайлович. И он начал думать о том, что строгости и избиения грозят только тем, которые «в чем-нибудь виноваты», а тем, которые не виноваты ни в чем, «вот, как этот сту-

дент, или как я», — тем ничто не грозит. «Буза!» Но тут же он вспомнил Козакова, и всякая радость сразу же прошла, а сердце опять стиснулось. Тревога нарастала в нем, и предчувствие страшного охватывало его. Ему хотелось метаться от безмерной тоски.

Так прошло два дня. Его не трогали и на допрос не вызывали. А на третий день караульный громко крикнул ему:

— Володеев! На допрос! Давай!

ГЛАВА III

Все два дня, готовясь к допросу, Григорий Михайлович обдумывал, как ему следует вести себя. «Главное, — это составить план, наметить, так сказать, основной принцип защиты!» — уверял он себя, но никакой план не составлялся и никакой принцип не намечался. Вместо того, в голову лезли пустяки: он то думал о том, как он «очарует этого Фитюлькина» своими манерами и словами, то представлял себе, как он подавит его «несомненным превосходством своего интеллекта». Он составлял никому не нужные закругленные фразы, полные уверенной независимости, и думал о том, как красиво и уверенно будут они звучать. «Эти чекисты, в конце концов, убого примитивны, а поэтому психологически и беспомощны!» — утешал и уверял он себя. Об избиениях он старался не думать, как старался не думать и еще об одной стороне дела, очень тайной и очень неприятной. Он старался не думать, и это «не думать» легко удавалось ему, а необходимость «продумать» не удавалась никак.

Следователь, к которому его привели (его фамилия была Бухтеев), был еще молодой человек, лет 35, с немного вялым и томным лицом, которое было бы даже приятно, если бы его не портило выражение крайнего самомнения и нескрываемой презрительности. Бухтеев считал себя «тонкой штукой» и был уве-

рен, что «сломает каждого». Но ломал подследственных он без пыток и без избиений, утверждая, что «психологическим давлением» можно сломать волю легче и быстрее, чем жоркиным ящиком. Возможно, что он был и прав, но возможно, что ему (как утверждали недоброжелатели) просто везло: ему попадались «дешевенькие».

Он встретил Григория Михайловича со своей наигранной манерой: надменно и холодно. Смотрел свысока, слова цедил скупо, слушал небрежно и презрительно. Он начал с того, что дал Григорию Михайловичу лист с анкетой и предложил его заполнить.

— Садитесь вон за тот стол и пишите. Точно, ясно, исчерпывающе, но коротко. Думайте раньше, чем писать, не торопитесь: времени у нас с вами много. Не лгите и не крутите: каждую ложь увижу сразу, потому что я и без вас все про вас уже знаю. Видите?

И он небрежным движением руки показал Григорию Михайловучу на толстое «дело» в серо-зеленой обложке, которое лежало перед ним. На обложке очень крупно и четко было написано: «Г. М. Володеев», а потом (то там, то сям) стояли непонятные цифры, литеры и дроби. Григорий Михайлович посмотрел на «дело», увидел, какое оно толстое, и упал духом: ему вспомнились многочисленные рассказы о том, что «в НКВД всё про всех знают».

— Малейшую ложь замечу сейчас же! — холодно повторил Бухтеев и положил руку на «дело». Здесь записан каждый ваш шаг, каждая ваша мысль, а поэтому запираться и лгать нет никакого смысла. А кроме того, — многозначительно поднял он голову, — кроме того, вы сами должны понимать, что ваше положение особенное, и что к вам будут применяться не совсем обычные нормы.

Григорий Михайлович не понял этой фразы, хотя и услышал в ней что-то понятное для себя. Но, не поняв до конца, он все же закивал головой.

— Да, да! Я понимаю... Поверьте, что я все это очень хорошо понимаю, гражданин следователь, и...

Помня наставление Миролюбова, он не обмолвился и не сказал «товарищ», и это очень подбодрило его: ему показалось, что Бухтеев оценил его корректность. Но он тут же посмотрел на толстое «дело», где был записан каждый его шаг, и только тут уж понял то, что сказал Бухтеев о его особом положении. Действительно, было нечто такое, о чем он старался не думать и не вспоминать, но что все время тяготило и даже терзало его. Он пал духом, робко поглядывая на «дело», в котором, конечно, было сказано и об его «особом положении». Он и не догадывался, что в этом «деле» только несколько первых листов были заполнены им, а остальные сотни листов были взяты из архива (никому не нужная хозяйственная отчетность за 1927 год) и были подшиты только для того, чтобы «дело» было толстое, чтобы оно своим видом «устрашало». Точно так же «для устрашения» были выведены крупные и непонятные шифры: 13/М, 2А/148, 170764... Все это показалось Григорию Михайловичу угрожающим.

— Садитесь и пишите! — приказал Бухтеев.

Григорий Михайлович сел за отдельный стол в углу и немного покрутился: ему показалось невежливым (даже непочтительным) сидеть спиной к Бухтееву. Он сел кое-как, боком, и стал читать вопросы анкеты. Бегал глазами по строчкам, но вопросы понимал плохо, хотя они были простые и ясные: дата рождения, прохождение службы, родословная, до деда включительно, бывал ли за границей, состоял ли в какой-нибудь политической партии. Эти вопросы требовали только формальных сведений и ничуть не заключали в себе ничего выпытывающего, ничего ловящего, ничего сыщицкого, — ничего, что касалось бы того преступления, в котором обвиняется арестованный. И поэтому могло показаться, что ответить на эти вопросы очень просто и легко: родился тогда-то,

служил там-то, за границей был в 1903 году... Но тем не менее, от пунктов анкеты, от ее граф и клеток шло нечто, что обязательно заставляло насторожиться: каждый пункт и каждая графа неизменно казались западней, которая прихлопнет при каждом неосторожном шаге. И Григория Михайловича охватило чувство, которое охватывало каждого, кому надо было заполнить любую советскую анкету, а особенно анкету в НКВД: желание увильнуть, схитрить, что-то ловко скрыть, что-то сказать двуязычно, на что-то надеть маску. Анкета спокойно спрашивала — « В котором году вы родились?» — но от одного вида этой строки человек начинал волноваться, и у него пропадала способность говорить правду, так как он знал: всякая правда именно и есть тот неосторожный шаг вблизи западни, при котором капкан захлопывается и губит. И человек начинал нервно думать: «Указать на год позже или на год раньше? Что безопаснее?» Ложь, конечно, была бессмысленна и груба, но правда была губительна, потому что она была правдой. Советское бытие приучило каждого обязательно прятать все то, что составляло подлинного его самого и подлинную его жизнь: взгляды, убеждения, мысли, слова, прошлое, ненависть, надежды... Это все было правдой, но это все губило, и человек приучался не ходить прямой дорогой, а искать спасения в лисьих петлях, в обходных тропинках, в маскировке и в лжи.

Прочитав анкету до конца, Григорий Михайлович обмакнул перо и начал заполнять графы, стараясь писать не только четко, но и красиво: почерк у него был превосходный. Он написал свою фамилию, имя и отчество, отметил (немного поколебавшись) дату и место рождения, поправил палочку у буквы «р», закруглил в одном месте хвостик к «В» и задумался над графой: «социальное происхождение». В следующем пункте стояло почти то же самое: «сословная принадлежность», и оба эти пункта были так несомненно опасны, что Григорию Михайловичу сразу

захотелось спрятаться. Его отец был довольно крупным помещиком, потомственным дворянином, уездным предводителем дворянства. Дед по матери был генерал-адъютантом Александра II, а бабушка была урожденная княжна Устоева. Каждое из этих слов было губительно, и Григорий Михайлович тоскливо заметался, беспомощно посмотрел на потолок и наморщил лоб. «Из земледельцев», — осторожненько, даже не делая нажимов пером, ответил он на вопрос первой графы и, подумав, блудливо написал во второй: «Однодворец».

Мучась сомнениями, боясь сказать правду, но, вместе с тем, боясь и открыто солгать, он выискивал «нейтральные», как он их называл, выражения, которые не противоречили бы правде, но, в то же время, прятали бы ее. Он очень тонко, шестым советским чувством чувствовал, что написать, будто его отец был крестьянином или рабочим, никак нельзя: уличат, и некуда будет спрятаться. Но «земледелец» и «однодворец» оставляли кое-что для отступления, потому что они хоть и не были правдой, но не были и полной ложью. Свою дореволюционную должность чиновника особых поручений при губернаторе он назвал очень осторожно — «Канцелярист губернского правления», а через все остальные графы этого пункта четко вывел: «Безработный». Подумал и приписал в скобках, помельче: «По состоянию здоровья».

Каждую графу он заполнял очень осторожно, едва дотрагиваясь кончиком пера до бумаги, каждую секунду готовый отдернуть руку, боясь, что напишет опрометчиво и, значит, гибельно. Его мысли и соображения все время извивались и скользили, он никак не мог быть прямым и откровенным, как будто вопросы анкеты превращали его в ужа. Возможно, что оно так и было на деле. Но если оно на деле так и было, то совсем не потому, что он (как и всякий другой человек) был так способен превращаться в ужа, а только потому, что анкета-шпион, анкета-про-

вокатор обладала противной способностью превращать в ужа каждого человека. Это была не ложь: это было придавленное подчинение той силе, в которой не было правды, и которая поэтому уничтожала собою вокруг себя всякую правду.

Григорий Михайлович думал, что заполнять анкету он будет долго, несколько часов, а то, может быть, даже и несколько дней, но, к своему удивлению, окончил заполнять ее часа за полтора. Прочитал написанное и остался очень доволен. Тот, кто стал бы знакомиться с ним по этой анкете, увидел бы пожилого и болезненного беспартийного человека, совершенно лояльного и безвредного, бывшего «канцеляриста», который никогда офицером не был, в белой армии не служил и трудящихся не эксплоатировал. Но он не видел в анкете того, что предательски выражал собою его почерк: в тех пунктах, на которые он отвечал прямо и открыто (фамилия, дата рождения, состав семьи), почерк был твердый, уверенный, с ровными буквами и даже с гармонией толстых и тонких линий. В тех же пунктах, в которых он хитрил и изворачивался, почерк становился шатающимся и блудливым, нажимы чахли, а буквы теряли стройность. Умный следователь по одному его почерку мог бы безошибочно определить ложь и правду в ответах Григория Михайловича, но Григорий Михайлович об этом не думал и ничего этого не замечал.

— Я уже написал! — очень осторожно повернулся он к Бухтееву и едва удержался, чтобы не сказать — «написал-с».

— Уже? Быстро! — насмешливо посмотрел на него Бухтеев и тотчас же сделал холодные глаза. — Давайте сюда.

Он взял анкету и начал ее просматривать, но после первых же строк почувствовал страшную скуку, скуку до противности. Ему было скучно читать двухсотую или трехсотую анкету, вдумываться в ответы,

искать противоречий и изобличать мелкую, неуклюжую ложь, за которую судорожно прятались измученные люди. Он подавил невольную зевоту, сделал немного важное лицо, небрежно отбросил анкету в сторону и в упор посмотрел на Григория Михайловича.

— Хорошо, я ее потом изучу! — сказал он таким тоном, будто это «изучу» чем-то грозит Григорию Михайловичу. — Идите, а потом я вызову вас.

Он отправил Григория Михайловича назад, в камеру. Григорий Михайлович пошел по довольно щеголеватому коридору с мягкой дорожкой посередине и цветами на подоконниках. Он шел и удивительно обостренно чувствовал за собой шагающего караульного. Тяжесть, которая навалилась на него при заполнении анкеты, не сваливалась с сердца, а давила все сильнее и сильнее. «Так ли я написал? То ли я написал?» — мучительно спрашивал себя Григорий Михайлович и волновался тоскливым волнением.

В камере его встретили настороженно сочувственными взглядами. И при виде этих взглядов, он понял, как ему хорошо в этой камере. Здесь нет холодного и презрительного лица Бухтеева, нет его загадочных угроз, нет опасностей анкеты и нет того страшного, что каждую минуту может свалиться на него «там». Эта камера, не похожая даже на звериное логово, в которой от тесноты невозможно повернуться, и в которой нельзя дышать вонючим воздухом, сейчас показалась ему уютной, жилой и приветливой, почти родной, почти «своей». Ведь здесь есть сочувствующие ему люди, способные на помощь; здесь он может сказать, попросить, пожаловаться, и его здесь выслушают, исполнят просьбу, дадут дружеский совет и, главное, здесь ему посочувствуют. Ослабевшие нервы не выдержали, губы задрожали, и он быстро-быстро заморгал глазами.

— Тяжело было? — очень тепло, мягко и осторожно спросил его Миролюбов.

— Ан... Анкету заполнял! — срывающимся голосом ответил Григорий Михайлович и вдруг не выдержал: совершенно откровенно, бессильно, по-детски расплакался.

— Видите! Видите! — через всю камеру крикнул Миролюбову Русаков, негодуя и, в то же время, словно бы торжествуя. — Анкету заполнял! Что ж тут такого, кажется? А нервы у человека даже и этого не выдержали: вот ведь как все одно к одному прилажено, вот ведь до чего все доведено! Что же будет через десять лет? Через двадцать?

Он говорил громко, почти кричал, но все делали вид, будто не слышат и не понимают его. Вместо того, чтобы прислушиваться, каждый старался или сделать безразличное лицо, или спросить у соседа о чем-нибудь постороннем. И сосед, с преувеличенно заинтересованным видом, начинал отвечать на вопрос, как будто только этот вопрос и был нужен ему.

ГЛАВА IV

Уже укладывались спать, когда Бухтеев опять вызвал Григория Михайловича. Григорий Михайлович не ждал вызова в тот же день (почему?), а поэтому никак и не подготовился. Он шел по коридору и бессмысленно повторял про себя: «Что такое? Что случилось?»

Бухтеев принял его как-то странно. Заставил сесть за столик в углу, а сам неразборчиво буркнул:

— Подождите!

Он начал что-то читать, читал внимательно, делал выписки, перекладывал бумаги и совсем забыл про Григория Михайловича. Время от времени, задумывался, морщил лоб, а потом начинал писать. Григорий Михайлович сидел очень смирно, почти не шевелясь. Ему было приятно отдыхать от вони и тесноты камеры, но сердце теснила тревога и ожидание чего-то страшного. И то, что Бухтеев не допраши-

вает его, а занимается своим делом, казалось ему многозначительным и недобрым. Ему очень захотелось курить, но он не решался ни закурить, ни спросить разрешения, а терпел. Но когда Бухтеев закурил, он не выдержал и (немного сладким голоском) спросил:

— А мне... Вы разрешите мне закурить тоже?

Бухтеев пристально посмотрел на него и холодно ответил:

— Нет!

И не опустил глаз, а стал упорно смотреть на Григория Михайловича. Тот под этим взглядом чувствовал себя и странно и нелепо: главное, он не мог понять, как ему надо вести себя. Он понимал, что отводить свои глаза нельзя, но ему было неловко и почти стыдно молча смотреть на человека, который упорно смотрит на него. Хотелось что-то сказать или сделать. Он напряженно и осторожно улыбнулся.

— Смеетесь? — с угрозой, в которой звучало презрение, спросил Бухтеев. — Посмотрим, как вы будете потом смеяться!

Он рванул трубку с телефона.

— Коммутатор? Дайте 28!

Подождал с минуту, и когда в трубке ответили, сказал:

— Да, уже пора. Зайди.

И опять занялся бумагами. Григорий Михайлович снова начал ждать.

Минут через десять в комнату вошел молодой человек в форме, подошел к Бухтееву, наклонился и что-то шепнул ему. Бухтеев поднял голову, посмотрел на того и серьезно ответил:

— Да, конечно!

Тот, кто пришел, выпрямился и как бы случайно увидел Григория Михайловича. Пристально посмотрел на него изучающим взглядом, а потом спросил Бухтеева:

— Это Ногаев?

— Нет, — ответил Бухтеев, — это Володеев.

— А-а! — очень странным тоном протянул вошедший. — Володеев? Тот самый?

— Да, тот самый! — жестко ухмыльнулся Бухтеев.

«Тот самый» показалось Григорию Михайловичу зловещим. Он дернулся на стуле и хотел было как-нибудь объяснить, что он «просто Володеев», а не «тот самый Володеев», но не мог сказать ни одного слова, а только жалостливо посмотрел. Тогда пришедший опять наклонился к Бухтееву и опять тихо спросил его о чем-то.

— Да, да! — громко ответил ему Бухтеев. — Из той же компании!

Григорий Михайлович еще больше похолодел. «Из какой компании? Я не из компании!» — молча запротестовал он, не в силах сообразить, может ли он протестовать громко. А пришедший оглядел его бесцеремонным взглядом и ухмыльнулся:

— Ну, что ж! Пусть не надеется!

И, пожав Бухтееву плечо, вышел. Бухтеев опять занялся своим делом, забыв про Григория Михайловича. Прошло с полчаса. Потом прошло еще с полчаса.

Григорию Михайловичу, конечно, и в голову не приходило, что и ожидать Бухтеев заставил его нарочно, и своего товарища вызвал нарочно, заранее условившись с ним и об «тот самый», и об «из той же компании», и об «пусть не надеется». Он считал, что всеми этими приемами он обессиливает человека, заставляя его заранее мучиться созданным страхом, и находил эту «психологию» совершенно правильным следовательским методом.

Было уже два часа ночи, когда он собрал все свои бумаги в аккуратную кучку, поднял голову и посмотрел на Григория Михайловича.

— Садитесь сюда! — приказал он, показывая на тот стул, который стоял около его стола.

Григорий Михайлович очень послушно пересел, но тут же почувствовал, как что-то ледяное прикоснулось к его сердцу. «Сейчас начнется!» — почти в ужасе подумал он, не зная, что именно начнется и что может начаться.

Бухтеев вынул из какой-то пачки анкету Григория Михайловича и еще какой-то лист бумаги с напечатанными на машинке строчками. Он небрежно просмотрел анкету и принял не только презрительный, но даже и негодующий вид: как будто его что-то возмущало, но он не хочет давать себе воли.

— Вот что, Володеев! — поджимая губы, сказал он. — Конечно, вы имеете полное право избирать любую систему самозащиты, и я вас ни учить, ни упрашивать не стану, но все же не делайте из меня дурачка! Что за вздор вы написали в вашей анкете? — вдруг неудержимо хлопнул он ладонью по столу. — Шуточки шутите? В игрушечки играть хотите? Уж кому-кому, а вам-то надо понимать, что ни шутить, ни играть здесь нельзя!

Григорий Михайлович остро понял его слова и весь сжался.

— Я... Что, собственно... — залепетал было он.

— А вот то! — с негодованием швырнул на стол его анкету Бухтеев, и Григорий Михайлович увидел, что вся она покрыта крупными вопросительными знаками, то там, то сям поставленными красным карандашом. — Вы думаете вокруг да около ходить? Со мною это не удастся! Ведь мой разговор с вами будет короткий, очень короткий, должны и сами это знать!

Григорий Михайлович понял, почему он должен «это и сам знать», но что ему делать и что отвечать, он не знал.

Он не знал и того, что Бухтеев лишь кое-как просмотрел его анкету, ничуть не вдумываясь в нее,

так как он заранее был уверен в том, что в каждой анкете есть попытки что-то скрыть и от чего-то уклониться. Поэтому он наугад поставил побольше красных вопросительных знаков, зная, что один только вид их производит впечатление на тех, у кого «кишка тонка»: Григория Михайловича он уверенно считал и несильным и нестойким.

— Своей анкетой вы себя уже наполовину погубили! — начал пугать он, попрежнему твердо смотря Григорию Михайловичу прямо в глаза. — Если вы хотите хоть как-нибудь облегчить свое положение, то говорите всю правду: точно, ясно, коротко, без уверток. Все, что мне надо про вас знать, я и без ваших показаний знаю, а если я, все-таки, спрашиваю вас, то это значит, что у меня на то есть свои соображения! Ну? Будете отвечать?

— Я... Помилуйте! — нервно дернулся на стуле Григорий Михайлович. — Мне, поверьте, положительно нечего скрывать и... Уверяю вас, что я изо всех сил хочу полной истины, потому что истина для меня бла-го-приятна! — протянул он одну из тех фраз, несколько которых он заготовил еще утром.

— Посмотрим! — угрожающе буркнул Бухтеев и, взяв лист бумаги с напечатанными в нем строчками, положил его перед собою, а сам занес руку с пером, приготовляясь записывать. — Вопрос первый: За что мы вас арестовали? Сознаетесь?

— Но... Но... — очень искренно изумился, почти огорошенный Григорий Михайлович. — Именно вот это-то я и хотел спросить у вас! — с подкупающей наивностью сказал он.

— К чорту! — изо всех сил хлопнул по столу Бухтеев. — Мы все эти фокусы знаем, нас на них не купите! Спрашиваю еще раз и — предупреждаю! — в последний: за что мы вас арестовали?

— Понятия не имею! — убедительно выговорил Григорий Михайлович. — Сколько я ни ломал себе голову, я... Понят-тия не имею! — с еще большей убеди-

тельностью повторил он. — Вероятно, — немного вкрадчиво добавил он, стараясь чуть ли не дружески улыбнуться, — вероятно, какая-нибудь прискорбная ошибка или... или недоразумение...

— НКВД никогда не ошибается! — холодно и уверенно перебил его Бухтеев. — И недоразумений здесь тоже никогда не бывает. Об этом бросьте говорить! Значит, — переменил он тон, — значит, на первый мой вопрос вы отказываетесь отвечать? Хор-рошо! — метнул он сердитый взгляд.

Угроза совершенно явно зазвучала в его голосе, и он резким взмахом руки что-то записал в листе бумаги.

— Я не отказываюсь! — заволновался и взмолился Григорий Михайлович. — Я ничуть не отказываюсь, я даже рад отвечать вам, но... но... Я вот в камере сидел, думал и решил: буду говорить всю правду! Уверяю вас: я чувствую себя абсолютно невиновным, ни в чем не виновным перед... перед партией и правительством! Наоборот, я...

— Это самое ваше «наоборот» я знаю! — презрительно прервал его Бухтеев. — Гроша ломаного ваше «наоборот» не стоит, вот что вы должны знать! К чорту! Значит, с первым вопросом покончено! — резко перешел он на другое. — Теперь второй вопрос: Кто вас ввел в эту организацию?

— В какую? — с предельной наивностью спросил Григорий Михайлович.

Бухтеев поднял глаза и посмотрел чрезвычайно грозно: он любил играть роль и считал себя очень недурным актером. Ничего не говоря и не отвечая, он занес руку с пером, готовясь записать ответ, но очень настойчиво переспросил еще раз, с уже занесенной рукой:

— Кто ввел вас в эту организацию?

— Но помилуйте! — затрепетал Григорий Михай-

лович. — Я даже не знаю, о чем вы говорите... Какая организация? Где?

— «Отказался отвечать!» — размеренно, зловеще сказал Бухтеев и демонстративно, так, чтобы Григорий Михайлович видел, написал эти два слова против какой-то строки в том листе, который лежал перед ним. — «Отказался!» — с подчеркнутой угрозой повторил он и очень остро посмотрел на Григория Михайловича. — Теперь вопрос третий: Кого вы сами ввели в эту организацию?

— Я не понимаю! Я не понимаю! — мучительно заметался Григорий Михайлович. — Нельзя же так! Я, повторяю, рад отвечать, я ничуть не отказываюсь, но... Объясните же мне! О какой организации вы спрашиваете?

— Не я должен объяснять, а вы! — холодно ответил Бухтеев. — И, наоборот, не вы должны спрашивать, а я. Понятно? — он опять записал в листе: «отказался». — А теперь четвертый вопрос: Адреса явочных квартир? Скажете?

— Но Боже мой! — с воплем вырвалось у Григория Михайловича.

— Бога вы лучше не призывайте! — зло перекривился Бухтеев. — Бога мы сюда не пускаем! Не скажете адресов? Тогда — пятый вопрос: Какие обязанности были вам поручены вашей организацией?

Григорий Михайлович не мог отвечать ни слова. Он смотрел на Бухтеева, изо всех сил мигал глазами, но был совершенно ошеломлен. Перед ним стояла несомненно большая угроза, кровавая угроза, и он воочию видел ее, но, тем не менее, он не мог ни сообразить, ни понять. А Бухтеев, тем же холодным тоном, откровенно презирая Григория Михайловича, продолжал спрашивать мерно и чеканно:

— Шестой вопрос: Какие инструкции вы получали и кому вы их передавали? Не скажете? Отказываетесь? Седьмой: С кем вы держали организационную связь, и кто ее держал с вами? Молчите? Вось-

мой: Сколько денег вы получили за все это время, на что вы их истратили, и кому вы сдавали отчетность? Девятый...

Он ставил вопросы, секунд пять-десять ждал ответа и, не дождавшись, тут же вписывал в лист: «Отказался отвечать». Потом медленно поднимал глаза и пристально всматривался в Григория Михайловича тяжелым взглядом, в котором все больше и больше нарастала угроза. Григорий Михайлович изо всех сил пытался ухватиться хоть за что-нибудь, задержаться хоть на чем-нибудь, но не было ничего, на чем можно было бы задержаться и что можно было бы ухватить. Несколько раз он уже набирал в грудь воздуха, чтобы крикнуть: «Да!» — но всякий раз останавливался, почти смертельно страшась не только того, что будет за этим «да», но и самого «да»: оно было чудовищно своей противоестественностью, которой не мог не страшиться живой человек.

Бухтеев хорошо знал, что ни один обвиняемый органически не может сразу, без предварительной подготовки, без внутреннего перелома, без борьбы и лжи сознаться в несовершенном им преступлении и сразу же начать воздвигать мир ложных представлений. Он спрашивал не для того, чтобы в этот же вечер получить исчерпывающие ответы от Григория Михайловича, а только для того, чтобы начать процесс необходимой ломки его нутра и чтобы подсказать ему путь, по которому он (внутренне и внешне) должен повести себя. А в том, что Григорий Михайлович себя по этому пути поведет, он не сомневался.

— Шестнадцатый вопрос! — все тем же тоном отчеканил он. — Когда ваша дочь вступила в эту организацию?

Все заколыхалось перед Григорием Михайловичем: большие глаза Евлалии Григорьевны вдруг открылись перед ним и стали смотреть на него. За эти три дня, проведенные под арестом, он ни разу не вспом-

нил о дочери, но сейчас его сердце вдруг сжалось от невыразимой тоски по ней. Он слегка вскрикнул, махнул обеими руками, и слезы побежали из глаз со страданием, с горечью и с мукой.

— Бог... Бог накажет вас! — захлебнулся он своими словами.

— Оставьте! — брезгливо поморщился Бухтеев, сидя в полоборота. — Неужели вы не понимаете, что здесь это никому не нужно!..

Он сделал паузу и презрительным движением протянул через стол Григорию Михайловичу лист с протоколом.

— Прочитайте и подпишите!

Сдерживая слезы, но все еще конвульсивно вздрагивая, Григорий Михайлович прочитал лист, понимая и не понимая его. Против каждого вопроса, заранее написанного на пишущей машинке, стояло «отказался отвечать». Григорий Михайлович смотрел на эти «отказался», страшился их, хотел сказать, что он ни от чего не отказывался, а просто не мог отвечать, но ничего не говорил, мигал испуганными глазами и читал все дальше. Дочитал до конца.

— Ну? Правильно? — насмешливо спросил Бухтеев.

— Но ведь я не отказывался!.. — робко, почти с мольбой, сказал Григорий Михайлович. — Я совсем не отказывался отвечать, и я не отказываюсь. Я... Если бы вы мне объяснили или сказали...

— Это все равно! — величественно перебил его Бухтеев. — «Не умер Данила, а болячка его задавила!» — усмехнулся он. — Кого вы хотите провести такой ерундой?

Григорий Михайлович послушно подписал протокол, вздохнул и передал его Бухтееву. Тот посмотрел на подпись, перевел глаза на Григория Михайловича и сказал очень чеканно, очень размеренно и очень холодно:

— Считаю нужным предупредить вас: вы подписали свой смертный приговор.

Григорий Михайлович побледнел, осел на стуле, но тотчас же не выдержал и вскочил.

— Но... Но... Но.. — залепетал он, слыша, как останавливается у него сердце. — Но ведь...

— Такой анкеты, как эта, — брезгливо указал Бухтеев на анкету, — и такого показания, как это, — ткнул он пальцем в протокол, — совершенно достаточно для того, чтобы такого человека, как вы, поставить к стенке. Можете идти. Вы мне больше не нужны, и допрашивать вас я больше не стану: у меня нет времени возиться с вами зря.

Григорий Михайлович вскинулся, захотел что-то сказать, даже прижал обе руки к сердцу, но в голосе было до странности пусто. Он не мог найти ни одного слова, а только смотрел с мучительной болью.

Бухтеев надавил на кнопку звонка, вызывая караульного.

— Но, товарищ следователь... Гражданин следователь! — не помня себя, завопил Григорий Михайлович, бросаясь вперед и размахивая руками. — Ведь я же... Вы... Вы...

— Я вас предупреждал: ни учить, ни упрашивать я вас не стану. Вы должны понимать ваше положение, и если вы...

— Но ведь я...

— Спорить излишне! — актерским жестом остановил его Бухтеев. — Я, конечно, доложу начальнику, но я уверен, что он совершенно согласится со мною!

— Гражданин следователь!..

Вошел караульный.

— Уведите арестованного! — распорядился Бухтеев.

Не только по дороге, но даже и придя в камеру, Григорий Михайлович не мог ни опомниться, ни собрать себя. В камере все уже спали, но когда открылась

дверь, некоторые проснулись и остро посмотрели на Григория Михайловича. Вероятно, в лице его было что-то чрезвычайное, потому что никто ни о чем не спросил его, а тотчас же все притворились спящими. Григорий Михайлович покрутился и кое-как втиснулся в свое место. Он скрючился в исковерканной позе, закрыл глаза и тотчас же почувствовал необычайную слабость, от которой все тело как бы растворилось и стало невесомым. Тоска на сердце то отходила, то превращалась в наваливающийся ком. В голове было ощущение пустоты, а перед глазами то пролетали яркие искры, то колыхались черные пятна. Голова кружилась, легкая тошнота противно щекотала, пальцы на руках холодели, веки тяжело смыкались, и Григорий Михайлович в странном забытье потерял сознание.

Проснулся он (или очнулся) рано, когда все еще спали. Две-три минуты он не мог ничего вспомнить или сообразить, но потом с ослепительной ясностью вспомнил все. «Смертный приговор!» Он вскочил, сел, достал трясущимися пальцами смятую пачечку с табаком и, еле справляясь с непослушными движениями, скрутил неуклюжую папиросу. И вдруг опять вспомнил Евлалию Григорьевну. Страшно теплое и страшно нежное задрожало в нем, и все лицо стало дергаться мелкой, напряженной дрожью. «Лалочка!» — позвал он ее именем, каким никогда в жизни не называл. Очень крупные, очень горячие слезы закапали из глаз, а сердце стало согреваться от ласки и нежности. «Лалочка!».

Скоро начали просыпаться и шевелиться. Едва только Григорий Михайлович увидел, что Миролюбов тоже проснулся, он почти истерически бросился к нему.

— Николай Анастасьевич!

— Что? Что такое?

Григорий Михайлович стал нервно рассказывать: рассказывал невнятно, сбиваясь, упоминая о ненужном

и опуская существенное. Те, которые проснулись и встали, тоже слушали его, обступив со всех сторон, нахмурив брови и поглядывая один на другого. «А? Что делают? Слыхали, что они только делают?» — укоризненно говорили они своим взглядом.

— И он сказал — «смертный приговор»? — переспросил Миролюбов. — Вот именно так и сказал?

— Да, да! Так и сказал! «Доложу, говорит, начальнику, и — к стенке!»

Миролюбов напряженно подумал.

— Глупости! — уверенно и безапелляционно решил он.

— Такого не бывает! Разве же такое бывает? По первому же допросу, и — к стенке? Чушь! — горячо поддержал Миролюбова молодой студент. — На пушку берет!

Все зашевелились, каждому хотелось сказать свое мнение, и все мнения сводились к одному: «Чепуха!»

— Напугать хочет, чтобы сломать вас, вот и все!

— И кто это ему позволит самому смертные приговоры выносить? Подумаешь, фря великая!

В груди у Григория Михайловича начало отлегать. Он слушал то, что ему говорили, поворачивался то к одному, то к другому и, почти улыбаясь, переспрашивал:

— Пугает, да? Только пугает? Блеф? На пушку берет?

— К стенке поставить просто, но не так уж и просто! — как бы со знанием дела, уверенно сказал студент. — Без приговора тройки никто не имеет права расстрелять.

— А вы это вашей тетеньке рассказывайте! — сумрачно возразил ему приземистый и коренастый мужчина, бывший председатель райисполкома, который редко вмешивался в камерные разговоры. — Коли не знаете, так и молчите. Приговор тройки? Конечно,

приговор нужен, но в некоторых случаях они могут и без приговора шлепнуть, если им это нужно: по бланку! У них бланки есть.

— Какие бланки? — азартно повернулся к нему студент, готовый горячо заспорить. — Какие бланки?

— Такие. Специальные. На нас с вами хватит.

Григорий Михайлович покачнулся. «Бланки... Да, да! Наверное, что-нибудь такое есть у них!» — подумал он и тут же вспомнил, что говорил Бухтеев о его «особенном» положении. Все спокойствие сразу исчезло. Он метнул глаза на председателя райисполкома, ожидая, что тот еще что-нибудь скажет, но тот говорить не стал, а хмуро сел на пол. «Он ведь партиец! — замирая, подумал Григорий Михайлович. — Он такое знает, чего здесь никто не знает. Бланки!»

И он, почти шатаясь, добрался до своего места и не опустился на него, а бессильно упал.

ГЛАВА V

Скоро после обеда его опять вызвали:

— Володеев! С вещами!

«С вещами» могло значить многое: и выпуск на волю, и перевод в другую камеру, и перевод в общую тюрьму. Григорий Михайлович ничего этого не знал, но испугался: «Что такое? Что такое?» Миролюбов помог ему собрать узелок и ободрительно пожал ему руку выше локтя.

— Будьте крепче! Не поддавайтесь!

Григория Михайчовича повели по той лестнице, по которой выводили на прогулку, и вывели во дворик. Он посмотрел на небо: оно было совершенно чистое и по-осеннему голубело чуть поблекшей синевой. Довольно явственно доносились звуки города: автомобильный гудок, дребезжащий визг трамвая на завороте, сливающийся, неразличимый шум. Острая боль тоски от этих недосягаемых звуков охватила

Григория Михайловича, и он как-то очень по-больному захотел приостановиться и вслушаться в них, даже рвануться к ним. Но караульный сердито крикнул:

— А ну! Не спотыкайся!

Через дворик вышли калиткой в сад и пошли по дорожкам, усыпанным желтыми листьями. В стороне виднелась полусгнившая, развалившаяся беседка, когда-то нарядная и кокетливая, с вычурной крышей. Через дыры сумрачных окон было видно, что вся она набита кучами мусора. Немного дальше, у края дорожки, стояла покосившаяся деревянная скамья с давно обвалившейся спинкой, а у скамьи валялась на земле брошенная лопата. И Григорий Михайлович истерически почувствовал, что нет большего счастья, чем быть вот в этом саду, смотреть, как тихо и безропотно падают отмершие листья, слушать шорох их медленного падения, а потом... потом уйти из сада, когда захочется уйти. Он, который никогда в жизни не держал в руках лопаты, сейчас страстно захотел схватить ту, которая лежала у скамейки, и начать царапать землю, копать ее, перебрасывать с места на место. Шум города и вид сада взволновали его, призывая его душу к тому невозможному, что неудержимо манило именно своей невозможностью. Безмерная жажда освободиться охватила его: освободиться не только от замка, от стен и от решетки, но и от подавляющей его злой силы. Он с беспомощной мольбой поднял вверх брови, а губы его жалобно задрожали.

Караульный торопил его: «Давай, давай!» Они прошли сад наискосок и подошли к длинному флигелю, который стоял в самой глубине сада, у глухого забора. Рядом был недавно построенный гараж, а по другую сторону флигеля стояла старая оранжерея, примыкавшая к небольшой пристройке с кирпичными стенами. Стекла в оранжерее были давно выбиты, и окна были заколочены грязными досками. «Неужели там живут?» — непроизвольно подумал Григорий Ми-

хайлович и заметил, что караульный как-то странно, чуть ли не с испугом, покосился на эту оранжерею.

Вошли во флигель и завернули в комнату направо. Там сидел молодой человек в форме, но безо всяких знаков отличия. Караульный передал ему пакет, тот вскрыл его и, даже не посмотрев на Григория Михайловича, сразу стал что-то записывать в книге: быстро и привычно. Потом он повел Григория Михайловича через небольшую, совершенно пустую комнату, в которой висел только портрет Сталина, и которая, казалось, никогда не подметалась: так там было пыльно, грязно и полно сора на полу. Прошли узеньким коридорчиком, в который выходило несколько дверей с «глазками», и остановились перед одной из них. На ней очень крупно было написано мелом: «№ 2».

— Заходи!

Григорий Михайлович зашел и, недоумевая тревожным недоумением, остановился.

Перед ним была обыкновенная комната, переделанная в камеру для заключенных. Окно было сплошь замазано мелом и закрыто решоткой, дверь была сделана крепкая, одностворчатая, с засовом снаружи. Комната была довольно просторная, но мебели в ней почти не было: койка у стены, небольшой стол с нарисованной на нем шахматной доской и два простых, некрашенных табурета. На койке лежал человек. Двое сидели на табуретах, а еще двое лежали на полу, подстелив под себя пальто. Хотя был еще день, но замазанное мелом стекло плохо пропускало свет, и под потолком горела сильная двухсотваттовка. Никакого абажура на ней, конечно, не было, но кто-то привязал к ней кусок бумаги, и легкая тень падала на пол.

— Так-с! Еще один! — сказал тот, который лежал на койке.

Григорий Михайлович все еще стоял у двери и молчал.

— Если хотите знакомиться, — знакомьтесь, а если не хотите, — не надо! — продолжал лежащий. Сам он не вставал с койки и только смотрел на Григория Михайловича. — Здесь у нас никакие обычаи не соблюдаются, и ничто мирское здесь не имеет силы. Здесь ведь особый мир, как сами изволите понимать. До того особый, что если вы захотите вслух покрыть матом самого Сталина, то можете не стесняться: кройте-с! Во всем Советском Союзе сие невозможно, а здесь вполне возможно и допустимо-с!

— По... Почему? — спросил Григорий Михайлович, боясь догадаться.

Лежавший на койке рассмеялся, но смеха у него не получилось.

— Такой уж воздух в этой камере: особенный!— пояснил он.

Потом он поднялся со своей койки, подошел к Григорию Михайловичу и посмотрел не без приятности.

— Может быть, вы интересуетесь теми, с кем вас свела роковая судьба? Позвольте отрекомендоваться-с! Сам я, прошу заметить, тот, который еще недавно был главбухом Мостстроя: Михаил Павлович Зворыкин, к вашим услугам! Эти двое, на табуретах-с, тоже приятные люди: профессор университета Василий Васильевич Кораблев, историк-с, и завагитпропом обкома (обкома-с!) партии — Осип Осипович Осипов. Очень оригинально: Осип в кубе, так сказать-с! На полу же лежит Иван Гаврилович Смыкин, по профессии — вор, но, вероятно, он, сверх того, и еще что-нибудь похуже... Хотя о подробностях мы говорить не будем-с! Рядом же с ним лежит с закрытыми глазками таинственный Некто, который не желает называть нам ни имечка, ни фамилии, а поэтому мы называем его «товарищ Энкогнито», с произношением в нос, по французски-с... А вы-с, позвольте спросить?

— Володеев, Григорий Михайлович! — почти эле-

гантно поклонился ему Григорий Михайлович, все еще не зная, куда он попал, и как ему следует держать себя.

— Очень приятно-с!

Зворыкин говорил каким-то полушутовским языком, подпускал «словоерики», раскланивался и разводил руками, а глаза у него все время беспокойно бегали, бессильные скрыть то мучительное, что было в их глубине.

— А здесь хорошо! — неуверенно сказал Григорий Михайлович, оглядывая камеру. — Просторно!..

— Здесь-то? — подхватил Зворыкин. — Здесь очень даже хорошо! Особенно по ночам-с!

— Почему... по ночам?

Зворыкин хотел что-то ответить, но Осипов резко сорвался с табурета, на котором сидел, и почти зло посмотрел на Григория Михайловича.

— Да что вы! — крикнул он. — Маленький, что ли? Не понимаете, где вы находитесь?

Кораблев, все еще сидя на своем табурете, быстро повернулся, словно хотел остановить Осипова, но не успел, и Осипов, с каким-то подчеркнутым, злорадным удовольствием, крикнул прямо в лицо Григорию Михайловичу:

— В камере смертников вы! Вот вы где!

И стены, и потолок, и светлая лампочка, — все потемнело и закружилось перед Григорием Михайловичем. Расширившимися глазами он смотрел перед собой, опираясь о стенку рукой и пытаясь что-то сказать дрожащими губами.

— Ва... Ва... Я...

— Ничего! Ничего! — быстро подскочил к нему Кораблев. — Это ничего! Тут еще многое, знаете ли, рассудить надо, прежде чем... Конечно, если вот так безрассудно брякнуть, как наш Осип Осипович вам сейчас брякнул, так оно, действительно, нестерпимо, но если все разобрать и как следует проанализировать, то совсем еще не так плохо может выйти. И,

знаете ли, вы бы лучше сели, право! Снимите пальто, сложите его и садитесь. Позвольте, я вам помогу!

Это был человек лет за 60, маленький, щупленький, лысый со лба и с очень внимательным взглядом. Седая бородка удивительно шла к его ласковым глазам, а лицо было полно мудрой благожелательности. Серый пиджачок на нем был совершенно измят, даже изжеван, а под пиджачком была заношенная рубаха с расстегнутым воротником. Сам он был проворный, с ловкими движениями мягких и очень красивых рук. Он стащил с Григория Михайловича пальто, умело сложил его сначала вдоль, а потом поперек, так что получилась не то подушка, не то сиденье, положил его на пол и прихлопнул сверху пригласительным прихлопыванием: садитесь, мол. Потом осторожно взял Григория Михайловича за локоть и деликатно, но настойчиво потянул его книзу.

— Садитесь, садитесь! Так вам будет удобнее! — очень убедительно сказал он мягким старческим тенорком.

Григорий Михайлович очень послушно сел, чувствуя, как у него немеют ноги, дрожат пальцы, и как судорога сводит ему скулы. Он даже зевнул: обрывисто, резко, с всхлипыванием. Зворыкин посмотрел на него, хотел что-то сшутить, но раздумал и лег на свою койку.

— Это даже удивительно! — сказал он, вытягиваясь во всю длину. — Неужели вы так-таки и не знали, куда вас привели? Ведь приговор-то вам объявили?

— Приговор? — повторил это слово Григорий Михайлович, смутно понимая, что оно значит. — Я... Мне приговора не объявляли!

— Как же так?

— Вот видите! Вот видите! — почти радостно заторопился Кораблев. — Я же вам говорил, что так нельзя, что надо разобраться во всем! Вам не объявля-

ли приговора? — деловым тоном спросил он, заранее что-то соображая. — Суда не было?

— Мне... Меня только позавчера... Нет, на прошлой неделе арестовали... То-есть, взяли. Какое сегодня число? Меня в ночь на 19-ое арестовали.

— Так ведь это же только три дня тому назад! Какая же такая прошлая неделя? Сегодня ведь только двадцать второе, понимаете? — подчеркивая каждое слово, с настойчивой убедительностью сказал Кораблев, слегка взмахивая руками. — Что ж вы думаете? Неужели за три дня можно и следствие окончить, и обвинение оформить, и приговор вынести? Чушь! Такого быть не может! Ведь это они просто-напросто вас разыгрывают, напугать и подавить хотят... Не поддавайтесь! Чушь! Чушь и ерунда, головой ручаюсь!

— А более ценного ручательства у вас нет? — фыркнул Зворыкин. — Нашли чем ручаться!

— Эк! — досадливо отмахнулся Кораблев. — Вы, вместо того, чтобы... чтобы... Что за юмор висельника такой, не понимаю! Вы лучше поддержали бы человека, разъяснили бы ему... Здесь ведь как? — повернулся он к Григорию Михайловичу и заговорил тоном учителя, терпеливо объясняющего ученику несложную теорему. — Порядок ведь здесь такой...

Он начал очень обстоятельно, толково и старательно разъяснять Григорию Михайловичу «порядок». Григорий Михайлович со страшным напряжением слушал его и чувствовал, как его успокаивает тон Кораблева, его напористая убедительность, настойчивая и укладистая вразумительность.

— Да, да! — повторял он. — Да! Вы думаете, что это ерунда? И в той камере мне то же говорили, но...

— Даже и «но» не может быть! Никакого «но» не может быть! — еще убедительнее подхватил Кораблев. — Ведь это же яснее, чем дважды два: след-

ственный прием, безбожный трюк, психологический жоркин ящик!.. Слыхали о таком аппарате? Нет, уж вы не поддавайтесь! — мягко, почти нежно попросил Кораблев и прикоснулся концами пальцев к локтям Григория Михайловича, как будто обнимая его. — Очень, очень прошу вас: будьте спокойны и уверенны! — как о личном большом одолжении, просил он.

Григорий Михайлович облегченно задвигался на месте, даже заулыбался и стал говорить, что он и сам «вот точно так же» думает, и что он «психологически крепок». Кораблев слушал, поддакивал каждому слову и время от времени оглядывался на остальных, словно приглашая их поддержать его. Но все разбрелись по своим местам. Ведь даже здесь, в камере смертников, каждый создавал «свое место» и именно на этом «своем месте» чувствовал себя не то, чтобы «дома», но все же близко к этому «дома», «у себя». Кораблев, видя, что его слова немного успокоили Григория Михайловича, тоже отошел к своему месту и сел там. Все молчали, углубленные в себя, ищущие в себе сил и помощи. Если же кто-нибудь начинал говорить или спрашивать, то ему отвечали односложно, коротко.

Григорий Михайлович сидел в отупении. Он ни о чем не спрашивал себя и ни во что не вдумывался. Тоска щемила сердце, но была ли то смертная тоска страха или унылая тоска заключенного, он не знал и, кажется, не хотел знать, потому что не мог хотеть. Слова Кораблева успокоили его, но сомнение все же осталось и шевелилось внутри.

Скоро, замазанное мелом окно в камере начало темнеть: приближался вечер. И чем больше темнело оно, тем все чаще и порывистее каждый начал кидать на него короткий взгляд: как будто украдкой, быстро, мельком, нервно. И при этом каждый делал вид, будто сам он посмотрел только случайно и не видит того, что другие тоже тянутся глазами к окну.

Вечер означал приближение ночи. А ночью за осужденными «приходили».

Зворыкин, который до того все лежал на своей койке, встал с нее и, не говоря ни слова, сел, свесив ноги на пол. Локтями он оперся о колени, а голову положил на ладони, широко расставив пальцы. Смыкин начал перестилать свою постель на полу. Перестлал, лег, вздохнул и искоса посмотрел на Григория Михайловича. И Григорий Михайлович увидел, что у него на левом глазу бельмо.

Голова ты моя, удалая, —

очень-очень тихо, почти про себя, затянул Смыкин (петь заключенным запрещалось), —

Долго ль буду тебя я носи-ить!
Ах ты, участь моя роковая,
Долго ль буду с тобою я жить!

Осипов сел на табурет около стола и, облокотясь левой рукой о стол, положил голову на ладонь. Но через минуту выпрямился, встал, постоял несколько секунд и опять сел. Попробовал было закрыть глаза, но сразу же открыл их так быстро, как будто закрытыми глазами он что-то увидел.

«Энкогнито» все лежал: на спине, плашмя, не шевелясь, крепко сжав губы и с совершенно неподвижным лицом.

Одиночка моя ты, злодейка, —

еле слышно тянул Смыкин, —

До чего ты меня довела-а!
Иссушила ты грудь молодую
И в сырую могилу свела-а!

— Скоро, должно быть, чай принесут! — совершенно безразличным тоном сказал Зворыкин то, что он каждый день говорил в это время. И в непрестанном, ежевечернем повторении одной и той же фразы он, незаметно для себя, находил подкрепление себе:

если я говорю сегодня то, что говорил вчера, то, значит, и сегодня все будет совершенно так, как было вчера. А вчера ведь... вчера «ничего не было». Это «ничего не было» в камере смертников имело особое значение и особый смысл, постигнуть который можно только в камере смертников. Это «ничего не было» для каждого из них означало, что он еще остался жив, и что ночь прошла для него счастливо: его «не взяли» и не отвели в то страшное место, где — конец. Оно означало, что если «вчера» не было для него концом, а перешло в «сегодня», то и «сегодня» перейдет для него в «завтра» и, значит, это «завтра» для него будет.

— Не чай, а простывший кипяток! — поправил его Кораблев той поправкой, какой он тоже каждый вечер поправлял его.

— Все равно! — мирно вздохнул Зворыкин. — Кажется, в самом деле несут! — услышал он какое-то движение в коридоре.

«Чай» пили медленно, долго, в полном молчании. У каждого была своя манера распоряжаться тем куском хлеба, который им выдавали по утрам: некоторые ничего не оставляли себе на вечер («Энкогнито» съедал весь кусок сразу, ничего не рассчитывая), некоторые же, наоборот, весь кусок оставляли к вечеру и съедали его «за чаем», придерживаясь некоторой манеры или системы. Но как ни медленно ели и пили они, все же кончили очень скоро, а когда кончили, то все, не сговариваясь, посмотрели на окно: оно было уже совсем темное.

— Вероятно, часов восемь... — дрогнувшим голосом сказал Осипов.

— Да, вероятно! Что-нибудь в этом роде! — отозвался Зворыкин таким беззаботным голосом, как будто его совсем не интересовало время, т. е. не интересовало то, что приближается ночь.

Начали убирать свою посуду: кружки, из которых пили чай. Убирали чрезвычайно медленно, стараясь

как можно больше растянуть время и наполнить его призраком дела, за которым можно спрятать невыносимую, сверхсильную мысль о ночи.

Григорий Михайлович еще не знал, что значит это приближение ночи, а поэтому и не страшился ее приближения. Он почти уверил себя в том, что «это только блеф», и боялся уже не расстрела, а только этого блефа: «Что оно будет? Как оно будет?» Он маялся, готовый и стонать и кричать.

В камере было тихо, гнетуще тихо. Все сидели или лежали, не говоря ни слова, мучительно следя за тем, как уходит каждая четверть часа, и как все больше и больше наползает на них ночь.

— Я вчера, — спокойным и тихим голосом начал Кораблев, — я вчера вспоминал о Федоре Кузьмиче и об императоре Александре I. А сегодня я (который уже раз!) думал: мог или не мог Александр не умереть в Таганроге, а скрыться? Мог ли он симулировать смерть даже с помощью императорской власти и верных друзей?

— Ах, да! — встрепенулся Зворыкин, как будто только и ждал этого разговора. — Это очень интересно! Так что же?..

— Я никак не могу прийти к определенному решению. Для меня несомненно, что «что-то» было, но, вместе с тем, я не могу не видеть многих таких трудностей, которые делали подобное дело невозможным. Во-первых...

Смыкин, который уже лег на свое пальто, быстро приподнялся и сел с искренней охотливостью слушать. Осипов поднял голову, прислушиваясь. Но «Энкогнито» упорно лежал не шевелясь, с неподвижным лицом. Кораблев, не спеша, со свойственной ему привычкой говорить публично, начал перебирать обстоятельства смерти Александра I и анализировать их: мог ли Александр в тех условиях незаметно скрыться? могла ли произойти подмена тела? Очень спокойно и вдумчиво, сам интересуясь тем, что он говорит, Кораблев

указывал на факты, разбирал и сопоставлял их, стараясь восстановить то, что происходило в ноябрьские дни 1825 года в таганрогском домике. Он часто обращался ко всем остальным:

— Вот поставьте-ка себя на его место... Что бы вы сделали?

Вначале его слушали, словно бы заставляли себя слушать, но очень скоро его умелый рассказ, а особенно, манера говорить, потянули за собою и, несомненно, стали отвлекать от всего, что было внутри каждого. Без натяжки, сама собою, создавалась очень мирная, совершенно спокойная обстановка, в которой смертная тревога, не утихая и не забываясь, все же отходила куда-то назад, как будто притушенная, как будто заслоненная.

Живее и непосредственнее всех заинтересовался Смыкин. Он во что бы то ни стало хотел быть уверенным в том, что «царь не умер, а скрылся». Трудно было понять, зачем Смыкину надо было быть уверенным в этом, но быть уверенным он хотел во что бы то ни стало: страстно и даже немного истерически. Казалось, будто превращение царя в старца Федора Кузьмича ему нужно, именно — нужно, т. к. оно дает ему что-то такое, что для него ценно. Всякие сомнения Кораблева он очень решительно отвергал и считал все легко выполнимым: «Что ж тут такого? Очень даже просто!» И с увлечением восклицал, придумав новый невозможный вариант и новую наивную деталь:

— А я вам скажу, как оно было! Вот оно как было!

Но вдруг Осипов метнулся раза два на своем табурете и оборвал слова Смыкина:

— Да на чорта нам эти старые мощи ворошить!..

Он оборвал тоскливо, мучительно, но, в то же время, необычайно злобно. Была ли эта злоба направлена на императора Александра, на Кораблева или на самого себя, понять было нельзя, но она послышалась

сильно, резко, перекрывая и тоску и муку. Он сказал, сильным движением поднялся на ноги и посмотрел вызывающе: «Боитесь? Прячетесь?»

— Не мешайте, не мешайте! — замахал на него руками Зворыкин. — Если вам неинтересно, так другим зато...

Но он не закончил, а оборвал, потому что совершенно ясно и непреложно, по самому себе, понял, что и другим тоже вдруг стало неинтересно слушать, потому что то, от чего Кораблев так умно и умело увел было их, уже набросилось на них и уже вцепилось в них. И интерес к смерти Александра I сразу стал чудовищно немыслимым.

Все отвернулись от Кораблева. Каждый ушел в то черное и страшное, что неумолимо приближалось. Никто уж не всматривался в совершенно потемневшее окно, но, взамен того, каждый с болезненным напряжением начал прислушиваться обострившимся ухом к тому, что было в коридоре за запертой дверью. Но и за дверью покамест было мертвенно тихо. Там еще не было ничего, но в этом «ничего» каждый чувствовал свою смерть: сегодня ночью. Сердце билось неровными толчками, хотелось выть через сжатые зубы, и не было сил ни лежать, ни ходить, ни сидеть. Каждый то цепенел, то начинал метаться, то с тоской и тайной надеждой вглядывался в лица остальных, как будто эти лица могли ему что-нибудь дать.

— И зачем... Зачем все это? — с надчеловеческим страданьем вырвалось у Зворыкина. — Кому и зачем надо, чтобы мы... вот так?..

Его лицо перекосилось от боли, и он, взмахнув обеими руками, вскочил с койки. С полминуты постоял, неосмысленно качаясь на месте, а потом вдруг взмахнул головой и начал ходить взад и вперед по камере: быстро-быстро, все ускоряя шаг, не смотря перед собой и от чего-то убегая. Смыкин минуты две постоял на месте, следя глазами за его бегом, и вдруг то-

же, заложив, как и тот, руки за спину, странно повторяя его движения, начал ходить за ним, в полушаге позади, ему в затылок. Осипов, словно завороженный, стал водить глазами вдоль их движения по узкому, совсем сжатому эллипсису, водил несколько минут, упорно, не отрывась, а потом вдруг подчинился их метанию по камере и, не меняя выражения лица, сам стал, как в трансе, ходить в затылок Смыкину, в полушаге позади него. Тремя зловещими тенями метались они между четырех стен из угла в угол, сами не понимая своих движений, сами не понимая, зачем они ходят и куда они идут.

Григорию Михайловичу стало страшно. Эти трое показались ему почти нечеловеческими образами: что-то бредовое было в их широких, бессмысленных шагах, в их заложенных за спину руках и в том, что каждый повторял движение каждого. Он с откровенным испугом посмотрел на Кораблева, а тот ответил понимающей и подбадривающей улыбкой: не поддавайтесь, мол. Но потом увидел, что Григорий Михайлович не понимает его улыбки, тихо подошел к нему и присел рядом с ним на пол.

— Не мешайте им! — тихо, совсем тихо шепнул он. — Им так легче. Знаете? «Дайте вино отчаявшемуся в жизни и дайте сикеру приговоренному к смерти. Пусть выпьют и на время забудут горе свое». Вот это и есть сикера и вино... Не мешайте им!

Нельзя было понять, много или мало времени прошло, и как поздно сейчас. Но, вероятно, какое-то шестое чувство заговорило в каждом. Те трое, которые несуществующими птицами бились о стены камеры, мечась по ней из угла в угол, начали все чаще и чаще останавливаться и, остановившись, со страхом поворачивали голову к двери, что есть силы вслушиваясь. Они вслушивались именно «что есть силы», так что даже казалось, будто их уши напруживаются и вздрагивают пугающим вздрагиванием. «Энкогнито»,

не открывая рта и не ослабляя стиснутых челюстей, попрежнему лежал неподвижно, но и по его лицу было видно, что он тоже вслушивается. Но за дверью было попрежнему тихо: зловеще тихо.

— Что... Что такое? — сам замирая от страха, шепнул Григорий Михайлович Кораблеву. — Чего они ждут?

Кораблев только посмотрел на него, но ничего не ответил: пусть лучше он не знает, чего ждут все. Пусть хоть сегодня он этого не знает.

Трое ходили быстро, очень быстро. Они метались по камере в немыслимой пляске, завороженной надчеловеческим страхом. Их тени метались за ними по полу, перепрыгивали на стенки, опять падали на пол и бесшумно подгоняли их. Углы камеры закруглялись, потолок опускался, а лампа, казалось, то горела до безумия ярко, то, казалось, почти потухала, и тогда на камеру опускалась серо-кровавая мгла. Жилы в висках бились так сильно, что их биение отдавалось в ушах глухим боем валов, а вся кожа становилась сухой, шершавой и как бы царапающейся о белье. И казалось, что очень-очень тонкая, но очень-очень острая, игла несильным уколом покалывает то тут, то там: в бок, в плечо, в бедро. И молотом било в мозгу невозможное, смертоносное, нечеловеческое слово: «Идут! Идут! Идут!»

И, наконец, они услышали: пришли. Затопали тяжелые шаги, глухо послышались сдержанные голоса, кто-то чем-то стукнул.

Все трое остановились, тяжело дыша, как загнанные лошади. Повернулись к двери и смотрели пустыми глазами. Встрепавшиеся волосы прилипали к вспотевшему лбу. Губы стали серыми. Пальцы дрожали мелкой дрожью.

«Энкогнито» еще сильнее сжал веки и стиснул зубы, еще судорожнее вытянулся во всю длину и замер.

Кораблев слегка выпрямился, положил правую ладонь себе на сердце и посмотрел взглядом внутрь себя.

— Что такое? — поняв, что сейчас совершится что-то немыслимое и невозможное, дернулся Григорий Михайлович.

— Ночной обход! — ответил ему Кораблев, через силу стараясь говорить своим обычным тоном, чтобы не вспугнуть его еще больше. Но левая бровь его вскидывалась и дрожала.

Было слышно, как отворили дверь в соседней камере. Тяжелый голос сказал что-то короткое. Потом послышалось движение. Возможно, что кто-то вышел из соседней камеры, но возможно, что никаких шагов и не было, а был только воспаленный бред. Потом кто-то стал топтаться на месте, и кто-то сказал что-то сердитое.

Остановилось все: дыхание, время, сознание, сердце, жизнь. Все чувства стали одним: слухом. Слух ловил все, но тут же все искажал в невозможную химеру, которую нельзя было понять, но которая от этого становилась невыносимой и ненавистной. И когда тяжелые шаги направились к их двери, то каждый почувствовал, как не только напряглось, но перенапряглось все в его душе, настолько перенапряглось, что невозможно было больше ни терпеть, ни ждать. И тем не менее, каждый терпел и ждал, потому что он был еще жив и всей своей силой хотел, хотел, хотел жить. «Откроется дверь или пройдут мимо?»

Ударил железом засов, и дверь открылась.

Трудно сказать, кто был тот, который стоял в дверях и который сделал шаг в камеру. Никто не мог видеть его таким, каким он мог бы его видеть: очень большой, очень серый и очень каменный. На нем была длинная кавалерийская шинель, жеваная и мятая, а лицо было, как эта шинель. За ним, не переходя порога камеры, суетливо ерзая на месте, стояло трое или четверо, изо всех сил стискивая пальцами винтовки с

примкнутыми штыками. Они старались смотреть сурово и деловито, но в их глазах был страх, жалость и растерянность.

Но у того, в кавалерийской шинели, в глазах не было ничего. Лицо было каменное, серое. Он остановился почти в самых дверях, медленно и тяжело оглядел всех и, ни к кому не обращаясь, спросил мерным, безжизненным, удивительно пустым голосом:

— Вторая?

— Вторая! — спокойно и ровно ответил Кораблев, не спеша вставая с пола и берясь обеими руками за лацканы своего пиджачка.

Вошедший очень медленно (нарочито медленно, подчеркнуто медленно) достал из отворота левого рукава шинели лист бумаги, сложенный вчетверо, так же медленно развернул его и начал (медленно же!) бегать по нему глазами, словно искал в нем что-то. Пробежал раз, потом зачем-то стал бегать второй раз.

— Вторая? — с легкой неожиданной угрозой переспросил он.

— Вторая! — тем же вразумительным голосом спокойно ответил ему Кораблев.

Тогда тот сложил бумагу вчетверо, медленно сунул ее за отворот рукава и сумрачно кивнул головой.

— Можно спать.

И вышел.

ГЛАВА VI

Чуть только закрылась дверь, как все сразу же (без единого слова) легли на свои места: почти подбежали к ним, почти упали на них. Не говорили ничего, не смотрели ни на что, а легли, вытянулись и закрыли глаза. Ночь проходила в глубоком сне, в котором отходило и таяло застывшее в ледяном ужасе сердце, прояснялось сознание и успокаивалась кровь. Некоторые даже видели сны, обычные сны: или нелепые своей бесформенностью, или утешающие своим спокойствием.

День начался. Если бы кто-нибудь посторонний видел, как начался и пошел этот день в камере смертников, он застыл бы от почти мистического недоумения, которое каждую минуту угрожало перейти в ужас: день в камере смертников начался и пошел так, словно ничего не было, ничего нет и ничего не должно быть. День пошел, как всегда, как обычный день заключенных, наполненный маленькими и скучными интересами, которые или были на самом деле, или были искусственно созданы самими заключенными.

Проснувшись, убирали свои постели, превращая их в подобие сидений у стены. Потом ходили в умывалку, потом ждали прогулки, но прогулки не было, потому что шел сильный дождь. Потом получили дневную порцию хлеба, делили его по своим соображениям на части, потом пили остывший кипяток, потом закурили. Говорили очень ровно, спокойно, сдержанно, и говорили только о постороннем, случайном. А покуривши, все почувствовали, что смертельно хотят спать. Опять развернули свои пальто, превратили их в постели и легли.

— Жил-был у бабушки серенький козлик! — вздохнул на какие-то свои мысли Зворыкин, поджал под себя ноги и почти сразу заснул.

Проснулись только перед обедом, около двенадцати. И каждый немного досадовал на себя: зачем он проснулся? Так хорошо было уйти в сон!

Зворыкин, лежа на койке, стал курить, а потом сказал, ни к кому не обращаясь:

— А Никитин всё свои шуточки шутит!

— Кто? — не понял Григорий Михайлович.

— Никитин. Комендант. Тот, что приходил ночью.

Кораблев укоризненно посмотрел на него: об этом не надо говорить днем. Но он все же повернулся к Григорию Михайловичу и объяснил своим мягким теноркой:

— Мы, собственно, не знаем, кто он такой по-настоящему, но почему-то называем его комендантом. Его фамилия Никитин. Иногда, правда, приходит не он, а кто-нибудь другой, но чаще всего приходит именно он. Вероятно, у них дежурства или что-нибудь в этом роде. И он, кажется, очень любит смотреть на нас, когда мы... ждем. Придет, будто бы вызвать хочет, а потом посмотрит, кивнет головой и уйдет. Я... Мне невозможно понять душу такого человека!

— Садист-с! — пояснил Зворыкин.

— Он кокаин нюхает! — авторитетно добавил своим хриплым голосом Смыкин, выворачивая свое бельмо. — Я это всегда по глазам узнаю: наши блатари многие нюхают, так я насмотрелся... Видел! И личность у него вся серая. Бежит, с-сука! — с омерзением плюнул он. — Бежит, да... не убежит!

Дождь не переставал и скучно бил по стеклу. Струек воды не было видно через слой мела, но они легко угадывались и даже чувствовались: как торопливо сбегают по стеклу, извиваясь и сливаясь, как они дрожат в своем поспешном беге и как проворно льются на край рамы. А в саду, наверное, хлещутся лужи, и желтые листья лежат грязной, мокрой кучей.

Все прислушивались к звукам дождя, таким простым, обычным и милым, и всем хотелось мирного, спокойного, уютного. Грустное и далекое невидимо веяло на всех.

— В такую погоду хорошо в преферанс играть! — мечтательно заметил Зворыкин.

— М-да, в преферанс... — в тон ему отозвался Осипов. — И водку в теплой компании в такую погоду хорошо пить!

— Я помню, — тоже мечтательно поднял глаза Кораблев, — помню, как я один раз (я еще тогда студентом был!) был на балу в институте благородных девиц. Институт здесь ведь помещался... Не в этом флигеле, конечно, а там, в большом доме. Ну, конеч-

но, на балу-то я был в мундире (напрокат его у портного брал), шпагу даже прицепил для полной иллюзии и... и в белых перчатках. Чин чином! А институтки, помню, все такие скромные, немного робкие и прехорошенькие! — улыбнулся он. — Давно это было, лет 40 тому назад, если не больше...

— В 19-ом веке? — рассмеялся Зворыкин.

— Вот именно: в 19-ом. Я ведь университет в 98-ом окончил, а на этот бал я еще студентом ходил. И, помню, ужасно много апельсинов я тогда поел... До неприличия много!

— Дешевые были, что ли? — хрипло заинтересовался Смыкин.

— Да я не знаю... Даром. Угощение!

— Да-аром? Чего ж это они даром апельсинами кормили?

— А что в этом флигеле было? — лежа с закрытыми глазами, вяло спросил Зворыкин. — Службы, что ли?

— Здесь-то. Здесь, вероятно, прислуга жила и какой-нибудь младший смотритель или помощник эконома... Тепло, поди, здесь тогда жили, тихо, укладисто... Ну, теперь, конечно, все комнаты переделали и для чекистских нужд приспособили, а вот в этой самой комнате, где мы сейчас, тут, наверное, какая-нибудь старшая горничная жила: пожилая, солидная, строгая. И была у нее, наверное, брошка, а на брошке — портрет покойного мужа... Семи-эмаль!

— Почему — покойного? — повернулся Осипов.

— А это я так... Фантазирую! И, наверное, она по воскресеньям превкусные пироги пекла и кофеем угощала. Понюхайте-ка, Михал Палыч, может быть, от стенок еще пахнет пирогом, а?

— Пахнет! — иронически усмехнулся Зворыкин. — Одор дэ сталинизм!..

— Если эти стены, — грустно открывал свои мысли Кораблев, — еще помнят старую жизнь, то что

они думают, глядя на нас, на Никитина и... и на то, что здесь? «Какие вы глупые люди! — думают они. — Какие вы глупые, глупые люди! Бог дал вам жизнь, а вы превратили ее в муку. Зачем? Неужели вам легче жить, мучась?» А может быть, — переменил он тон, — может быть, в этой комнате жил помощник эконома, который крал институтские дрова и пытался кормить институток гречневой крупой с мышиным пометом... Все может быть! Все может быть!

После обеда пробовали опять заснуть, но сон не приходил. Лежали, курили и перебрасывались словами. Было скучно, но скука была какая-то приятная, домашняя и очень мирная. Дождь тихо постукивал в окно, и эти осенние звуки создавали на душе уютность: грустную и ласковую. Хотелось даже, чтобы всегда было вот так скучно.

— Дела, дела! — вздохнул на свои мысли Кораблев. — Вот такие-то дела!

— М-да... Делы! — спаясничал словечком Зворыкин. — Делы, как сажа белы!

— Вы вчера говорили, Осип Осипыч, — повернулся к Осипову Кораблев, — будто ваша вера заключается в том, что партия знает, что делает. Конечно, на таком граните можно стоять незыблемо, но не кажется ли вам, что никакой партии, коммунистической партии, уже нет?

— А что же есть? — презрительно фыркнул Осипов.

— Я бы сказал, что есть орден, вроде иезуитов или тамплиеров, но и это будет неправильно. Правильнее сказать — есть стая.

— Какая стая? — ощетинился Осипов.

— Стая... Стая волков, стая ворон... Орден, это сообщество по духу, а стая — сообщество по породе. В стае волков могут быть только волки, не правда ли? Неволк в волчью стаю не пойдет, и его в волчью стаю не пустят. Так?

— Не понимаю!.. Это вы какую-то чепуху говорите!

— Человечество делилось и делится на расы и на народы! — продолжал свою мысль Кораблев, совершенно не замечая слов Осипова. — Желтые, белые, черные... Французы, китайцы, зулусы... А потом марксисты приказали делить человечество иначе, то-есть на классы: эксплоататоры и эксплоатируемые, капиталисты и пролетарии. Немец-эксплоататор и китаец-эксплоататор — это одно, а немец-рабочий и китаец-рабочий — другое. Это деление так идиотски примитивно, что многие с восторгом приняли его: общедоступные истины заманчивы даже тогда, когда они нелепы. Но смысл современной трагедии не в том, что есть разные народы и разные классы, а в том, что есть разные породы.

— Что-о?

— Породы! — с мягкой настойчивостью подтвердил и утвердил своим тенорком Кораблев. — Есть одна порода людей, обыкновенного человека. Того человека, который создал Будду и Христа, Гомера и Пушкина, Сократа и Ньютона... Вы скажете, что он, кроме того, создал Аттилу, Торквемадо и Иоанна Грозного? Да, создал.. Но все же это — человек духа. У одного дух в небе, у другого — в пропасти, но дух все же есть даже у Ваньки Каина и у того пьяного, который лежит лицом в блевотине. Но кроме этого человека, на земле существует еще и человек другой породы. Он без духа. Он был всегда, но раньше он терялся во всем человечестве, рассыпанный в нем, потому что был только эпизодом, только случайностью. А в наше время он окончательно определил себя, осознал себя, организовался и стал говорить свое «хочу». Он стал не эпизодом, а явлением. Все думают, будто большевизм — это коммунизм и советская власть. Нет, большевизм — совсем другое: это «хочу» человека другой породы. Вы думаете, что я — против коммунизма и против советской власти?

Ничуть, смею вас уверить. Коммунизм — надуманная глупость, и никакого счастья он людям не даст, но ведь я-то знаю, что и другие системы не давали людям счастья. Советская власть — преотвратительный государственный строй, но разве самодержавие или парламентаризм так уж хороши? Уверяю вас, что я примирился бы и с коммунизмом и с советской властью, если бы они были только коммунизмом и советской властью. Но они (обязательно! обязательно!) приводят нас к большевизму, то-есть к «хочу» человека другой породы. А большевизм мне враждебен раньше всего оттого, что во мне есть какая-то ничтожная капля духа. И дух мой изрыгает из себя большевизм, как чуждое, как не мое, как противоречащее моей породе.

— Это интересно! — зашевелился на своей койке Зворыкин. — Так, стало быть, по-вашему, — коммунизм и большевизм не одно и то же?

— Не только не одно и то же, — очень охотно повернулся к нему Кораблев, — но они даже враждебны, потому что большевизм враждебен всему тому, что не есть он. Об этом долго говорить, но коммунизм является питательной средой для большевизма: в условиях коммунизма (именно в условиях коммунизма!) человек другой породы получил возможность определить себя, осознать себя и, главное, организоваться, стать явлением. Вы понимаете мою мысль? Тиф, конечно, не голод, но именно в условиях голода тиф получает возможность наибольшего развития. Коммунизм — голод, большевизм — тиф. А кончится тем, что большевизм без остатка слопает ваш коммунизм, уважаемый завагитпроп! Вы не сердитесь, но я не могу не видеть того, что никакого коммунизма и никакой советской власти в СССР уже нет, а есть только большевизм, то есть страшное и губящее стопудовое «хочу» человека другой породы!

— А что ему нужно, вашему человеку другой породы, если ему не нужен коммунизм?

— Ему нужно только одно: власть.

— Власть? Для чего власть?

— Власть для власти. Власть — не только цель, но даже и самоцель. Власть (я это понимаю!) может быть благородным признаком, потому что она может быть направлена на поддержание жизни духа, но вы посмотрите, как выражает власть человек другой породы! Это очень любопытно, это очень, о-очень любопытно! — тоненьким голоском протянул он. — Он выражает ее только в угнетении, в запрещении, в уничтожении, в порабощении... в насилии! Вы спрашиваете себя: что такое ежовщина? Это борьба человека другой породы с коммунистической партией. И когда эта борьба окончится, то никакой коммунистической партии не будет: ни коммунистической, ни партии. Будет стадо и будет вожак стада. И каждый волк в этом стаде, в том числе и коммунистическая партия, будет лизать вожаку руки и бросаться на каждого, на кого станет науськивать вожак.

— То-есть, Сталин?

— Имя — не важно! Не персонально Сталин, а человек другой породы в своем организованном центре.

— Чепуха! — рассердился Осипов. — Форменная чепуха на постном масле!

— Может быть! — лениво согласился Кораблев. — Вам, вероятно, кажется, будто ежовщина — это борьба между генеральной линией партии и всякими лево-правыми уклонистами. Но если вам посчастливится отсюда выйти, то лет через десять вы увидите.

— Что?

— Обезличение и подчинение. Все будет задавлено, всему зажмут рот, а партия потеряет саму себя, потому что она перестанет определять саму себя, но станет функцией, послушным слугой, дрессированной собакой... Все мысли выхолостят и всю волю задушат. Никого не будет: ни мыслителя, ни поэта. Будет только человек другой породы, который зажмет всех и

заставит всех быть его рабами. Для чего? Для того, чтобы задавить. Это все очень трудно понять, и я, вероятно, сам не до конца понимаю все это, но интуитивно я чувствую: на человечество наваливается страшная сила: власть человека другой породы, его «хочу»! Это — большевизм.

Осипов ничего не возразил, а Кораблев не стал продолжать. Опять все замолчали. Григорий Михайлович сидел на полу, неловко поджимая ноги, и то убеждал себя в том, что «это только блеф», то начинал маяться в предчувствии ужаса. Он несколько раз порывался завести разговор о том, «блеф это или не блеф», но что-то мешало ему: он боялся, что будет кем-нибудь сказано такое злое, от чего нельзя будет ни уйти, ни спрятаться.

Зворыкин, вероятно, обдумывал то, что сказал Кораблев о человеке другой породы. Он, лежа на своей койке, немного приподнялся, оперся на локоть и сказал:

— А мне это, знаете ли, нравится, Василий Василич! Именно — другая порода. И кроме того, чтобы за глотку давить ради этого самого «давить», в человеке другой породы ничего нету-с! Но... неужели нету! Так-таки совсем и нету? Ничего человеческого нету? Не может же быть!

— Не знаю! — с минуту, а может быть, и больше подумал Кораблев. — Человеческое? А что такое человеческое? Конечно, «царствие Божие» — это человеческое, но ведь и «врата адовы» тоже человеческое! Это очень, очень сложно! — заключил он.

— А совесть? — с места спросил Смыкин.

— Ну, совесть! — пренебрежительно бросил Зворыкин.

Кораблев посмотрел мягко и вдумчиво, а в глазах его пробежал свет. Он слегка поднял голову.

— Да, совесть... — всматриваясь глубоко в это слово, повторил он его. — Это страшная сила — со-

весть! Мы чересчур часто употребляем это слово, мы затаскали его и затерли, как пятак, но... Оно для нас потеряло свой всеобъемлющий смысл, и мы считаем совесть не то просто стыдом, не то только раскаяньем... А ведь совесть — это страшная сила!

— В особенности у бессовестных! — иронически фыркнул Зворыкин.

— У бессовестных? Гм!.. Да, у бессовестных! — слегка задумался Кораблев и вдруг поднял голову. — «В их сердце дремлет совесть! — отчетливо ответил он пушкинским стихом. — Она проснется в черный день!» Понимаете? Не «нет ее», а «дремлет». И проснется! Обязательно проснется! Когда? «В черный день»! Именно — в черный. Он ведь очень силен, черный-то день, он до беспощадности силен!

Тут случилось неожиданное. «Товарищ Энкогнито», который все время неподвижно лежал на полу со стиснутыми челюстями и с закрытыми глазами, вдруг вскочил, словно его пружина подкинула. Вскочил и сел, вытянутый и напряженный. Он сначала посмотрел на Кораблева, как будто прислушиваясь к отзвуку его последних слов, и потом посмотрел на всех остальных. «Что же это?» — с мукой и страхом говорили его глаза. Вероятно, смысл сказанных слов не сразу дошел до него, но когда дошел, то обжег его. Он вскочил на ноги, бросился к Кораблеву, но резко остановился на полдороге, как будто споткнулся обо что-то. Лицо его исказилось, скрюченные пальцы рук начали хватать воздух, а сам он замер в натянутой судороге.

— А ты... — срывающимся голосом начал было он, но захлебнулся в горловой спазме. — А ты... Ты откуда это знаешь? Что ты можешь знать? Откуда?

Это было так неожиданно, что все словно бы замерли: броситься к нему и остановить или ждать, что будет дальше?

Кораблев повернулся к нему и с очень мягкой, но

глубокой и искренней доброжелательностью посмотрел на него секунд пять-шесть.

— Но этого совсем не надо бояться! — ласково и убедительно сказал он. — Это очень хорошо, если так случилось. Это очень-очень хорошо! — певуче повторил он.

Он не пояснил, чего не надо бояться, и что «очень-очень» хорошо. Но всем показалось, что им все ясно до ослепительной ясности. «Энкогнито», кажется, хотел что-то сказать и добавить (может быть, даже возразить), но вдруг спазма, которая сковала его и бросила с места, прошла, и его «отпустило». Перекошенный рот вздрогнул, глаза потухли, а тело обмякло. Он, почти шатаясь, повернулся назад, споткнулся, сделал два неверных и неровных шага и опустился, как бы упал, на свое место. И лег в той же позе, в какой упал: не поправил ни подвернувшейся ноги, ни завернувшейся под бок руки. И тотчас же закрыл глаза.

Смыкин глянул на Кораблева, подмигнул ему своим глазом с бельмом и кивнул головой на «Энкогнито»: посмотри, дескать. Но Кораблева и не надо было приглашать смотреть: он сам впился глазами, выпытывая и вдумываясь.

— Та-ак-с! — тихо протянул он почти про себя. — Понятно!

И вздохнул.

И тотчас же, словно по уговору, все заговорили о чем-то другом. А потом замолчали. И только один Смыкин все что-то беспокоился: то вставал и начинал ходить по камере, то опять садился на свое место, углом поджимая колени. Он всматривался в неподвижное лицо «Энкогнито» и, кажется, старался что-то прочитать на этом лице. Видно было, что его беспокоит какая-то мысль, и что эту мысль он сдерживать не может. И действительно: он вдруг вскочил с места с очень решительным видом,

— А ведь этот самый Энкогнито наш, он ведь палач чекистский! — со странной решительностью сказал Смыкин.

У «Энкогнито» дрогнули брови, но он не открыл глаз.

— Об этом не надо говорить! — попробовал остановить Смыкина Кораблев.

— Почему не надо? — даже рассердился Смыкин и презрительно скосил глаза в сторону «Энкогнито». — Почему это не надо говорить? Надо! Жалеть его, что ли, суку чекистскую? А он — чекист, это я вам без ошибки объявляю, вполне сознательно! Почему он нам своего имени не открывает? Значит, хорошее у него фамилие, если он назвать его боится. Почему он молчит, за какие такие дела он сюда попал? А? Хорошие, стало быть, это дела! Да рази меня проведешь? Я всякого человека на вкус беру и без ошибки определяю. И вот я вам вполне официально говорю: дух от этого Энкогниты идет самый палачевский! Мучается он сейчас, а... чем мучается? Чем? Пускай скажет!

«Энкогнито» все лежал неподвижно. Но видно было, как тени пробегали по его лицу, и как глаза под закрытыми веками непроизвольно вздрагивали. А Смыкин (неизвестно, почему) распалялся все больше и больше, как будто обличение «Энкогнито» было нужно ему или облегчало его в чем-то.

За окном начало темнеть. И все (как вчера) начали часто и нервно взглядывать на темнеющий прямоугольник. Смыкин резко оборвал и отошел на свое место. Потом принесли кипяток, сели «пить чай».

А потом все было так, как было вчера. Сначала Кораблев очень интересно говорил о человеке другой породы, о его власти и о том, что ждет человечество, если оно позволит поработить себя. Он не навязывался своими мыслями и рассуждениями, но опять, как вчера, завладел вниманием. И, как вчера

же, вдруг и сразу все оборвалось: его перестали слушать, а начали нервно и крадучись прислушиваться к тому, что делалось в коридоре. И опять, чем ближе подходило время к полуночи, тем больше нестерпимое стало овладевать всеми. Сначала опять заметался по камере Зворыкин, и почти одновременно с ним зашагал Смыкин. Осипов долго сидел на табурете, не поддавался наваждению, но не выдержал своей неподвижности: то вставал, то опять садился, то делал нервный шаг в сторону... Наконец, сорвался и тоже стал шагать. В черном трансе метались эти трое узким эллипсисом по диагонали камеры, с жуткой бессознательностью повторяя движения друг друга: было похоже на какую-то игру, нечеловеческую и нездешнюю.

Григорий Михайлович долго смотрел на них широко раскрытыми глазами, не сводя взгляда с их метания: вперед и назад, вперед и назад... Как завораживающая пляска шаманов, как дурманящий хоровод хлыстов, движения троих околдовывали его. Сначала он стал бессознательно раскачивать свое тело вслед их ходу, то вправо, то влево, а потом встал, заложил, как и они, руки за спину, сделал первый неверный шаг, покачнулся и, не выдержав колдовства, стал метаться вместе с ними. Быстро, не видя ничего перед собой, страшный маниак изо всех сил убегал от того, от чего нельзя убежать.

И опять (уже за полночь) раздались тяжелые шаги. Они приблизились прямо к их камере, минуя все остальные. Четверо метавшихся сразу остановились, а Кораблев выпрямился, готовый каждую минуту встать с места.

Никитин вошел: большой, серый, каменный.

— Вторая? — как вчера, глухо спросил он.

— Вторая! — ответил Кораблев и встал.

Никитин, умышленно не торопясь, вынул из-под обшлага бумагу и медленно развернул ее. Долго про-

сматривал и, наконец, сказал каким-то особенным голосом:

— Курочкин!

Кораблев уже хотел сказать, что никакого Курочкина во второй камере нет, но вдруг «Энкогнито» заворошился, дернулся в короткой судороге и встал на ноги.

— Я!

Никитин мутно посмотрел на него и, мигнув ему левым глазом, показал головой через плечо: выходи, мол. «Энкогнито» пошатнулся, но овладел собою и оглянулся. На одну-две секунды он остановил свой взгляд на каждом (прощался?) и вдруг подошел к Смыкину:

— Ты... Это ты правду... Дух-то ведь идет. Палачевский? А?

— Не разговаривать! — крикнул Никитин. — Выходи!

«Энкогнито» высоко закинул голову и, побледнев до мертвенности, вышел. Никитин свернул лист бумаги и собрался было положить его за обшлаг. У всех начало отпускать сердце, но вдруг Никитин словно вспомнил что-то, опять развернул этот лист и заглянул в него.

— Володеев! — сказал он и, не ища глазами, прямо посмотрел на Григория Михайловича. — Выходи!

Григорий Михайлович слышал, что Никитин назвал его фамилию, и понимал, что это его собственная фамилия. Но это было все: ничего другого он не мог ни понять, ни сделать. Он стоял, чувствуя, как горят уши, щеки, сердце и мозг, как подгибаются бессильные, ватные ноги, как судорожно дрожит кожа по всему телу, и как остановившийся воздух не может войти в грудь. Ни одного движения он не делал. Кораблев смотрел на него, но он не видел и Кораблева.

— Выходи! — глухо повторил Никитин. — Ну!

Он не сильно потянул пальцами Григория Михайловича за плечо, и Григорий Михайлович, словно только и ждал этого, пошел в дверь, ни слова не говоря, не оглядываясь и не смотря ни на кого. Он смутно слышал, как следом за ним вышел в коридор Никитин, как закрылась дверь в камеру, и как железным стуком стукнул задвинутый засов.

ГЛАВА VII

В узком коридорчике стояли караульные. Один из них очень грубо толкнул Григория Михайловича в спину, но тот, не зная, что надо делать, только покачнулся от толчка.

— А ну! — крикнул караульный. — Дав-вай!

Не отдавая себе отчета, Григорий Михайлович пошел вдоль по коридорчику и через десять шагов вошел в ту пустую комнату, через которую уже проходил, когда его привели сюда. В комнате было полутемно. У стены стоял «Энкогнито», которому один из караульных, нагнувшись и поддерживая в согнутом локте свою винтовку, проволокой связывал сзади руки. И у Григория Михайловича тоже схватили руки, оттянули их назад и стали связывать. Было совершенно невозможно понять: зачем нужно связывать руки, и для чего их надо связывать проволокой? Но и то и другое здесь «повелось» уже давно, и вот уж 15 лет неуклонно выполнялось каждую ночь. В связывании рук, в связывании их сзади и, главное, в их связывании именно проволокой было что-то странное своей несомненностью: романтика и издевательство, показ своей силы и прятанье своей слабости. И то, что проволоку надо было вязать не руками, а плоскозубцами, имело невысказываемую и мрачную значительность, уходящую корнями в застенок Малюты Скуратова.

Со связанными руками Григорий Михайлович прислонился к стене и стоял, задыхаясь, хватая куски воздуха нервными всхлипами. По его лбу катился

пот, и он чувствовал, как этот пот начинает заливать глаза. Спазма твердым клубком сдавила горло, и невыразимо хотелось пить.

Никитин воротился из коридорчика. За ним шли еще трое смертников, а позади шагали караульные, стуча подкованными сапогами. И по этому стуку можно было слышать, что идут они не легко, не обычно, а с трудом переставляют отекшие и отяжелевшие ноги.

— Давай! — приказал Никитин, и все пошли: неровно, сбиваясь и нелепо тыкаясь. Прошли через переднюю и вышли в сад.

В саду было совершенно темно, так что караульные зажгли карманные фонарики и держали их, освещая осужденных. Небо, вероятно, было сплошь затянуто тучами, но дождя уже не было, только дул теплый и очень мокрый ветер. Сильно пахло прелой листвой, и ноги слегка скользили, неуверенно ступая в темноте. Очень смутно, в полушаге от Григория Михайловича, проплыло пятно голого куста, и мокрая ветка царапнула его по щеке и по шее. Потом он ступил в лужу и сразу почувствовал, как холодная вода налилась в ботинок.

Никитин твердо шагал прямо к оранжерее. Дойдя до входа в нее, он пропустил тех караульных, которые шли впереди, пропустил и осужденных, пересчитал их, дотрагиваясь пальцем до плеча каждого, и вошел последним. Внутри оранжереи, довольно широкой и очень длинной, было странно пусто. Слева, на земляном полу, стояли две грузовые машины с зажженными фарами, а справа, у самой стены, стоял простой некрашеный стол. Оранжерея уходила в длину, и ее задняя стенка почти пряталась в темноте, но в этой стене все же была видна дверь, которая вела куда-то: вероятно, в ту пристройку, которая была у оранжереи.

За столом сидел дежурный в чекистской форме.

Он (с деланно скучающим лицом) поднял глаза и пересчитал ими приведенных.

— Все? — спросил он.

— Все! — ответил Никитин.

— Лишних нет? — пошутил дежурной шуткой, которая была здесь принята и повторялась чуть ли не каждую ночь.

Никитин не поддержал шутки. Он вынул из обшлага свой список и подсунул его дежурному, а тот внимательно просмотрел его, еще раз пересчитал глазами осужденных и что-то тихо спросил Никитина. Никитин слегка наклонился к нему, тихо же ответил и показал пальцем на какую-то строчку в листе бумаги, а дежурный подчеркнул эту строчку красным карандашом. Потом Никитин отошел назад, к входной двери, и собрал около себя караульных.

Дежурный встал, оправил на себе пояс, подергав его вправо-влево, и крикнул в сторону грузовиков:

— Миша! Заводи!

Из кабинки машины выскочил маленький паренек, без шапки, с растрепанными курчавыми волосами и без пояса. Он забежал вперед автомобиля, сильно и умело крутнул ручку и подбежал к другой машине. Моторы застучали. Григорий Михайлович не понимал, что все это значит и посмотрел на «Энкогнито». Тот ответил подбадривающей гримасой и, кажется, даже подмигнул, но ничего не ответил.

Дежурный пошел в глубину, отворил дверь, ушел в пристройку и минут десять не возвращался. Наконец, он вышел оттуда, подошел к своему столу, взял список и заглянул. Григорий Михайлович видел все это, следя за каждым движением с внезапно обострившимся любопытством.

— Черемухин! — громко вызвал дежурный.

Один из осужденных, услыхав свою фамилию, хотел было сделать шаг, но не смог, а только качнулся. Дежурный подошел к нему, сильно взял его под ло-

коть и повел вперед, к той двери, которая была в глубине. Черемухин шел заплетающейся походкой, и по его спине было видно, что это идет не живой человек: так шел бы гальванизированный труп. Дежурный отворил дверь, втолкнул в нее Черемухина и тотчас же захлопнул. Григорий Михайлович смотрел, видел и вдруг все понял: «Это, значит, там... Это они там!» — боясь закончить мысль и сказать одно слово, подумал он. И, боясь ждать, стал ждать: выстрела. Моторы обоих автомобилей гулко и громко стучали, режа слух и наполняя своим стуком не только комнату оранжереи, но и сердце, и мозг, и всего Григория Михайловича. Этот стук казался по-необыкновенному, по-невозможному громким, бьющим и сводящим с ума. Он свивался в одно вместе с блеском горящих фар, и этот блеск, казалось, тоже стучал, как бы стараясь перекрыть стук моторов. Сердце билось в беспамятстве, и мысли были, как куча сухих листьев в бурю: сплетались, неслись, вихрились и взметывались. Слух напрягся до нечеловеческого предела, и Григорий Михайлович в хаосе безумных звуков совершенно явственно услышал короткий, сухой, резкий, какой-то особенный звук. «Уже? — именно этим словом подумал он. — Сейчас я... Сейчас вот меня!..»

Дежурный все время оставался у двери. Когда звук выстрела раздался, он заглянул в свой список, но никого не вызвал, а молча пошел к группе ожидавших осужденных, не опуская руки со страшным листом бумаги. Он шел, улыбаясь еле намеченной улыбкой, которая даже не была похожа на улыбку: деланная гримаса. Он ли прятался за эту гримасу, сама ли она перекашивала его рот, пугая его самого? Он шел совершенно твердым, даже спокойным шагом, в котором было что-то деловое, и все смотрел на осужденных, переводя взгляд с одного на другого. И Григорий Михайлович не видел ничего, кроме его глаз. Откуда-то из глубины приближались они к нему, становились все больше и больше, наплывали ледяным оча-

рованием и покрывали собою все. Григорий Михайлович, не отрываясь, смотрел в эти приближающиеся глаза и застывал в такой мучительной спазме, что не имел сил даже откачнуться от них: наоборот, он все наклонялся вперед, все вытягивался вперед, как будто эти наплывающие глаза чем-то притягивали его к себе.

Дежурный подошел совсем близко.

— Веденяпин! — вызвал он только тогда, когда подошел чуть ли не вплотную. И опустил руку со списком.

Он назвал фамилию четко и громко, и Григорий Михайлович услышал ее совершенно явственно, но все же он не мог понять: это его вызвали или не его? Он уже затрепетал, но стоявший слева от него осужденный, высокий и плечистый, с породистым лицом русского барина, поднял вверх полуседую голову и, со спокойной гордостью, негромко сказал:

— Я.

«Не меня... Нет, не меня!» — только тогда (не мозгом, а чем-то иным) понял Григорий Михайлович. А Веденяпин не стал дожидаться, пока дежурный возьмет его за локоть и поведет к двери, а пошел сам: не шатаясь и даже легко. Связанные позади руки мешали ему держать тело в привычной позе, и он принужден был излишне закидывать его назад, но шел уверенно. Дежурный торопливо побежал за ним и хотел было открыть дверь, но не успел: Веденяпин толкнул дверь ногой, сам открыл ее и переступил — туда. Дежурный поспешно (чересчур поспешно) закрыл за ним дверь и снова остановился, дожидаясь. И Григорий Михайлович опять явственно услышал выстрел.

«Почему так скоро? Почему они там так скоро? — зачем-то взволновался он, не понимая, что именно так волнует его. — Не успеет войти, и сразу же выстрел... Почему это так скоро?»

И вдруг он весь перекосился: его как-то больно и даже мучительно ударил странный и отвратительный запах. Этого запаха совсем не было, но Григорий Ми-

хайлович слышал его с такой непонятно обостренной силой, с которой никто и никогда никаких запахов не слышит. Это было что-то донельзя противное, гниющее и кислое, а в то же время, тяжелое и удушливое. «Это кровь!» — неясно мелькнуло в нем, и (чуть только оно мелькнуло) он как бы увидел лужи застоявшейся крови на цементном полу и полусгнившие брызги уже разлагающихся мозгов, приставшие к серым стенам. Это было отвратительно и страшно. Его затошнило. Голова закружилась.

Дежурный глянул в список и опять пошел назад. Конечно, ему не было никакой нужды ходить для вызова взад и вперед, он мог вызвать, стоя у двери, но он, сам не зная, почему, считал нужным соблюдать такой порядок, словно бы это был обязательный ритуал: подойти к группе осужденных, только тогда вызвать следующего, пройти с ним до двери, там подождать, пока не раздастся выстрел, а потом, не спеша, вернуться назад, все время в упор смотря на осужденных. Конечно, этот ритуал никем не был выработан и никем не был утвержден, а сложился «сам собою», с той же простотой и обыденностью, с какой слагается семейный ритуал за домашним обедом или незатейливый ежедневный ритуал чиновника за его письменным столом в канцелярии. И дежурный приходил и уходил безо всякого злого умысла, без злобного надругательства над душами людей, которые ждут смерти. Он даже не думал о том, что каждой лишней секундой ожидания он сводит судорогой их остановившееся сердце и оскорбляет Бога в небесах.

Он шел назад, и опять Григорий Михайлович, не отрываясь, прикованно впивался глазами в его наплывающие глаза. Опять все исчезло в бесформенных обрывках представления.

— Курочкин! — позвал дежурный.

«Энкогнито», слегка дернув всем телом, пошел вперед, но на середине вдруг задержался и повернул-

ся назад. Его лицо перекосилось неимоверной, исступленной, гадливой ненавистью, от которой дежурный, шедший за ним, даже остановился.

— Ну-ну! — грозно крикнул дежурный, поднимая руку.

— Гад-ды! — проревел «Энкогнито». — С-суки!

Он захлебнулся в своей ненависти и впился в глаза дежурного.

— А ты, Колька... Ты...

Никитин сделал было движение вперед, чтобы поддержать дежурного, но «Энкогнито» повернулся и быстро, чуть ли не бегом пошел к двери.

«Теперь меня! Теперь уж, безусловно, меня!» — в беспамятстве лепетал Григорий Михайлович: их оставалось только двое. Он уж не мог больше следить ни за чем, а только лепетал: «Теперь меня! Теперь меня! Меня!»

— Володеев! — крикнул дежурный.

«Нет, не меня! — бессвязно пронеслось в голове Григория Михайловича, и он почувствовал, что сейчас упадет. — Не меня!» Он закачался, стоя на месте, и не видел, как дежурный искривленно усмехнулся, глянул в темноту, где стоял Никитин, и подмигнул. А потом перевел глаза и звонко крикнул:

— Отставить!

Внезапная судорога схватила клеточку мозга Григория Михайловича, и эта клеточка крикнула отчетливо и точно: «Меня!» Григорий Михайлович схватил взглядом неясный туман перед глазами, опять услышал отвратительный запах прокисших мозгов и, не понимая, почему он не идет на вызов дежурного, и почему дежурный не ведет его, попробовал сделать шаг вперед обмякшими ногами.

— Отставить! — еще раз крикнул дежурный и удержал его за плечо.

Григорий Михайлович сразу же тупо остановился и замер. Нижняя губа у него отвалилась и отвисла.

— Миллер! — крикнул дежурный.

Тот осужденный, который стоял почти рядом с Григорием Михайловичем, послушно пошел вперед, и Григорий Михайлович бессмысленным автоматом пошел за ним. Дежурный опять остановил его за плечо и, кажется, сказал ему что-то, но он и не слышал и не понял. Простоял с минуту на месте, поймал короткий, резкий звук выстрела и, потеряв все в себе, пошел опять к той двери, не дожидаясь ни возвращения дежурного, ни его вызова. Он шел, т.е. он переставлял ноги, и было странно, что он не падает. Дежурный сильно взял его под локоть, заглянул в глаза (его глаза стали непонятно большими) и властно отвел его назад.

— Никитин! — крикнул он. — Получай!

Никитин подошел к Григорию Михайловичу и развязал ему руки. Руки тотчас же повисли бессильными тряпками вдоль тела, и Григорий Михайлович не мог ни согнуть, ни поднять их. Он смотрел тупо и все ждал, что вот сейчас и произойдет что-то такое ужасное, чего еще не было: самое ужасное.

— Ну! — крикнул дежурный в сторону автомобилей. — Мишка! Стоп!

Моторы остановились, и сразу стало тихо. И вот эта-то тишина показалась Григорию Михайловичу тем последним ужасом, который должен прийти. Он всплеснул руками, в безумии попятился от смолкнувших машин и пронзительно завизжал неистовым визгом. Никитин грубо дернул его за руку.

— Брось!

И от этого короткого окрика Григорий Михайлович оборвал свой визг и даже стал осматриваться: Никитин, дежурный, караульные... Мишка около машин... заколоченные досками окна...

— Давай! — повернул его за плечи Никитин и подтолкнул к выходной двери.

— И не приходи сюда больше! — захохотал ему вслед дежурный.

Вышли в сад. Караульные повернули и пошли обратно во флигель, а Никитин, крепко держа руку Григория Михайловича выше локтя, повел его по дорожке. Один из караульных пошел с ними, освещая фонариком дорогу.

Не по-осеннему теплый воздух, мокрый от прошедшего дождя, гладил воспаленные щеки Григория Михайловича и высушивал пот на его лбу. Вода в лужах приветливо хлюпала под ногами, и листья мягко скользили по грязи, когда он наступал на них. Опять какая-то ветка царапнула его по щеке, и в этот момент совершенно явственно издалека послышался звонок трамвая. И этот звонок, донесшийся из той жизни, которая есть жизнь, потряс Григория Михайловича. Не останавливаясь ни на секунду (рука Никитина твердо держала его), он несколько раз качнул головой, сделал два-три глубоких вздоха и вдруг с пьянящей, сумасшедшей радостью понял, что все уже кончилось, что он остался жив.

— Меня... — срываясь с голоса, пролепетал он.— Меня не расстреляют?

Вопрос прозвучал жалостливо и робко. Он было глянул Никитину в лицо, но ничего не увидел в темноте.

— Д-давай! — властно и настойчиво крикнул Никитин, еще тверже сдавливая ему локоть и не отвечая на вопрос.

ГЛАВА VIII

Они шли той же дорогой, какой Григория Михайловича вели в камеру смертников, но в темноте Григорий Михайлович не понимал, куда Никитин ведет его. Впрочем, если бы было светло, он и тогда не понял бы. Не понял он, по какой лестнице поднялся он, по какому коридору прошел, хотя нарядная дорожка на полу и цветы на окнах, кажется, что-то говорили ему. Завернули налево. Никитин вошел в комна-

ту, а Григорий Михайлович остался с караульным в коридоре. Минуты через три Никитин отворил дверь и позвал его. Григорий Михайлович вошел и только тогда опомнился: это был кабинет Бухтеева. Бухтеев, иронически улыбаясь, смотрел на него, развалившись в кресле и словно поддразнивал: «Ага! Понял теперь, чем это пахнет!» Никитин что-то тихо сказал Бухтееву и вышел, а Бухтеев кивнул на стул:

— Садитесь!

Григорий Михайлович сделал усилие, чтобы понять, понял и сел, весь еще скованный и все потерявший. Бухтеев не сводил с него глаз и, казалось, чего-то ожидал.

— Вы можете меня сейчас понимать? — спросил он. — Соберите свои силы и обязательно поймите, потому что это первостепенно нужно и важно для вас. Если хотите воспользоваться случайным шансом, чтобы спасти себя, то обязательно поймите меня. Ку́рите? Кури́те!

Он протянул Григорию Михайловичу пачку папирос, и Григорий Михайлович сразу понял, как сильно, как нестерпимо сильно хочет он курить. Он не взял, а схватил папиросу, чуть ли не сломал ее при этом, несдержанно сунул ее в рот и вопросительно глянул. Бухтеев понял его взгляд и пододвинул коробочку со спичками. Григорий Михайлович стал глотать дым, стал хватать его всей грудью, жадно высасывая его из папиросы, и чувствовал, как опьяняющее головокружение туманит его. В две-три минуты выкурил он всю папиросу.

— Воды... — попросил он.

— На окне стоит графин и стакан! — холодно пояснил ему Бухтеев.

Проливая трясущимися руками воду, Григорий Михайлович напился и, не вытирая струек с подбородка, вернулся на свой стул.

— Вы можете меня понимать? — еще раз повторил свой вопрос Бухтеев. — То, что вы вышли оттуда, а не остались там, конечно, не чудо, но... но это почти чудо! — усмехнулся он. — Этого я объяснять вам не стану, но укажу на то, что вы можете, если хотите, воспользоваться тем, что вы вышли оттуда, и сделать так, что больше туда не вернетесь. Понимаете?

Он говорил размеренно, холодно, почти без интонаций, и все время не сводил глаз с Григория Михайловича, стараясь понять: какой тот сейчас? И ему казалось, что он без ошибки понимает Григория Михайловича, потому что случай сам по себе простой, и никакого «психологического узелка» в нем нет.

— Вы или вернетесь туда, или не вернетесь. Вам надо понять именно вот это, раньше всего это. Что вы должны сделать для того, чтобы туда не вернуться? Очень мало: быть совершенно откровенным, говорить полную правду и щадить только себя. Но если вы будете вести себя так, как вели на прошлом допросе, то я опять отправлю вас туда же, и вы оттуда больше не вернетесь. Никак!

Григорий Михайлович ловил каждое его слово, но понимал только одно: он может спасти себя. Он кивал головой на каждое слово Бухтеева («Да, да! Понимаю!») и, кажется, готов был даже улыбаться. Позади него стоял мрак, полный такого ужаса, который не вмещался в его душе, а Бухтеев показывал ему путь из этого мрака. Каждой клеточкой мозга, каждой каплей крови Григорий Михайлович кричал себе — «Да, да! Я сделаю все!»

— Вы сейчас, конечно, не помните тех вопросов, которые я задавал вам, — продолжал Бухтеев, — но это и не важно. Важно, чтобы вы решились отвечать на них. Надеюсь, что теперь эта решимость у вас есть. Сегодня вы вряд ли способны вспоминать и говорить, но завтра вечером я вас вызову, и тогда вы

мне расскажете все. Понимаете? Если же вы опять начнете отказываться отвечать...

— Нет, нет! — судорожно вырвалось у Григория Михайловича. — Я скажу... Я...

— Надеюсь! — холодно усмехнулся Бухтеев. — Даю вам целый день на подготовку: до вечера. Но только...

Он слегка поднял брови, сделал большие глаза, и голос его зазвучал предупреждающей угрозой:

— Но только — там, в камере, ни слова. Где вы были эти два дня, что вы видели, — никому ни звука. Вас, конечно, будут расспрашивать, но вы не должны быть болтливой бабой, чорт вас возьми! — вдруг несдержанно вырвалось у него. — Ни слова! Никому!

Он окинул взглядом Григория Михайловича и презрительно искривился. «И бить таких не надо! — самодовольно подумал он. — Безо всякого битья в мочалку превратить можно!» И он откинулся на спинку кресла.

— Вам сегодня пришлось пережить тяжелые минуты, — продолжал он то, что называл «обработкой», — но в этом виноват не я, а вы сами: зачем вы стали сопротивляться там, где вы обязаны помогать? Помните: вас спасет только полная откровенность и полная готовность быть откровенным. Я вас спрашивал о вашей дочери... Вы и о ней должны будете сказать все!

— Нет! — вдруг с неожиданной силой вырвалось у Григория Михайловича.

— Что-о? — выпрямился в кресле Бухтеев, злобно и угрожающе нахмуриваясь. — Что-о?

Он было захотел тут же «вцепиться» в Григория Михайловича и «положить его на обе лопатки», но почувствовал, что ему сейчас лень и вцепляться и класть на лопатки. «Завтра уж!» — махнул он сам себе рукой.

— Хорошо, хорошо! — брезгливо скривился он.

— Я понимаю, что вам сразу трудно и... и... Я не буду чересчур натягивать струну, оцените это. В вашем распоряжении целых 20 часов: обдумайте все хорошо, крепко и здраво, а завтра мы поговорим.

Он небрежно поигрывал карандашом и смотрел на Григория Михайловича с усмешечкой. Ему совершенно не нужно было, никак не нужно было, чтобы Григорий Михайлович оговорил Евлалию Григорьевну, но ему была нужна полная сдача Григория Михайловича, полное его подчинение. «Это же спорт! — думал Бухтеев. — Уж коли победить противника, то победить всухую, со всеми потрохами, а то и неинтересно даже!» И, почуствовав к себе необыкновенное уважение, он немного свысока протянул Григорию Михайловичу пачку папирос.

— Это вы можете взять с собой! — великодушно предложил он. — Покурите там, в камере.

Григорий Михайлович хотел поклониться и поблагодарить, но только покачнулся на стуле.

Караульный отвел его в ту камеру, откуда его два дня тому назад взяли, — в 15-ую.

ГЛАВА IX

Следующие три дня после ареста Григория Михайловича слились для Евлалии Григорьевны в бесконечное, мучительное и темное. Одна из соседок посоветовала ей обратиться « к самому Любкину».

— Любкин? Кто такой Любкин?

— Неужто не знаете? Царь и Бог! С мелюзгой вам и разговаривать нечего, потому что мелюзга вам ни в чем помочь не сможет. Уж если просить когонибудь, так того просить, кто все сделать может. А выше Любкина и нет никого! Только вряд ли к нему дойти можно: не пустят!

И Евлалия Григорьевна то с безмерным нетерпением ждала Семенова, то порывалась пойти «к самому

Любкину». Горячее, бичующее самообвинение налетело на нее, и она беспощадно обвиняла себя за те часы, когда она, поддавшись чувству омерзения и негодования, готова была забыть (и — «забыла!») отца. «Мне даже жалко его не было, даже жалко не было!» — казнилась она, прижимая ладони к пылающим щекам.

Семенов все не приходил. И Евлалию Григорьевну охватывал страх: она боялась, что она «опоздает».

Семенов пришел только на пятый день, 23 числа, довольно поздно, часов в 9. И придя, стал сразу говорить о деле.

— Знаю. Все знаю! — остановил он первые же бессвязные слова Евлалии Григорьевны. — Мне Чубук сегодня сказал. Отца арестовали? Слава Богу, что вас еще не тронули!

— А меня... за что? — слабо изумилась Евлалия Григорьевна.

— Вас-то? А его за что? — вопросом ответил Семенов.

— Ах да! И его тоже, конечно... Совсем, совсем ни за что! — горячо вскинулась она и даже прижала руки к груди.

— Вы лучше это оставьте! — серьезно посоветовал ей Семенов. — «За что», «ни за что»... Не в этом сейчас суть, а в том — чего вы хотите? Вы чего, собственно, хотите? — прямо спросил он.

Евлалия Григорьевна только посмотрела, потому что она не знала, что ей отвечать. Она очень хорошо знала, чего она хочет, но не знала, как сказать это. «Освободите папу!» Но она понимала, что так нельзя говорить, что надо ответить какими-то иными словами, деловыми, официальными, какими говорят судьи, адвокаты и следователи. Но этих слов она не знала.

— Похлопотать... — неопределенно сказала она.

— Гм! Похлопотать! Где же? Как же?

— Я... Я, собственно, не знаю, но мне советова-

ли... Есть, говорят, какой-то Любкин, начальник... Он, говорят, все может.

— Любкин? — немного дрогнул Семенов. — Ишь ты... Любкин! Ну, этот Любкин все не все, а многое, конечно, сделать может. Так что же?

— Я думаю к нему пойти... Можно? Как по-вашему?

— Вы? К Любкину?

Вероятно, предположение Евлалии Григорьевны чем-то очень поразило Семенова. «Вы? К Любкину?» — переспросил он, и в этих двух словах он выразил очень многое: даже мысль о том, что Евлалия Григорьевна может пойти к Любкину, не укладывалась в нем.

— А... А разве нельзя? — спросила Евлалия Григорьевна, готовая начать страстно уверять, что пойти можно и надо.

— Нет, можно! Отчего ж? Можно! — ответил Семенов, глянул на нее и громко расхохотался. Смех был искренний и даже немного веселый, но он резанул Евлалию Григорьевну: разве можно смеяться, если она готова даже пойти «к самому Любкину»?

— Здорово! — блестя глазами от смеха, подмигнул ей Семенов. — Это здорово: вы и — у Любкина! Воображаю!

— Вы его знате?

— Малость знаю.

— Он очень страшный?

— Страшный? Нет, отчего же... Страшный? Гм!.. Страшных людей, надо думать, на свете нет, а вот сильные и слабые есть. Ну, Любкин — мужик, конечно, вполне серьезный, и особенно шутить с ним не следует. Но суть опять же не в этом, а в том: зачем вам ходить к Любкину? За отца хлопотать? А вы подумали над тем, надо ли за него хлопотать?

— Как... надо ли? — широко раскрыла глаза Евлалия Григорьевна.

— Да вот так: надо ли? «Отца арестовали»... А вы мне скажите: что за отец такой у вас? Вы думаете, что я не знаю? Знаю. Не хочу говорить много, а что он — сволочь, это я скажу.

— Павел Петрович! — и с просьбой, и с возмущением, и с угрозой выпрямилась Евлалия Григорьевна.

— Вот вам и Павел Петрович! Чего вы накинулись? Такого говорить не полагается? невежливо? не принято? Наплевать мне на это, я — большевик, мне можно! Сволочь есть сволочь, и сахаром ее посыпать нечего, а надо глотать ее такой, какая она есть. Сволочь он у вас, и вы знаете, что я правду говорю. Ведь он у вас камнем на шее висит, жить вам не дает, последнее у вас отбирает и псу под хвост бросает! Не знаете? Знаете! Породить он вас породил, а что он дал вам? Вспомните-ка, припомните-ка! Дал ли он вам хоть раз что-нибудь? Отнял ли он хоть раз от себя копейку, чтобы вам дать? А?

Семенов говорил, и сам не понимал, почему чуть ли не каждое слово злит его, и почему злоба против Григория Михайловича незаметно становится злобой против Евлалии Григорьевны? А он (неужели так?) начал уж и ее ненавидеть какой-то странной ненавистью, похожей на жалость: за то, что она слаба, беспомощна и робка, за то, что она не умеет ни видеть, ни понимать, ни бороться, а вот... вот хочет «к самому Любкину идти», чтобы отца спасать. Себя-то может ли спасти? Он (неосознанно для себя) видел, что в Евлалии Григорьевне есть какая-то непонятная ему сила: себя спасти не может, а для отца «к самому Любкину» пойдет. И именно за эту силу он начинал ненавидеть Евлалию Григорьевну, а в то же время, хотел поклониться ей до земли... Вот — сидит сейчас, голову опустила, только плакать может и... молчит. Молчит.

— Ведь он вас продать хотел, знаете ли вы это?

— все больше охватывался злобой Семенов. — Мне продать, мне! Вот так вот, взять вас своими отцовскими руками и ко мне на постель положить: «На-те вам, товарищ Семенов! Пользуйтесь моей дочечкой в свое полное мужское удовольствие, а мне за это беспечальную жизнь устройте!» Знаете? Знаете вы это?

— Он? — с ужасом вырвалось у Евлалии Григорьевны. — Вы...

— Вы-то этого не знали, в этом я ни на одну секундочку не сомневаюсь, в заговоре вы с ним не были. Ну, а я знаю! И вот теперь арестовали его, освободили вас от него. Именно так, именно вот так! Арестовали? А вы должны не «арестовали его» говорить, а — «освободили меня от него» говорить, если по справедливости рассуждать!

И это слово, а главное, то, как сказал его Семенов, неизвестно чем возмутило Евлалию Григорьевну. Она не выдержала, подняла на него глаза, и он увидел, что эти глаза заблестели.

— По справедливости? — не скрывая своего возмущения, начала она. — По справедливости? — повторила она это слово, чувствуя, что задыхается от непривычного негодования. — Да как же вы... Да как же можно говорить о справедливости, если человек погибает? — еще больше заблистала она глазами.

— Да ведь какой человек-то? Гадина паскудная, вот какой он человек!

— Не смейте! — выпрямилась Евлалия Григорьевна, и Семенов увидел ее такою, какою она не была никогда. — Не смейте так! Кто вы такой, что судить можете? А кто я, что смею судить?

— Чего ж не судить? — ни на шаг не отступил Семенов, а еще больше напрягся. — Если гадов не судить, так они всю жизнь изгадят.

— Да ведь как судить? Как судить? — страстно воскликнула Евлалия Григорьевна.

— Ну... «Как»! Судить попросту надо: взять ар-

шин в руки и рассудить: пол-аршина в куске или пятнадцать аршин! И я, если правду вам сказать, очень даже за вас рад, что вашего папашу в чека засадили: ему — поделом, а вам — облегчение. Пусть не смердит!

— Павел Петрович! — вспыхнула Евлалия Григорьевна и встала во весь рост.

— Возмущаетесь? — зло подхватил Семенов. — «Человеческое» вам мешает? А подумали вы о том, чем дело кончится, если ваш папаша будет из вас соки сосать? О мальчишке-то своем подумали? Что с сынишкой будет, знаете? Черномазых-то беспризорников видели? Вот и ваш Шурик такой будет, если вы и дальше позволите из себя соки сосать, а сами о «человеческом» думать! Понимать надо, а не про совесть талдычить! Понимать! Понимать! По-ни-мать!

Он сказал, как гвоздь в стенку вколотил. И остановился, думая, будто он преодолел Евлалию Григорьевну.

Но Евлалия Григорьевна ничем преодолена не была. Все, что говорил Семенов, было настолько противоположно ей, что она не могла воспринять ни одного его слова.

— Нет! — негромко, но очень уверенно и твердо, как никогда — твердо, сказала она. — Я такого не могу понимать. Если моего отца арестовали, так я к самому Любкину пойду, а...

— «К самому Любкину»! — захохотал Семенов. — «К самому Любкину»! И забавно же это у вас выходит, когда вы вот такое говорите. Знал бы это Любкин, так... заинтересовался бы! Он такие штуки-фуки любит. Так пойдете? К самому Любкину пойдете?

— Пойду! — очень-очень просто ответила Евлалия Григорьевна, смотря Семенову прямо в глаза.

Семенов усмехнулся и передернул плечами.

— Ну, ладно! — многозначительно сказал он, садясь на место и, очевидно, готовясь сыграть еще

одним козырем. — Ну, ладно! Будем с вами говорить серьезно, коли вы... такая! Я ведь еще не все сказал. Главное-то у меня еще впереди. Будете слушать? Не боитесь?

— Что такое? — не забеспокоилась и не испугалась, а насторожилась Евлалия Григорьевна.

— Только чур: меня не ругайте. Я для вас старался, а если вышло неладно, так в этом уж никак не я виноват, а папаша ваш. Я ведь днем сегодня в НКВД по вашему делу ходил и там справки наводил. У меня там и знакомцы есть, и... и самого Любкина, если надо будет тронуть, тронем.

— Что ж такое? — собрала силы Евлалия Григорьевна.

Семенов на секунду приостановился, а потом сказал коротко:

— Папаша-то ваш — сексот.

Евлалия Григорьевна не вздрогнула и не вскрикнула, а только вцепилась в Семенова расширенными глазами.

— Знаете, что это за штучка? — не прятался от ее взгляда Семенов. — Сексот, секретный сотрудник, то-есть... шпион, если прямо сказать, — доносчик. Уж на что в НКВД не святые сидят, но даже и там этих сексотов за людей не считают, хоть сами и плодят их. Но самая суть-то в том, что папашу вашего никто за шиворот туда не тянул, а он сам добровольно явился и свои услуги предложил. Это было три года тому назад, даже и побольше немного. Ну, ему, конечно, предложили сначала «доказать». Он и «доказал». Желаете знать, как он доказал? А вот...

Семенов приостановился, не спеша вынул из бумажника небольшой лист бумаги и глянул в него.

— Я выписку сделал: без промаха! Евтуховых знаете? Есть у вас такие знакомые? Арестовали там сына года три тому назад? Это ваш папаша «оформил». Тоже и с Корольковым. Знали такого? А по-

том, — он заглянул в бумагу, — еще и Лазарева, Ипполита Николаевича. Папаше за Лазарева тогда 100 рублей поощрительных заплатили.

— Нет! — рванулась Евлалия Григорьевна. — Неправда!

— Поверить, конечно, трудно, — мрачно усмехнулся Семенов, — но только вы ни в одном моем слове не сомневайтесь: документально все установил. А то он еще раз совсем уж в пакостном деле участвовал. В таком пакостном, что он было зафанаберился даже, но тут его приманочкой приманили: «Получишь, дескать, доступ в наш закрытый распределитель!» Он и распластался. Ну, полного-то права распределителем пользоваться ему, конечно, не дали, рылом он не вышел, а бутылкой вина за полтинник или коробочкой импортных сардинок за 30 копеек его побаловали: чорт с тобой, кути! Трех человек он тогда под монастырь подвел, за сардинки-то. Одного расстреляли, а двое и по сей день на Печоре лес для экспорта заготовляют. Не угощал он вас этими сардинками?

Евлалия Григорьевна понимала все, понимала даже и то, чего не говорил Семенов. Без уверений и без доказательств, она знала, что все это — правда. В ее памяти, следом за словами Семенова, всплывали и небольшие деньги, которые время от времени были у Григория Михайловича, и его неожиданные отлучки из дома, и его немного замкнутый, чуть таинственный вид, который он иногда напускал на себя. Вспомнилась и та банка омаров, которую он когда-то принес, которой любовался и хвастался... И он тогда (она со страшной ясностью вспомнила это), он тогда угостил ее этими омарами. «Да, я съела тогда кусочек, и... Он говорит, что одного уж расстреляли?» Ей показалось, что ее затошнило противной тошнотой, и будто спазма ужаса и отвращения так сильно схватила ее внутренности, что те закорчились, чтобы вытолкнуть из себя этот кусочек омара.

— Так что же вы теперь скажете, Евлалия Григорьевна? — немного язвительно спросил Семенов. — Вредный или не вредный старик, папаша-то ваш? Хорошо, что его под ноготь взяли? Пойдете теперь к Любкину? Пойдете? Ведь не пойдете же... А? Не пойдете! — уверил он и ее и себя, как будто ему было очень нужно, чтобы она отказалась и не пошла к Любкину, как будто в этом было для него что-то значительное. — Сами видите, что не щадить нам его надо, а радоваться, что его забрали и... и даже вам надо «спасибо» сказать за то, что вы теперь свободны от него. «Спасибо, товарищ Любкин!» — вот оно что и как.

Евлалия Григорьевна заметалась еще пуще. Она понимала, что в ней нет сил решить тот вопрос, который так неумолимо ставил перед нею Семенов, и нет сил ответить на этот вопрос. Но, срываясь на каждом звуке своего голоса, она все же ответила: не ему, а себе.

— Я... К Любкину? Пойду!

— Да неужто ж пойдете? — не выдержал и вскочил с места Семенов. — Неужто?

Он стоял перед нею, большой, с широкими плечами, с сильными руками, твердо упираясь ногами в пол. И все в нем было большое, широкое, сильное, твердое: мысли, слова, понимание. Она сидела перед ним на стуле, словно маленький комочек, и странно напоминала ему подраненную птичку под кустом. «Пичужка ты этакая!» — с внезапной нежностью подумал Семенов и тут же спохватился. «Да ведь сила-то... Силища-то какая! И что это за сила? Откуда?» И ему вдруг захотелось взять стул, высоко взмахнуть им и брякнуть его о пол, чтобы он разлетелся вдребезги.

— Пой-де-те? — с расстановкой повторил он, приковываясь к ней чуть ли не исступленным взгля-

дом, судорожно силясь что-то понять и разгадать в ней. — Да ведь он же... Пойдете?

Его дыхание стало тяжелым. Евлалия Григорьевна не понимала, почему Семенов так страшно не хочет, чтобы она шла к Любкину? Что ему нужно от нее? Не понимал этого и сам Семенов. Но ее «пойду» он ломал всей своей силой. Ему было нужно сломать, чтобы воочию увидеть, что сила Евлалии Григорьевны — ничто, и что ему нечего бояться этой силы. А он ее боялся, и боялся с той самой минуты, когда она (совсем неясно) впервые мелькнула перед ним. Если эта сила есть, и если она сильнее его силы, то он, Семенов, должен погибнуть, потому что его сила — ложь.

— Н-ну, л-ладно! — медленно и тяжело выговорил он. — Пойдете? Ан, нет! Не пойдете! Потому что главного-то вы еще и не знаете, а если узнаете, то... А я вам и это главное скажу, потому что — надо! — почти угрожающе сказал он. — Дело-то ведь в том, что и мужа-то вашего...

— Молчите! — не выдержала и вскочила Евлалия Григорьевна. Она схватила Семенова за руки и изо всех сил сдавила их. — Не смейте! Этого не смейте!

— Спрятаться хотите? — безжалостно усмехнулся ей прямо в глаза Семенов. — Спрятаться? Ладно, прячьтесь: промолчу.

— Вадю? Вадю? Он?.. Вадю?

— Правду вам говорю. Не один он, конечно, но... и он.

Если бы Евлалия Григорьевна не вцепилась обеими руками в Семенова, и если бы она не вцепилась в него так сильно, она, возможно, упала бы. Это был удар, который оборвал ее сердце. Много лет спустя, вспоминая этот вечер и, особенно, эту минуту, она никак не могла понять: почему не завопила она тогда, почему не захлебнулась в рыданиях и почему не за-

билась в беспамятстве. А, главное, как могла она после того думать, чувствовать, понимать и говорить.

— Вот то-то! — строго и наставительно сказал Семенов, крепко припечатывая. — Вот и идите после того к Любкину, спасайте отца. А я вам все сказал. И все, что я сказал, — правда.

Он сделал шаг назад, преодолевший и уверенный. Посмотрел на Евлалию Григорьевну с чувством победы над нею и, вместе с тем, с чувством жалости к ней, побежденной.

Евлалия Григорьевна рванулась.

— Пойду! Пойду! — затряслась она, ничего не слушая, ничего не понимая и смотря перед собой обезумевшими глазами. — Он... Пусть! Ведь он... Пусть, пусть! Этого я не могу, я, я! — прорвалось у нее. — Добивать его? Да как вы смеете думать это! — развернулась она, готовая наброситься. — Вот сейчас... Вы пойдете со мной? Ах, нет, я сама, сама... Не надо, чтобы с вами, потому что... Но только...

Она схватила со столика свою шляпку и хотела было надеть ее, чтобы сейчас же идти, но Семенов как бы опомнился. Он видел, что он побит, но — странное дело! — не сожаление и не горечь, а даже радость почувствовал он от этого. Он с восхищением и с благодарностью смотрел на Евлалию Григорьевну, и ему казалось, что он хочет сделаться маленьким и смириться перед нею. Именно — смириться. Он очень осторожно взял из ее бессильных пальцев шляпку, а сам (все так же осторожно) посадил ее на место.

— Не надо делать глупостей! — не приказал, а попросил он. — Если вы такая... Если уж вы такая... Да что же это? — вдруг с необычайной силой вскрикнул он, всплеснул руками и словно бы пошатнулся. Схватился за спинку стула и сжал ее в кулаке.

Евлалия Григорьевна напряженно сидела, готовая каждую минуту вскочить и бежать.

— Я сам все сделаю! — взяв себя в руки, тихо сказал Семенов.

Евлалия Григорьевна подняла на него глаза, но спросила только взглядом.

— Все сам сделаю! — повторил Семенов и мотнул головой: не сомневайтесь, мол. — И я все это сделаю лучше, чем вы. Верите? Верите вы мне? — неожиданно для себя спросил он и почувствовал, как сердце у него слегка сжалось, словно ему будет больно, если она ответит: «Нет, не верю».

Евлалия Григорьевна ответила не сразу. Она сначала посмотрела строго, глубоко и испытующе. Она не могла ответить так, просто: ей надо было воистину убедиться в том, что она верит. Ей надо было увидеть то, что заставило бы ее поверить, что позволило бы ей поверить.

— Да, верю.

— А коли верите, — почти радостно заколыхался Семенов, — то... верьте! Я...

Он на полминуты задумался, что-то обсудил про себя и решил.

— До завтрашнего вечера подождите! — распорядился он. — И, коли можете, никуда завтра целый день из дому не уходите. Дома будьте, стало быть. Я сейчас еще не знаю: может быть, утром, а, может быть, днем или вечером... Одним словом, я или дам вам знать, или сам заеду, или... Не знаю, но ждите. Тут главное, чтобы этого Любкина увидеть! — немного хитро подмигнул он, — а я... я уж знаю, что ему сказать надо. Слово такое знаю, вроде, как бы — «Сезам, отворись!» Волшебное!

— Вы... скажете?

— Скажу, скажу! И... Не плачьте, голубенькая! — с ласковой шутливостью добавил он и несмело дотронулся концами пальцев до ее плеча. — Ведь переме-

лется, — мука будет! А у вас... у вас обязательно все перемелется, потому что жернова у вас больно уж крепкие!

ГЛАВА X

В 15-ой камере все спали, когда Григория Михайловича привели туда. И опять, как тогда, когда он в первый раз вошел в нее, он остановился у самой двери, потому что дальше нельзя было ступить ни шагу. Он стоял совершенно безучастно, даже не думая о том, что надо как-нибудь продвинуться вперед и сесть, если уж никак невозможно лечь. Смотрел открытыми глазами, но глаза были мутны, и перед ними была муть. Возможно, что он простоял бы так неопределенно долго, но Русаков проснулся и увидел его.

— Вы? — полушопотом спросил он. — Да как же это?

Григорий Михайлович глянул на него и в испуге отшатнулся назад. Он, может быть, даже и отпрыгнул бы, но отпрыгнуть было некуда: он и без того почти упирался спиной и плечами в дверь. Но он поднял кверху руки, словно отталкивал от себя что-то, и непонятно забормотал:

— Ничего не скажу! Ничего! Ничего не скажу!

— Воды бы... — участливо сказал кто-то и огляделся. И тотчас же к Григорию Михайловичу протянули руку с кружкой воды, которую всегда запасливо оставляли у себя в камере на ночь после вечернего чая: «Мало ли что может случиться!» Но Григорий Михайлович стоял неподвижно и не брал кружки. Миролюбов встал с места, добрался до него и поднес ему воду ко рту. Григорий Михайлович сжал зубы и затряс головой, откидывая ее назад.

— Ну, вот! Глупости! — со спокойной настойчивостью сказал Миролюбов. — Глоток-то воды... А? Выпейте!

— Ничего не скажу! Ничего не скажу! — бессвязно забормотал Григорий Михайлович.

— Да и не говорите! — с притворным равнодушием ответил Миролюбов. — Тут вас никто и спрашивать не станет, сами знаете. А прилечь — прилягте. До утра-то еще часа два-три, надо полагать.

Он растолкал лежащих. Те было забурчали что-то, но послушно посунулись, сжались, и на полу образовалось местечко.

— Вот... Садитесь! — пригласил Миролюбов. — А пальто, конечно, снимите.

Он многозначительно переглянулся с Русаковым, перебрался на свое место, вполголоса сказал что-то направо и налево ближайшим соседям и лег. Все утихло.

Григорий Михайлович полусидел-полулежал, опираясь о стенку, но скоро посунулся: сидеть не было сил, и тело хотело лечь. Однако, лечь было некуда, мешали спящие. Григорий Михайлович протянул поверх одного из них свои ноги, тяжело опустил голову на сложенное пальто и закрыл глаза. Но тотчас же перед глазами поползли недавние образы: серо-каменный Никитин в долгополой кавалерийской шинели, гордая походка Веденяпина и уходящая вглубь оранжерея с земляным полом. А вслед за всем этим выплывали глаза дежурного: они плыли на Григория Михайловича издали, приближались, искали, смотрели, выбирали и говорили об ужасе. Григорий Михайлович вздрогнул всем телом и поспешно открыл глаза.

Прямо перед глазами был невысокий потолок, и через него тянулась (из угла к лампе) нитка паутины, обмотанная пухлой пылью. Рядом с Григорием Михайловичем посвистывал носом спящий. Григорию Михайловичу стало от всего этого спокойнее, и он опять закрыл глаза.

Но чуть только он закрыл их, как зашевелились и заколебались тени, и среди теней глаза дежурного

смотрели прямо на него. Он дернулся и тотчас же открыл веки. Опять — потолок, опять — пыльная нитка, опять — посвист спящего соседа.

И вдруг конвульсия памяти вытолкнула перед ним холодные и непререкаемые слова Бухтеева: «И о дочери вы тоже скажете!» Григорий Михайлович, стиснутый до неподвижности сдавившими его соседями, не мог заметаться: он только глухо, чуть слышно застонал, полуоткрыв рот и исказив его в гримасе боли. И тут же, сразу, с подавляющей внезапностью перед ним встало все: вся прошлая жизнь, все прошлые дни. Он вспомнил (не постепенно вспоминал черту за чертой, а сразу вспомнил все и целиком) и то, как по утрам Евлалия Григорьевна вставала и начинала работать, чтобы он имел обед и завтрак; и то мелкое злорадство, которое даже тешило его, когда он «оформлял» материал для ареста Вадима Николаевича; он вспомнил робкую заботливость Евлалии Григорьевны, ее темные глаза, ее тихую улыбку... И тут же, сразу же, вспомнил, как он воровал у нее из сумочки деньги. Он вспомнил, как Евлалия Григорьевна говорила, что она «не хочет есть», когда было мало хлеба за столом, и вспомнил, как он сюсюкал перед Семеновым, расхваливая ее. И два обруча сдавили его сердце: жалостливая, покаянная любовь к дочери и страх перед своей мерзостью. Он быстро-быстро замигал глазами, прогоняя слезы, но слез не было: глаза были сухи, воспаленно горячи, и их что-то покалывало. Он было подумал о Боге, но тотчас же испугался. «Дочечка! Дочечка!» — шептал он, презирая себя за то, что не имеет права шептать это слово.

Силы начали покидать его, тело не лежало на мускулах, а сваливалось вялым комком, сердце не могло вмещать в себе чувств, а в голове не было не только мыслей, но даже и представлений. Глаза закрылись. И он послушливо, без сопротивления проваливался в темную яму, проваливался все глубже, глубже и, наконец, провалился совсем.

А когда он очнулся, все уже встали, готовясь к прогулке. Камера уже знала, что «с Володеевым что-то неладно», и все делали вид, будто ничего не произошло, будто в двухдневной отлучке Григория Михайловича нет ничего странного, и что все, слава Богу, благополучно. Говорили о постороннем, гадали, увеличат ли сегодня прогулку за счет вчерашней, когда шел дождь. Григорий Михайлович не замечал деликатной осторожности и, недоверчиво косясь на всех, пятился от каждого.

— Сколько сейчас времени? — неожиданно и отрывисто спросил он.

— А кто ж его знает! — с деланным равнодушием ответил кто-то. — Нашему брату иметь часов не полагается. Спасибо, что хоть календарь-то помним: 24 сентября 1937 года... А может быть, и дни скоро потеряем, кто ж его знает!

«Но ведь сейчас утро, сейчас ведь только утро! — убеждал себя Григорий Михайлович. — А позовет он меня только вечером. До вечера далеко, еще очень далеко!»

Когда камера пошла гулять, Русаков (еще на лестнице) подошел к Миролюбову и пошел рядом с ним.

— Вероятно, в здоровой бане был человек! — вполголоса сказал он. — Похуже жоркиного ящика, а?

— Да, что-то чрезвычайное! — согласился Миролюбов. — Бить, вероятно, не били, синяков и кровоподтеков не видать, а душу ему, надо полагать, всю перевернули. Может быть, на фиктивный расстрел водили? Как этого... как его? Помните?

— Высоцкого?

— Да, да! Высоцкого... Того тоже чорт знает до чего довели!

— Здорово подался старик. За два дня другим человеком стал.

— Подашься! Там ведь, Высоцкий рассказывал, инсценировку-то художественно проводят: в меру ре-

ализма, в меру символизма, в меру экспрессионизма... Художники! Может быть, вот это и есть социалистический реализм, а?

— Очень может быть. Но сатанинская пакость в том, что это ведь у них совсем не расстрел. В расстреле, как вы себе хотите, есть какая-то романтика. А у них не расстрел, а убийство. Они не расстреливают, а пристреливают. Пьер Безухов (помните?) тоже был на расстреле, но там он видел только величайшую форму человеческого зла, а здесь, у этих...

— Сатанинское?

— Хуже: внечеловеческое. Сатана — это «против Бога», и антихрист — это «анти Христос». А тут не «анти», тут — «вне». Вне Бога, вне сатаны, вне человека. Знаете, что там видел наш старик? Он видел — «нет человека». Это — оборотная сторона мистики, это — мистика с отрицательным знаком, минус-мистика! И это-то сделало жизнь Росскопфом.

Григорий Михайлович шел почти позади всех и, ничего не замечая, делал автоматические круги по маленькой площади двора. Он опустил голову и шел с видом глубоко задумавшегося человека, но он ни о чем не думал, а только шагал и робко поглядывал на небо. А оно, осеннее, чуть ли не каждую минуту менялось: то было ласковым и печальным, то хмурым и безрадостным.

— Заходи-и!

Когда принесли кипяток, Григорий Михайлович не стал пить чай, а погрузился в полузабытье. И в этом полузабытье перед ним все время стояло лицо Евлалии Григорьевны. Он видел его таким, каким оно было всегда: ровное, грустное, без укоризны и без обвинения. И чем больше вглядывался Григорий Михайлович в это лицо, тем все дороже и дороже становилось оно ему. Сквозь камеру смертников и через глаза дежурного, через презрительную ухмылку Бухтеева и через серый камень Никитина это лицо Евлалии Григорьевны сияло лучистой теплотой, такой ров-

ной и грустной, как сама она. «Дочечка! Дочечка!» — неслышно зашептал он слово, которого не говорил ни разу в жизни, и которое он так полюбил здесь и сейчас.

И вот — прорвалась плотина, которая сдерживала его всю жизнь, и из-за которой он всю жизнь не умел понимать, видеть и ценить: он понял, увидел и оценил. Безмерная нежность и безмерное раскаяние охватили его, но нежность мучила, а раскаяние утешало. «Дочечка! Дочечка!» — всхлипывал он, не замечая, что всхлипывает совсем громко, и что «дочечка» тоже громко вырывается у него изо рта. Он мотал головой, как от нестерпимой боли, а лицо перекрашивалось и искажалось.

И вдруг — вызов:

— Володеев!

Григорий Михайлович рванулся. Подчиняясь не разуму, а толкающему рефлексу, он вскочил на ноги и посмотрел, ничего не понимая. «Разве уже вечер? Ведь еще не вечер! Он же сказал, что вызовет вечером!»

— Но... Но... — попытался он что-то объяснить и вдруг спросил караульного: — Который час?

Его тон был странен, а спросил он с такой напористостью и почти с отчаяньем, что караульный невольно подчинился.

— Одиннадцатый! — сказал он, но тут же опомнился и сердито закричал: — Дав-вай!

Григорий Михайлович вышел из камеры. Он шел и все уверял себя: «Это не то! Не то! Он же сказал, что вызовет вечером!» Он шел уже знакомым ему коридором с красивой дорожкой на полу, и вдруг невыносимое сжало его: Евлалия. «Нет!» — разорвалось у него сердце, и он похолодел, наверное зная, твердо зная, что он скажет «нет», а это «нет» приведет его к ужасу.

Бухтеев встретил его не с презрительной, а с ка-

кой-то замкнутой миной. Он не посмотрел на Григория Михайловича, а ткнул пальцем, показывая на стул. Достал из папки какую-то бумажку, что-то вписал в нее и сказал сухо, обрывисто, не глядя на Григория Михайловича:

— Здесь... М-м-м... Здесь произошло изменение. И по отношению к вам мы пришли к другому решению. Возможно, что потом все вернется к прежнему, но... но сейчас мы вас освобождаем. Подпишите вот эту бумагу и можете идти домой.

Он сунул Григорию Михайловичу заготовленный бланк и только тут глянул на него.

— Прочитайте!

На бланке был напечатан текст обязательства никогда и никому не говорить о том, что видел и что слышал Григорий Михайлович за время своего заключения. Он прочитал этот текст и совершенно ясно понял его, но, вместе с тем, для него было как-то смутно: что это значит — «не говорить никому?»

Он подписал бланк и положил перо. Если бы его сейчас спросили, что он только что сделал, он не смог бы объяснить. Какой-то обрывок мысли пронесся через него, но он не уловил этого обрывка.

— Вы должны каждую минуту помнить, — опять напустил на себя свой презрительный вид Бухтеев, — что вы, как наш секретный сотрудник, должны быть вдвойне осторожны на каждом шагу, и что в случае малейшей провинности, вы будете отвечать вдвойне же. Где ваши вещи? В камеру вам нельзя уже заходить.

Григорий Михайлович наморщил лоб: раньше, чем вспомнить, где его вещи, он должен был с некоторым усилием сообразить, что значит — «вещи»? Это, кажется, пальто и шляпа?.. Об остальных вещах, которые остались «там», в камере смертников, он вспомнить не мог: не было ни вещей, ни камеры, ни смертников.

— Они... там... — с усилием выдавил он.

— Вам их принесут. Подождите в коридоре. Всё!

Когда Григорий Михайлович вышел на улицу, он повернул налево и пошел. Ему казалось, что он идет довольно быстро, но на деле он шел медленно, еле волоча ноги и расслабленно вихляя ими. Когда он прошел с полквартала, он остановился и с усилием попытался определить: туда ли он идет? Очень смутно, но все же он понял, что идет не туда, что надо повернуть и пойти обратно, но не повернул, а пошел дальше, весь постарев, уныло сутулясь, тряся опущенной головой и смотря себе под ноги мутным, невидящим взглядом. Руки, бессильные и как бы неживые, висели вдоль тела, а ноги переступали неровно, рывками, с напряжением.

ГЛАВА XI

Когда Евлалия Григорьевна услышала 3 звонка, она подумала, что пришел Семенов или кто-нибудь от него. Но когда она отворила дверь, она увидела Григория Михайловича. Сначала она, как говорится, не поверила своим глазам и вздрогнула, но когда (через секунду) она поняла, что это — воистину он, она похолодела: ей стало страшно видеть его. Она никак не думала, что он может вернуться так скоро, а поэтому и никак не была готова к встрече с ним. Первое, что почувствовала она, — это то, что она не может, никак не может видеть этого человека, но чувство это почти сразу покрылось другим и смешалось с другим: Григорий Михайлович стоял перед нею так дрожа, заглядывал ей в глаза таким мучительным взглядом и пытался улыбнуться такими мертвыми губами, что сердце Евлалии Григорьевны застыло и заныло. А Григорий Михайлович, не в силах сказать хоть одно слово, все смотрел на нее, и видно было, что этот взгляд каждую минуту готов спрятаться.

— Да... Да... — залепетала Евлалия Григорьевна.

— Это, значит, так... Ты... Ты заходи! Ничего! Ничего! — бессвязно говорила она, сама не зная, что значит это «ничего», и для кого она говорит это слово: для Григория Михайловича или для себя?

Григорий Михайлович дошел до двери в комнату и приостановился, как бы не зная: отворять ее ему самому или ждать, пока Евлалия Григорьевна ее откроет? Евлалия Григорьевна надавила на ручку, пропустила отца вперед и вошла за ним, опустив глаза. Она понимала, что сейчас надо обрадоваться, светло и счастливо поздороваться, обняться и поцеловать отца, сказать что-то очень приветливое и даже веселое, что надо начать двигаться быстро, говорить громко и оживленно, надо возбужденно метаться по комнате, не зная, за что взяться, что делать и что подавать. Но ничего этого она не могла: ее подавлял страх перед тем чувством, которое сразу появилось в ней, чуть только она увидела Григория Михайловича. Это была не ненависть, не презрение и не отвращение, но это было почти физическое желание, чтобы Григория Михайловича не было здесь, в этой комнате, и чтобы она его не видела. А он повернулся к ней, протянул к ней трясущиеся руки и очень смущенно, очень неуверенно сказал:

— Ну, вот! Ну, вот! Здравствуй!

Он обнял ее за плечи, слегка притягивая к себе, а она еле сдержалась, чтобы не отстраниться и даже чтобы не вырваться. Попробовала глянуть ему в глаза, но не смогла.

— Да, да! Да, хорошо! — пробормотала она. — Значит, кончилось? Освободили? Это, конечно, было какое-то недоразумение и...

Она заставила себя прикоснуться пальцами к его рукам пониже плеч, как будто этим прикосновением она хотела заменить объятие. Но, прикоснувшись, почти тотчас же отдернула руки и, стараясь не смотреть на отца, сделала шаг в сторону, словно ей было

нужно пойти туда по какому-то делу, о котором она сейчас вспомнила.

— Ах, да! — спохватилась она. — Что же ты стоишь? Садись... То-есть сними пальто, конечно!

Никто в квартире не видел, как он пришел, но уже через несколько минут все знали: его освободили. Перебегали из комнаты в комнату и сообщали друг другу новость. Но к Евлалии Григорьевне заходить не решались: одним мешала деликатность, а другим — опасение проявить интерес к тому, кто был арестован и, следовательно, был «не чист». Но Софья Дмитриевна, на правах своего человека, торопливо пришла с озабоченным видом и с приветливой улыбкой на старческих губах. Шурик пришел вместе с нею.

— Ну, до чего ж хорошо! — ласково пропела она и всплеснула руками, увидев Григория Михайловича. — Так хорошо, что и сказать даже невозможно! Поздороваемся, что ли?.. Здравствуйте вам у вас дома!

— Да, да! — заулыбался Григорий Михайлович и закивал головой. — Здравствуйте дома!.. Это... Это... Это очень хорошо вы сказали, потому что...

Его губы задрожали. Он несколько раз быстро моргнул веками и, не выдержав, всхлипнул. Но устыдился этого всхлипывания и постарался улыбнуться виноватой улыбкой.

— Нервы! — объяснил он так, словно попросил прощения.

Евлалия Григорьевна сразу почувствовала ту теплоту, с которой Софья Дмитриевна, так не любившая Григория Михайловича, искренно встретила его. И ей стало больно: почему она не смогла так же тепло встретить отца? Она понимала, что в глазах Софьи Дмитриевны Григорий Михайлович есть сейчас только пострадавший и страдающий, и что поэтому она забывает все: забывает перед лицом страдания. Почему же она, дочь, не может забыть? Почему она так черства, так холодна и так зла?

Софья Дмитриевна взяла Шурика за плечи и подтолкнула его:

— Поздоровайся же, Шуринька, с дедушкой! Вот дедушка-то и опять, слава Богу, домой вернулся.

Шурик, не привыкший здороваться с Григорием Михайловичем и быть ласковым с ним, очень неловко подошел с детской застенчивостью и остановился, глядя на Евлалию Григорьевну. Григорий Михайлович посмотрел на него и положил ему руку на голову.

— Да, да! Шурик! Да, здравствуй! — опять заулыбался он, не зная, что ему делать с рукой, которую он положил на голову внука. Он притворился, будто что-то вспомнил и поскорее полез рукой в карман, словно там ему было что-то нужно. И вдруг что-то нащупал: это была та коробочка с папиросами, которую ему ночью дал Бухтеев. Он резко и отрывисто дернул рукой и кинул на стол эту коробочку: кинул так, будто руке было противно держать ее. И по лицу пробежала тень страха и боли.

— Это... Это... — забормотал он. — Ты выкинь это! — нервно повернулся он к Евлалии Григорьевне. — Обязательно! Сейчас же!

Евлалия Григорьевна не поняла. Она взяла коробочку и приоткрыла ее.

— Здесь папиросы! — не то спросила, не то объяснила она.

— Да! Папиросы! Да! Ты их выкинь, выкинь! Они...

Софья Дмитриевна, словно что-то поняв, очень решительно взяла из рук Евлалии Григорьевны коробочку и спрятала ее в своей руке: спрятала от Григория Михайловича, чтобы он не видел.

— Сейчас, сейчас! — успокоительно заверила она. — Сейчас вот выкину!

Она повернулась и пошла было из комнаты, но, сделав два-три шага, о чем-то догадалась и даже всплеснула руками.

— Да ведь о чем же мы думаем! — упрекнула она и себя и Евлалию Григорьевну. — Григорию-то Михайловичу надо ведь и помыться, и побриться, и себя в порядок привести... А потом покушать и отдохнуть! Намучились вы, поди, страх! — намекающим тоном сочувственно добавила она. — Я, голубенькая, сейчас ванну устрою Григорию Михайловичу, а вы здесь уж распорядитесь: белье чистое достаньте, завтрак приготовьте... Ну, и водочки для ради такого случая совсем не грех выпить! И я выпью с вами, обязательно выпью!.. С удовольствием!

Евлалия Григорьевна почти обрадовалась: начать что-то делать и заботиться было легче, чем пытаться говорить с отцом. Она собрала чистое белье Григорию Михайловичу, вытащила из шкафа его платье, постелила постель и (с немного лукавым видом) остановилась, задумавшись: что бы такое особенное приготовить к завтраку? Но, делая все это, она молчала, ни о чем не спрашивала отца, а ограничивалась только тем, что неопределенно бормотала:

— Ну, вот... Ну, вот так... Это будет хорошо!

Григорий Михайлович принимал то, что есть, не вдумываясь и не оценивая: принимал пусто. Он не ощущал радости, а одно только успокоение, но какое-то вялое и бессодержательное. Он встал, машинально снял пальто (он все еще сидел в нем), повесил его на привычное место и прошел за ширму к своей кровати. Сел на нее и задумчиво стал расшнуровывать ботинки.

— Тут твое белье, бритва и платье! — сказала Евлалия Григорьевна. — Приводи себя в порядок, а я покамест в лавку схожу. Купить тебе водки, в самом деле? — шутливо спросила она, стараясь казаться веселой, но вздрогнула и насторожилась: из-за ширмы послышались всхлипыванья.

— Если б ты знала! Если б ты знала! — дрожащим голосом еле выговорил Григорий Михайлович.

Он многое вкладывал в эти слова. Он вкладывал в них и жалобу на пережитое в эти дни, и невысказанное признание в новом чувстве к дочери, и мольбу о прощении, и жажду раскаяния в прошлом... Евлалия Григорьевна, конечно, не могла понять и охватить весь этот смысл его дрожащего всхлипывания, но у нее сжалось сердце, и опять жалость до боли пронизала ее всю. Она быстро подошла к ширме, слегка отодвинула ее и уже безо всякого усилия посмотрела на отца.

— Тяжело было? — тихо, почти шопотом спросила она, глядя на него с искренним состраданием.

Он ответил страдальческим взглядом, но не сказал ни слова. Шурик, ничего не понимая, очень заинтересованно посмотрел на мать, а потом на дедушку и, что-то почувствовав, наморщил бровки, как будто собрался заплакать.

— Да! Да! Да! — не на ее вопрос, а на что-то другое ответил Григорий Михайлович. — Это... Это... Об этом — потом!

— Да, конечно, потом! — сразу согласилась Евлалия Григорьевна, по-своему поняв его слова. — Конечно, потом. Но... Но... Но ведь все уже кончилось! Все ведь уже, слава Богу, кончилось! — убеждая его, добавила она. — Конечно, все это ужасно, но ведь оно же прошло, оно ведь совсем прошло!

Он поднял глаза, но сейчас же опустил их.

— Да, прошло... — беззвучно согласился он.

Евлалия Григорьевна немного нерешительно постояла несколько секунд у ширмы. Григорий Михайлович перестал всхлипывать, и чувство жалости к нему отхлынуло у нее от сердца. И ей показалось, что в ней опять зашевелится желание, чтобы Григория Михайловича не было в этой комнате.

— Так я куплю тебе водки! — нашла в себе силу почти весело сказать она.

— Да, купи... Спасибо! И, — поднял он на нее

глаза, — и, пожалуйста, если можно, купи четвертушку семги!..

Он попросил, но тут же спохватился и нервно задвигался по кровати. Опять тень боли пробежала по его лицу.

— Нет, нет! — замахал он рукой. — Нет, это ведь я только так... Не надо семги! Понимаешь? Это ведь я только так!..

— Почему не надо? — с веселой бодростью сказала Евлалия Григорьевна. — Ради такого дня... А еще чего тебе хотелось бы?

— Нет, нет! — даже испугавшись чего-то, замотал головой Григорий Михайлович, — Нет, не надо! Ничего не надо!

Он побрился, вымылся и надел чистое белье. Все это было очень простое и очень обыкновенное дело, которое он делал сотни и тысячи раз. Но сегодня каждое движение имело для него, кроме обычного смысла, еще смысл и необычный: когда он брился, он скреб себя бритвой с отвращением, потому что ему казалось, будто он соскребывает с себя то, что оставалось на лице «оттуда». А когда он мылся в ванне, то явственно ощущал, как он смывает с тела то, что налипло на него «там»: не грязь, а тоскливую муку, маетный страх и давящее зло. Он пристально и брезгливо оглядывал свою кожу на груди, на животе и на ногах, придирчиво морщился при каждом пятнышке, тер его мыльной мочалкой и, уже совсем вымывшись, захотел обязательно вымыться еще раз, «набело».

Но в этом обыкновенном деле было еще и другое. Григорий Михайлович делал привычные движения, скреб бритвой или намыливал мочалку, но ему казалось, что он все это делает как-то «в первый раз», по-иному, не так, как было когда-то. Все, что было когда-то, было в той прежней жизни, которая отгорожена камерой смертников и полутемной оранжереей. Со всем тем он вроде, как бы простился, считая себя тоже мертвым, и, вернувшись опять к бритве и к мылу,

смотрел на них удивленно: неужели же можно снова бриться и мылиться? Неужели можно вернуться к простым делам простой жизни?

После завтрака Евлалия Григорьевна увела Шурика к Софье Дмитриевне и сама ушла туда.

— Мы не будем тебе мешать, отдыхай спокойно, сколько хочешь! — сказала она, стараясь говорить приветливо и ласково.

Григорий Михайлович лег на свою кровать, с удовольствием чувствуя, что это та кровать, которая еще день тому назад казалась невозможной. Он сначала подобрал под себя ноги и лег калачиком, но сейчас же вытянулся: так приятно было и подбирать ноги, и вытягивать их по своему желанию, «как хочу». Он даже засмеялся про себя, вспомнив тесноту камеры.

Но вдруг остро, ярко и совершенно отчетливо в мозгу вспыхнула требовательная мысль: «Евлалия!»

«Евлалия? Что — Евлалия?» — растерянно спрашивал себя Григорий Михайлович. Мысль не складывалась в вопрос и не выражалась словами, но определяла себя только ощущением. Там, в камере, мысль о дочери была дорога и душевна, но здесь, дома, эта мысль стала тяжелой и пугающей. Раскаяние, которое так искренно охватило его «там», здесь потускнело, сделалось фальшивым, лишним и ненужным. Даже слова «Лалочка» не говорил себе Григорий Михайлович. «Как это странно! Как все это странно!» — с напряжением следил он за собою, не понимая, почему другой и далекой стала здесь для него Евлалия Григорьевна. «Разве любить можно только... там? — неопределенно думал он. — Почему любить можно только там? А ведь там все любят: и друг друга и... вообще!»

ГЛАВА XII

Супрунов сказал Любкину: «Трещинка в тебе уже есть!» Любкин возразил: «Это тебе только так кажется!» Но сам Любкин, после этого разговора, несколько

раз вспоминал эти слова Супрунова, и уж по одному тому видел, что в словах этих что-то есть: трещинки в нем еще нет, но какая-то заноза сидит и мешает.

То, что он называл занозой, было очень сложно и не во всех своих частях понятно. Многое только чувствовалось, ощущалось, но никак не могло определиться.

Любкин был партийцем, коммунистом, но он не скрывал от себя, что коммунизм перестал его интересовать и сделался совсем ненужным. «Это все одна теория!» — полупрезрительно думал он. Раньше, в первые послереволюционные годы, у него от одного только слова «коммунизм» захватывало дух: глаза зажигались сами собою, и кулаки сжимались тоже сами собою. Но теперь слово «коммунизм» звучало мертво: «Это все одна только теория!» И когда он, во время великого голода 1932 года, побывал на Украине и в Молдавии, он не смутился: голод, быть может, противоречил коммунизму, как теории, но этот голод совершенно свободно и без насилия вкладывался в ту «практику» большевизма, которую (одну только ее) ценил Любкин.

Коммунизм, который не может допустить голода, закрылся перед ним чем-то таким, что голод допускало, перед голодом не останавливалось и голода не страшилось. Раньше, когда он говорил — «коммунистическая партия», в голосе звучала гордость: «Это мы!» Но Супрунов спросил его один раз: «А кто это — мы?» Он, даже не подумав, ответил твердо: «Мы, большевики».

Еще недавно, обсуждая в отделе кадров обкома партии характеристику секретаря комоволовского райпарткома, он сказал так:

— Парень-то он, может быть, и неплохой, но он какой-то такой!

— Какой?

— Да как сказать? Коммунист! — с неожиданным пренебрежением определил он.

— Ну, да! Коммунист! — не поняли и с недоумением посмотрели на него.

— Вот! А не большевик!

И когда он чувствовал свое новое отношение к коммунизму или думал о нем, он говорил себе: «Трещинка тут не трещинка, а заноза есть!»

Но занозой было и другое. Он уничтожал «врагов народа», хотя, без сомнения, знал, что враги народа — это сам народ. Поэтому получалось так, что уничтожает он не врагов, а уничтожает народ. Но он не любил этого слова, а привычнее говорил — «трудящиеся». Однако, и с «трудящимися» у него получалось странно. «Трудящиеся» были для него ценны только как безличная абстракция, как политическое понятие, как символическое выражение экономических факторов. Реальный же трудящийся, живой человек, с нервами и с кровью, неминуемо становился для него «врагом народа», и именно оттого, что он был реальный, живой.

— К чорту живого человека! — полушутя-полусерьезно говорил он Супрунову. — На кой он ляд? Мешает только!

— Чем? — спрашивал Супрунов.

— А тем, что его подчинять надо. Без подчинения он сам не подчинится!

Уничтожение живого трудящегося ради абстракции «трудящихся» и неожиданное противопоставление большевизма коммунизму становились для него той базой, на которой (он это чувствовал) стоять можно твердо. Но вместе с тем, он чувствовал себя неполно, недостаточно, незаконченно, как будто ему нехватало чего-то очень нужного. «Еда-то есть, а соли нет! — раздраженно подводил он итог. — Посолить-то забыли!» Какой именно соли ему нехватает, и что это за соль, он не знал, но отсутствие ее он ощущал с несомненностью: недаром же он так доверчиво потянулся к «люблю» Елены Дмитриевны.

Иногда занозы не чувствовалось, но иногда она начинала больно колоть его, и тогда по управлению пробегал невидимый ток: туго натянутые пружины затягивались еще туже, аресты увеличивались, следователи зверели, допросы превращались в пытку, а следственные заключения преполнялись неслыханными обвинениями: можно было подумать, что чуть ли не вся область состоит из диверсантов, вредителей и шпионов.

Любкин без колебания арестовывал и отправлял в подвал неудачливых следователей, превращая их неудачливость в злостный саботаж, требовал от начальников отделений неисполнимого, сам начинал работать по 15-16 часов в сутки, ездил в Москву, добивался расширения полномочий и, вернувшись, гремел:

— Разве вы не понимаете, что каждый гражданин, который еще ходит на свободе, есть скрытый враг советской власти! Хватайте без разбору, хватайте подряд, ошибки не будет! Невинных жалеете? Невинных в СССР нет!

И внизу, в камерах заключенных, жутким, кровавым эхом отзывалась его «заноза». Заключенные видели, как на них катится злая, черная, беспощадная волна, и, холодея от ужаса, спрашивали себя:

— С ума они там сошли, что ли? Кровью опились, звери!

А потом Любкин ехал к Елене Дмитриевне, падал на диван и со странной тоской в голосе просил Елену Дмитриевну, хватая ее руки и заглядывая ей в глаза:

— Скажи, что ты меня любишь! Скажи — «люблю»!

— Дай конфетку, тогда скажу! — кошечкой шутила Елена Дмитриевна, пряча лицо на его груди.

Он смеялся мелким, счастливым смешком и ждал, когда она скажет это желанное слово. И она, не от-

рывая лица от его груди, тихо говорила глубоким, низким голосом:

— Люблю.

А в это время губы у нее дрожали от нестерпимой ненависти.

Однажды он очень неожиданно удивил Елену Дмитриевну странным вопросом:

— Ты хорошо помнишь Евангелие?

— Евангелие? — даже не поняла его вопроса Елена Дмитриевна. — Да я его никогда и не читала! В детстве, помню, бабушка мне что-то рассказывала, а потом... Нет, не читала!

— Не читала? Гм!.. Да, оно, конечно, так. Но... Я думал, ты знаешь. Там, понимаешь ты, про соль есть.

— Про какую соль?

— Не помню в точности: в школе еще, на уроках разговор был... Что вот, мол, ежели соли нет, так и ничего нет! Впрочем, совсем, кажись, не то... Забыл!

— Что же?

— Ничего. Интересно было бы вспомнить.

Елена Дмитриевна очень внимательно (с выпытывающей внимательностью) посмотрела на него, словно заподозрила что-то. Она осторожно отстранилась и задумалась.

— А ты бы, — неуверенно попросил Любкин, — ты бы не могла... того... достать мне это самое Евангелие?

— Откуда же? — искренно изумилась Елена Дмитриевна. — Разве в СССР можно достать Евангелие? В книжных лавках его нет, в библиотеках нет... Где же достать?

— А может, — немного замялся Любкин, — может быть, у кого-нибудь из твоих знакомых сохранилось или... вообще!

— Ни у знакомых, ни у «вообще» Евангелия нет! — почему-то холодно и резко ответила Елена Дмитриевна, как будто она осуждала что-то. — Нет в СССР

Евангелия! «Вопросы ленинизма» есть и «История ВКП» на всех языках мира есть, а Евангелия нет. Ты прикажи, — вдруг добавила она с легкой издевкой, — ты прикажи своим чекистам: они тебе достанут.

— Они достанут! — не услышав издевки, очень согласно отозвался Любкин.

— Единственный путь достать Евангелие в культурной христианской стране: ищейки и повальный обыск! — нехорошо усмехнулась Елена Дмитриевна. — Да и при обыске найти не так-то легко: люди прячут Евангелие! Ты хороших ищеек пусти, опытных, они достанут где-нибудь, а остальные люди... Где уж! Куда уж!

Супрунов приносил ему обвинительные заключения, заготовленные для спецстройки, перебирал их своими четкими пальцами с твердыми ногтями и говорил спокойно, деловито, уверенно:

— Обратишь внимание тройки: число расстрелов за последний месяц повысилось на 18 процентов, а средний срок ссылки повысился даже на 26! Пусть не снижают.

И Любкин (тоже спокойно, деловито и уверенно) отвечал:

— Снизить не дам.

ГЛАВА XIII

В облместпроме не сомневался никто: Шептарева — любовница Чубука. Сам Чубук знал, конечно, что это неправда, но взамен того, он был убежден в другой неправде: Шептарева — любовница Семенова.

Но было и другое, более беспощадное и более оскорбляющее. Все знали, что Евлалию Григорьевну перевели на работу в спецотдел, а там освободили. Никто не знал, почему ее освободили, но всем надо было объяснить себе это, и это объясняли тем, что ей дано какое-то «особое задание». Получалось так: Шептарева, будучи любовницей Чубука, пользуется его пар-

тийным доверием и, следовательно, она — «дрянь, каких надо поискать да поискать!»

— Воображаю, что это за задание такое... Жуть!

То, что Шептарева — любовница Чубука, у одних вызывало двусмысленный смешок, у других — зависть, у третьих — равнодушное безразличие: «А мне какое дело!» Но то, что она — «сексот с особыми полномочиями и со специальным заданием», у всех вызывало гадливый страх перед нею и гадливое же омерзение к ней. Никто ничего не знал и не мог знать, но чуть ли не все те аресты, которые шли среди сотрудников самого местпрома и среди его многочисленных предприятий в городе и в области, люди неизменно приписывали Евлалии Григорьевне и, в своем заблуждении, безмерно преувеличивали ее значение. А когда у одной машинистки арестовали мужа, она, в приступе отчаяния, стала проклинать Евлалию Григорьевну и истерически утверждала, что и отца своего и своего мужа Евлалия Григорьевна «сама выдала». И чуть ли не все согласились с нею:

— Очень может быть! Уж если человек в сексоты пошел, то он на все способен!..

Так думали и так говорили хорошие и разумные люди, способные быть широкими и благожелательными. Но они смотрели на все через искривляющую, уродующую призму, а поэтому и видели все в искривленном, изуродованном виде. Сила, направлявшая людей, поставила перед их глазами эту призму, и никто не задумывался над тем, почему она, искривляя и уродуя, превращает все светлое и прекрасное в темное и отвратительное, но никогда и нигде не превращает темное и отвратительное в светлое и прекрасное. Призма искривляла все: не только «вижу», но и «смотрю». Люди не только видели злое уродство во всем, но и смотрели на все изуродованным взглядом. Им была положена в рот желчь, а поэтому им все было

горько. А от этого темной и отвратительной становилась не только жизнь, но и душа человека.

«Сексот» не был страшен, хотя он был и опасен: он был отвратителен последней степенью отвращения, последней степенью гадливости. Людям казалось, что от него исходит зловоние, которым он пропитался «там». А «там» страшно по-особому, по-нечеловеческому, по-нездешнему. От людей, которые «там», можно ждать того, чего нельзя ждать ни от грабителя, ни от насильника, ни от убийцы. Эти люди переступили невозможную черту, сделавшись способными на то, на что не способен и людоед. Выдать мужа? Предать отца? Послать на смерть сына? Распять воскресшего Бога? Пред чем в страхе и в смятении остановятся эти люди?

Евлалия Григорьевна, конечно, не знала того, что говорят и что думают о ней в местпроме. Она сначала (еще до ареста Григория Михайловича) ждала какого-нибудь извещения от Волошинца, но никакого извещения не приходило. Потом наступила неделя смятения и страха, когда был забыт и местпром и спецотдел. Но после того, как Григорий Михайлович вернулся, она опять вспомнила о Волошинце, тем более, что уже кончался сентябрь. Она понимала, что ей во что бы то ни стало надо пойти в местпром и справиться: что ей надо делать дальше? Но всякий раз, когда она думала об этом, ей становилось невыразимо тягостно: не было сил пойти туда, спрашивать и разговаривать.

Кроме того, надо было получить зарплату за месяц. Это обстоятельство еще более тяготило Евлалию Григорьевну: оно было для нее невыносимее, чем «спрашивать и разговаривать». Прошло уже полтора месяца, как она не ходила на службу и фактически не работала: сначала две недели делала непонятный перевод для Чубука, а потом целый месяц фиктивно числилась по спецотделу. И идти получать деньги «ни за что» было для нее тягостно и унизительно.

Несколько дней она малодушничала и с утра, уже

совсем было собравшись пойти, говорила себе: «Нет, лучше завтра!» Но в конце концов, справилась с собою, взяла себя в руки и пошла. С тоскливым сердцем поднялась по лестнице и, делая над собой усилие, прошла в спецотдел. Но там оказалось, что Волошинца нет: он уехал по делам и «сегодня, вероятно ,уже не вернется». Евлалия Григорьевна малодушно обрадовалась этому и поспешно повернулась, чтобы уйти, но в это время в комнату вошла какая-то пожилая женщина, (таких Вадя когда-то называл — «сильно партийная!»), очень коротко остриженная, строгая видом и в больших круглых очках. Она испытующе посмотрела на Евлалию Григорьевну, но тотчас же отвела глаза, как бы недовольная чем-то, и неприветливо спросила:

— Товарищ Шептарева?

— Да, я! — негромко ответила Евлалия Григорьевна, от чего-то смущаясь.

— Вам надо пройти в кассу и получить зарплату! — тоном приказа, которым только и могут говорить «сильно партийные коммунисты», сказала женщина, не смотря на Евлалию Григорьевну. — Из кассы уже два раза присылали за вами: им надо ведомости отсылать, а вас все нет. Почему вы не приходили? — строго спросила она.

— Я... Товарищ Волошинец сказал мне... — попробовала было что-то объяснить Евлалия Григорьевна.

— Так идите же! — приказала та и пошла к шкафу за бумагами. Она открыла его и начала чересчур пристально рыться в нем, как бы подчеркивая, что с Евлалией Григорьевной она говорить больше не хочет.

Евлалия Григорьевна, чувствуя еще бо́льшую тяжесть на сердце, поднялась лестницей выше и пошла к кассиру. Кассир был тоже недоволен. А кроме недовольства, от него шло и еще что-то, очень неприязненное.

— Задерживаете только! — пробурчал он. — Мы еще вчера расплату со всеми кончили, а вы... Денег у

вас, верно, много, что не торопитесь за получкой приходить!

Он стал отсчитывать деньги, старательно не смотря на Евлалию Григорьевну. Его лицо стало замкнутым и далеким. Евлалия Григорьевна расписалась в ведомости и получила деньги, но посовестилась посмотреть, сколько ей выписано. Пачку бумажек она тоже не пересчитала, торопливо сунула ее в сумочку. Неслышно сказала «спасибо» и поскорее вышла, чувствуя, что все лицо у нее почему-то горит.

Обгоняя ее, по коридору прошел какой-то сотрудник (она знала его в лицо, но фамилии его не знала) и, вероятно, не сразу узнал ее, но когда обогнал, то повернул голову и заглянул в глаза. Все дальнейшее заняло одну-две секунды, не больше. Сотрудник глянул, сразу узнал и тут же на его лице появилось что-то очень неприязненное. Он чуть-чуть, на четверть секунды, запнулся, а потом отвернулся, как от чего-то нехорошего и даже противного ему, что-то буркнул («здравствуйте»?) и, рывком рванувшись вперед, быстро -быстро пошел по коридору. Евлалия Григорьевна видела все это, но не поняла ничего. «Что такое?» — в полном недоумении подумала она и почувствовала, что эта мимолетная сцена чем-то обидела и даже унизила ее. Она слегка приостановилась в странной нерешительности. «Глупости! — совершенно чистосердечно решила она и пошла в бюро машинисток, чтобы «повидаться со своими». Она считала, что «повидаться» обязательно надо, но в то же время, ей было неприятно туда идти.

Она отворила дверь и вошла в знакомую ей комнату. Машинистки, которые сидели в два ряда, лицом друг к другу, все подняли голову (так бывало всегда, когда отворялась дверь и кто-нибудь входил) и посмотрели на нее. И чуть только они увидели и узнали ее, так сразу же притихли, словно оборвали. Одни как будто смутились, другие как будто насторожились.

Две или три наклонились к машинкам и спрятали за ними лицо.

— Здравствуйте! — не совсем смело сказала Евлалия Григорьевна, оглядывая знакомую ей комнату и знакомые лица.

— Здравствуйте! — таким тоном ответила ей старшая машинистка, словно говорила: «Ну, что ж! Ничего не поделаешь: если уж ты пришла, так надо с тобой поздороваться!» Остальные тоже ответили, но как-то невнятно и не все.

Евлалия Григорьевна остановилась у дверей, смущенная тем, что не знает, как ей вести себя и что говорить. Она попыталась улыбнуться, но улыбка не получилась.

— Присаживайтесь, гостьей будете! — немного сухо сказала старшая, перекладывая какие-то бумаги на столике и не смотря на Евлалию Григорьевну.

— Нет, я... Спасибо! Я сейчас тороплюсь и...

— Дела много? — явно двусмысленно спросила Ирочка Завьялова, глядя чуть ли не вызывающе.

— Да, я... Нет, дела, конечно, не много, но...

— Де́ла не много, а дела́ есть? — так же сухо, на что-то намекая, сказала старшая. — Ну, что ж... Дела́ у каждого есть!

Она подняла глаза и посмотрела с осуждением.

— Дома-то у вас, слыхать, все уж в порядке? — сухо поинтересовалась она.

Евлалия Григорьевна никому не говорила о том, что Григорий Михайлович был арестован и потом скоро освобожден, но в местпроме знали всё и освобождение Григория Михайловича объясняли по-своему: «Она ведь там, в НКВД, свой человек. Вот и... выхлопотала!» И при этом забывали, что еще чуть ли не накануне они же утверждали, что Григорий Михайлович арестован «по оформлению» Евлалии Григорьевны.

— Да, в порядке! — не совсем связно пробормо-

тала она. — Папу уже... Папа сейчас уже дома, потому что...

— Ну, это мы знаем, почему! — зло сказала та машинистка, муж которой был арестован. — Потому что потому, что кончается на «у»! Других-то ведь вот не освобождают!

— Да! — не поняла и подтвердила Евлалия Григорьевна. — Других не освобождают!..

Кто-то фыркнул.

— А вы все в спецотделе... работаете? — немного запнувшись перед последним словом, спросила старшая.

— Да, я там... Но... товарищ Волошинец говорил мне, чтобы я... То-есть, он потом скажет мне...

— Отдельные поручения, что ли, выполняете? На службе-то вас не видать!

Настороженное и недружелюбное плотно окружило Евлалию Григорьевну со всех сторон. Прячущиеся глаза, прячущийся тон голоса говорили ей о том, что здесь от нее отталкиваются, и что всем неприятно то, что она сейчас стоит здесь. И ей мучительно захотелось как можно скорее уйти отсюда.

— А здесь все попрежнему? — неуверенно спросила она.

— У нас-то? Попрежнему! — холодно ответила старшая. — Стучим, пальцы себе оббиваем. Наше дело маленькое...

— Это ведь только большим кораблям большие плавания! — бросила одна из машинисток, на что-то намекая.

Евлалия Григорьевна перехватила дрожащими пальцами ручку своей сумочки.

— Чего ж вы стоите? Садитесь! — не смотря на нее, сказала старшая. Она зачем-то вздохнула и стала закладывать в машинку листы бумаги с копиркой. И чересчур тщательно подравнивала их концы.

— Нет, я... — спохватилась Евлалия Григорьевна. — Я уже пойду!

— Чего ж не посидите? Вы ведь у нас редкая гостья!

— Что и говорить: редкая! — подхватила Ирочка Завьялова. — Даже, можно сказать, редкостная!

— Я пойду! — зашевелилась Евлалия Григорьевна. — Я ведь мешаю вам и... До свиданья!

— Чем же мешаете? Вы ведь, так сказать, свой человек, мы вас не стесняемся.

— Вот именно: «так сказать»! — подхватила та машинистка, у которой арестовали мужа, и с ненавистью посмотрела на Евлалию Григорьевну.

Евлалия Григорьевна немного поколебалась: можно ей ограничиться одним общим «до свиданья» или же надо подойти к каждой отдельно? Она поклонилась, опустила глаза и как-то очень незаметно вышла из комнаты.

ГЛАВА XIV

Дальше жизнь Евлалии Григорьевны, казалось бы, пошла совсем легко: она не ходила на службу, сидела с Шуриком, выполняла несложные, но многочисленные, домашние дела и к той повышенной ставке, которую она стала получать в спецотделе, прирабатывала перепиской: Семенов присылал ей работу на 300-400 рублей в месяц. На такие деньги можно было жить без особой нужды: хоть и скромно, но уверенно, тем более, что Григорий Михайлович совсем притих, почти ничего не тратил на себя и с застенчивой благодарностью удовлетворялся тем, что (несомненно, заботливо) предлагала ему Евлалия Григорьевна.

Но на душе у Евлалии Григорьевны не было полной легкости и полного покоя. Мешали двое: Семенов и отец.

С тех пор, как Семенов пришел по ее вызову (в те дни, когда был арестован Григорий Михайлович), он больше не приходил. Раза два от него приходили посыльные, которые брали у Евлалии Григорьевны уже исполненную работу, оставляли ей новую

и передавали пакет: деньги и коротенькую записку. Один раз Семенов писал: «Не знаю в точности, сколько вам следует, посылаю на глаз, рассчитайте сами», а в другой раз — «Я все занят больно, а если будет время, так заеду».

В конце концов, он, действительно, заехал один раз (в конце октября), но просидел минут десять, не больше. Евлалия Григорьевна смотрела на него и все мучилась: надо ли поблагодарить его «за папу»? Она колебалась и все ждала, что он сам спросит о Григории Михайловиче, но он ни о чем не спрашивал и сам ни о чем не говорил, а все больше посматривал. А когда уходил, то задержал руку Евлалии Григорьевны в своей руке и немного неуклюже сознался:

— А я, правду сказать, малость соскучился по вас. Вот и заехал посмотреть.

И, действительно, посмотрел: долго и испытующе.

А после того не заезжал ни разу.

О старом «влюбился» даже и София Дмитриевна уже не упоминала, настолько не было ничего, что хоть как-нибудь говорило бы о том, что Семенов влюбился. И с этой стороны для Евлалии Григорьевны все было легко. Но была другая сторона: Семенов стал как бы основой той жизни, которая сложилась для нее. То, что ей было сейчас «хорошо», целиком зависело от Семенова и было сделано им, а это ее тяготило, потому что она не знала: кто он такой, что ему надо и почему он делает для нее хорошее?

Но главной ее тяготой был отец.

Григорий Михайлович только пять суток провел под арестом, но Евлалия Григорьевна видела, что эти пять суток сломили его и физически и духовно. Он стал почти дряхл, ходил, шаркая ногами по полу, пальцы у него дрожали, и глаза стали тусклыми. Он сгорбился, опустился, обессилел. Говорил тихо, коротко, немного запинаясь, теряя слова, и говорил всегда каким-то жалостливым, умоляющим тоном. Не только взгляд его был постоянно напуганным, но напуганным

был он весь: часто вздрагивал, оглядывался и вслушивался. Целые дни он проводил у себя за ширмой, где было полутемно: лежал на кровати и все о чем-то думал. Из-за ширмы он выходил только тогда, когда Евлалия Григорьевна звала его к обеду или к чаю. Выходил неуверенно, даже робко, не сразу подходил к столу, а останавливался у ширмы и смотрел на дочь, словно спрашивал: «Можно?» И Евлалии Григорьевне часто приходилось приглашать его:

— Почему же ты не садишься? Ведь все уже готово, садись!

Он садился, как будто связанный и смущенный. Оба ели нехитрый обед и неловко старались не смотреть друг на друга. И говорили только случайное, вымученное:

— Что же ты не ешь? — старалась улыбнуться Евлалия Григорьевна. — Разве не вкусно?

Он немного спохватился.

— А? Да, да, я ем... Нет, вкусно, очень вкусно.

И, окончив обед, бормотал, словно бы стыдясь своих слов:

— Ну, спасибо... Сыт! Спасибо тебе!..

И тотчас же очень поспешно уходил к себе за ширму — как будто убегал.

Он не рассказывал Евлалии Григорьевне того, что было с ним в те страшные пять дней, а она не расспрашивала, боялась. Она боялась: узнав то, что «делали с ним», она узнает и то, что «сделал он». Она, конечно, понимала, что освободили его благодаря вмешательству Семенова, но иногда колебалась и сомневалась: а может быть, Семенов здесь не при чем, а Григорий Михайлович сам купил себе освобождение какой-нибудь страшной ценой? И она всматривалась в отца испытующе и строго. «Сексот?» — спрашивала она себя, неизменно чувствуя омерзение от этого слова. Бесконечно противное и гадкое видела она в отце,

такое противное и гадкое, что иной раз она не выдерживала и уходила из комнаты.

Уходили дни, уходили недели. Софья Дмитриевна умиленно утверждала, что она теперь «не нарадуется», как мирно и покойно живет Евлалия Григорьевна, и что даже Григорий Михайлович стал теперь «на человека похож». Но Евлалия Григорьевна знала, что ни мира, ни покоя нет, что этот мир и покой висят на тоненькой ниточке, а ниточка может каждый день оборваться, и тогда будет беда. Два человека, отец и дочь, жили вместе, в одной комнате, ели один обед, делали маленькие домашние дела и даже разговаривали друг с другом, но каждый из них прятался. Евлалия Григорьевна прятала свое готовое прорваться омерзение и свой стыд за это омерзение, а Григорий Михайлович прятал и давил свой порыв к раскаянию и к любви. «Я не имею права, я не имею права!» — бормотал он себе.

Он все время проводил за ширмой, в полутьме, лежа на кровати. Он не погружался в себя, потому что внутри него (он знал это) было только темное, но он убегал от этого темного, начав создавать себе несуществующую иную жизнь. Он приучил себя к тому, что он называл «воображать», и это «воображать» он очень полюбил. Ему становилось легче, когда он уходил из действительного мира в мир его фантазии: в этом мире все подчинялось его желанию, образы слагались по его воле, и события складывались послушно.

Лежа на своей кровати, он создавал целые истории, фантастические и неправдоподобные, которые он заполнял мелкими подробностями, тешившими его. У него накопилось несколько сюжетов, и он продумывал их до мелочей, по много раз возвращаясь к ним. Иногда он начинал воображать, будто ему поручили (кто поручил и как поручил, он не спрашивал себя) произвести ревизию НКВД, «наказать виновных и освободить заключенных». И он начинал думать о том, как он, властный и требовательный, спускается

в подвал институтского дома и первым делом входит в камеру № 15. «Николай Анастасьевич! — обращается он к Миролюбову, — поручаю вам организовать освобождение всех этих несчастных!» Он видел радостное смятение в камере, пожимал руку молодому студенту, приказывал немедленно доставить в больницу Козакова и шутил с Русаковым: «Ну-с, Иван Борисович! Может быть, вы хоть теперь сознаетесь, что вы Росскопф, а не Русаков!» Потом он быстро шел через сад, в камеру смертников. «Они, пожалуй, испугаются моего прихода, подумают, что я пришел и Бог весть за чем! Надо им сразу же, сразу все сказать!» И он быстро отворял дверь камеры и кричал с порога: «Господа, вы свободны!» А затем он шел наверх, где уже были собраны все арестованные чекисты: дежурный из оранжереи, Никитин, Бухтеев и десятки других. И он начинал допрос, умело и хитро доводя их до того, что они «во всем сознавались».

Точно так же он любил воображать, будто он с Евлалией Григорьевной попадает за границу. Толпы репортеров и интервьеров, беседы с министрами и президентами. Он становится во главе «Международного комитета по борьбе с коммунизмом», и весь мир с надеждой начинает смотреть на него. Он пытался даже подсчитать бюджет этого комитета и обдумывал, где лучше созвать международную антикоммунистическую конференцию: в Женеве или в Париже?

Он полюбил полутьму своего уголка, отгороженного ширмой, и полюбил тот воображаемый мир, который он создавал там. Иногда ему бывало даже досадно, когда в середине его мечтаний, когда Никитин уже бледнел перед ним и готов был назвать ему «точную цифру расстрелянных», Евлалия Григорьевна звала его обедать или пить чай. Он выходил, наскоро съедал то, что ему давали, и поскорее возвращался в свой призрачный мир. «Ну-с, гражданин Никитин, — говорил он, потирая руки, — а теперь скажите-ка вы мне»...

ГЛАВА XV

23 ноября Григорий Михайлович получил повестку: ему предлагалось немедленно явиться на улицу Розы Люксембург № 5, в комнату № 27, к товарищу Воронченко. Григорий Михайлович сперва было не понял, но вдруг вспомнил: улица Розы Люксембург № 5 — это НКВД. Повестка — вызов в НКВД.

И его и Евлалию Григорьевну повестка испугала чрезвычайно, хотя оба (почему?) сразу же начали стараться скрыть один от другого свой испуг. Евлалия Григорьевна даже нашла в себе силы сказать с довольно небрежным видом:

— Это, вероятно, надо что-нибудь оформить... Может быть, подписать надо что-нибудь... Не арест же это!

— А может быть, — нелепо догадался Григорий Михайлович, — может быть, это они хотят возвратить мне мои вещи, которые там остались? Кружка, полотенце и... и...

— Очень может быть! — совершенно убежденно согласилась Евлалия Григорьевна — Ты сейчас пойдешь? Еще ведь не поздно, всего лишь начало двенадцатого.

— Да... Да! — послушно согласился Григорий Михайлович. — Да, еще не поздно!

Он стал суетливо одеваться, то хватаясь за галстук, то начиная чистить ботинки, то проверяя, есть ли носовой платок... Надел пальто, осмотрелся и пошел к двери.

— Ну, я иду... Иду!

— Ни пуха, ни пера! — весело пожелала ему вслед Евлалия Григорьевна, чувствуя, как у нее замирает сердце.

Он вышел за дверь, затворил ее за собою и хотел идти дальше по коридору, но остановился и заколебался. Нерешительно надавил на ручку замка и вернулся в комнату.

— Я... Я...

— Что?

Он стоял молча, стараясь поймать то, ради чего он вернулся, но какое-то колебание или смущение мешало ему. Он посмотрел на дочь, замигал глазами и всхлипнул.

— Я... Прощай, Лала!

И сделал к ней шаг.

— Ну, что за глупости! Что за глупости! — подбежала к нему Евлалия Григорьевна, изо все сил стараясь быть совсем бодрой и даже веселой. — Какое такое может быть «прощай»? Ведь все это пустяки какие-нибудь!

— Да... Пустяки... — вяло согласился Григорий Михайлович и жалостливо посмотрел на дочь. — Я ведь это только так... Я... Дай, я поцелую тебя! — с нерешительным порывом добавил он..

Евлалия Григорьевна, безо всякого усилия, очень доверчиво, протянула ему свое лицо. Но когда он прикоснулся губами к ее щеке, она сразу дернулась, не удержалась и нервным, брезгливым рывком чуть откинулась назад. Возможно, что если бы она замедлила хотя на полсекунды, она справилась бы с собой, не отдернулась бы и не показала того, что охватило ее при прикосновении губ «сексота». Но ощущение охватило ее так сильно и так сразу, что она не успела спрятать его. Брезгливость и отвращение от прикоснувшихся к ней губ почувствовались, как оскорбление. Она даже подняла было руку, чтобы вытереть со щеки след этого поцелуя, но как раз опомнилась и на полдороге задержала руку. И тут же испугалась: «Что я наделала?»

Очень трудно понять, почему и как Григорий Михайлович сразу же увидел все. Мало того, он увидел все как бы через увеличительное стекло: не только четко и ясно, но — преувеличенно.

Сначала он на секунду застыл, приковываясь к выражению глаз и лица дочери, без ошибки понимая,

что́ говорит это лицо и что́ говорят эти глаза. Потом он махнул обеими руками, неслышно застонал, повернулся от нее и очень быстро вышел в коридор. Он шел, но было похоже, будто он бежал. «Нет, нет, нет! Не может быть! Она знает? Не может быть! Не может быть!» Не видя ничего и не сознавая ничего, он только по привычке повернул к выходной двери, только по привычке отворил ее и стал спускаться с лестницы. «Не может быть! Не может быть!» — что есть силы уверял он себя, но когда вышел на улицу, то твердо и непоколебимо видел: «Она знает».

Он шел по улице, не понимая, что он идет, и с трудом ловил обрывки недававшихся мыслей. Его охватила безнадежность, сознание того, что теперь «все пропало», и что теперь «уж ничего не может быть». Вместо улицы, домов и неба, перед глазами было что-то бесформенное, и он не всматривался в это бесформенное. Совершенно безучастно, не понимая, зачем он это делает, он перешел на другую сторону, прошел с полквартала и опять возвратился на ту сторону, по которой до того шел. «Она знает! Она знает!» — твердил он, сознавая, что теперь он никуда не уйдет от этого «она знает».

Свежий воздух обвеял его, и он слегка очнулся. Вспомнил: ему надо идти на улицу Розы Люксембург. Мысль о том, что ему надо туда идти, уже не пугала его, словно теперь, после «она знает», ничто не могло ни волновать, ни страшить. Первое смятение в нем уже улеглось, и мысли уже не пролетали бессмысленными обрывками, а могли слагаться в одно. «Что же теперь будет? Что же теперь делать?» — думал он, как будто могло быть решение и мог быть выход.

В 27-ой комнате его встретил грузный, угрюмый мужчина с квадратным лицом и с чрезмерно развитыми челюстями: вероятно, Воронченко. Он, с недовольным видом человека, которого оторвали от важного дела, небрежно просмотрел повестку, которую ему молча дал Григорий Михайлович, и невнятно буркнул:

— Садитесь!

А потом полуоборотом повернулся к открытой двери и крикнул в соседнюю комнату:

— Товарищ Золотухин! Тут к тебе пришли!

Из соседней комнаты вышел Золотухин: молодой человек в штатском, довольно приветливого вида, но с бегающим выражением циничных глаз. Они, эти глаза, как бы говорили: «Знаю я, что за сволочи вы все!»

Он просмотрел повестку.

— Ах, да! Товарищ Володеев? Очень хорошо, что вы пришли, очень хорошо... Тут у меня к вам есть дело: небольшое, но важное. Вот давайте-ка, сядем там и потолкуем.

Он отвел Григория Михайловича в другой конец комнаты, где стоял совсем пустой стол, покрытый толстым листом стекла, пододвинул Григорию Михайловичу стул и сам сел рядом с ним, очень близко.

— Вы у нас с какого года работаете? — вполголоса спросил он.

— Я? С какого? — не совсем понимая, о чем его спрашивают, переспросил Григорий Михайлович.

— Да, да! Вы! С какого года?

— Я? Ах, да!.. С 1934-го... То-есть, с 35-го! Нет, с 34-го! — слегка запутался Григорий Михайлович.

— Забыли? — насмешливо усмехнулся Золотухин. — Помнить надо бы! Ну, ладно, сойдет и так... Во всяком случае, давно работаете, порядок знаете. Вы ведь, кажется, месяца два тому назад и сами споткнулись? — остро посмотрел он.

— Как... споткнулся?

— Под замок попали... К Бухтееву! Он парень душистый, психологический, что и говорить! Здорово тогда перетрусили? Больше не хотите, а?

— Его фамилия — Бухтеев? — догадался, о ком говорит Золотухин, Григорий Михайлович.

— А вы и не знали? Что ж не поинтересовались? Впрочем, давайте лучше о деле... Вы в последнее время отстали от работы, но в этом мы сами отчасти

виноваты: выпустили вас из поля зрения, как говорится. Теперь уж не выпустим. Работать, так работать! «Ехать, так ехать!» — сказал попугай, когда его кошка тащила за хвост из клетки. Знаете? Ну, да ладно, это в сторону, а дело-то вот в чем: вы Триполева знаете?

— Триполева? — ненужно переспросил Григорий Михайлович, инстинктивно стараясь выиграть время, как будто этот выигрыш мог помочь ему в чем-нибудь.

— Да, Триполева! — повторил Золотухин и посмотрел на него своим взглядом: «Сволочь ты, насквозь тебя вижу!» — Плановик кожтреста. Он ведь в вашей квартире живет, рядом с вашей комнатой.

— Ах, да! С комнатой... рядом...

— Вспомнили? Ну-с...

Он нагнулся к самому уху Григория Михайловича и заговорил совсем тихо, но без малейшего колебания:

— На этого Триполева материал нужен. Представите. Служебная часть вас не касается, это другие оформят, а вы — личную. Разговоры, настроения, антисоветские анекдоты... Не стану вас учить, сами хорошо знаете! Гните линию так, чтобы получилось его участие во вредительской организации. Понимаете? Наберите материал по бытовой части, но именно в этом духе. Сколько вам времени надо для этого? Дня 2-3 хватит? Ну, я добрый, я вам целую неделю дам! — он заглянул в блокнот. — Да, целую неделю: придете сюда 30-го числа. В эту же комнату. Спро́сите меня, моя фамилия — Золотухин. Будете помнить? И постарайтесь, пожалуйста, придумать что-нибудь поновее и поправдоподобнее, а то... Я ведь посмотрел по прошлым делам: у вас, надо правду сказать, есть и находчивость и изобретательность. Так что вы постарайтесь! Значит, 30-го! Товарищ Ворончено, — хлопотливо крикнул он, — отметь пропуск на выход! До свиданья, до скорого...

И, не подавая Григорию Михайловичу руки, Золотухин быстро вышел из комнаты.

Григорий Михайлович отметил у Воронченко пропуск, очень вежливо поклонился ему, прошел длинными коридорами, в которых он чуть было не заблудился, спустился вниз по мраморной лестнице и вышел на улицу. Не торопясь, достал из кармана пальто перчатки, очень тщательно надел их, обтянув каждый палец, поправил на голове свою меховую «боярскую» шапку и пошел спокойной солидной походкой.

На белые улицы медленно и бесшумно падали, трепеща в воздухе, красивые звездочки снега, воздух был вкусный и бодрый, улица была тихая, и приятно предчувствовалась зимняя оттепель. Затянутое облаками небо не давило и было легкое, светлое.

И Григорию Михайловичу начало казаться, будто он, свободный и независимый человек, приятно и солидно живущий на доходы с домов и с имения, вышел погулять в ласковый зимний день. У него нет никакого дела, он никуда не торопится и хочет только подышать бодрящим воздухом. Было бы не плохо сейчас зайти в опереточный театр на репетицию и там пошутить с хористками. А еще лучше — зайти в «Унион»: там сейчас как раз завтракают, и, уж конечно, там можно застать многих приятных знакомых. Павлик Озеров, наверное, там с князем Туробойским, а толстый Борников, конечно, потянет к своему столу. «Милые бездельники!» — ласково и снисходительно улыбнулся Григорий Михайлович, воображая, как будет задыхаться в своей одышке Борников, и как он будет умолять: «Мамочка вы моя, любезнейший Григорий Михайлович! Да вы только присядьте! Вы только присядьте ко мне на минуточку!.. Стаканчик Кло-де-Вужо, а?» Но еще лучше никуда не заходить, вот так с полчаса прогуляться, а потом сесть на лихача и поехать домой. А по дороге завернуть к Дюкову: «Вчера он остендские устрицы получил, — соображал Григорий Михайлович, — и те две бутылки бордо у

него еще не проданы. Дорого хочет, каналья, но... Побаловать себя, что ли?» И он так искренно ушел от всего того, что есть, так искренно перенес себя на 30 лет назад, что готов был увидеть городового на перекрестке.

Около него рявкнул автомобиль. Он вздрогнул и сразу увидел, что ни Борникова, ни Дюкова нет, а есть Золотухин, у которого он только что был и от которого получил приказ заготовить материал на Триполева. И тут же понял, что гулять ему совсем не надо, а надо пойти домой, чтобы обдумывать этот материал. А дома сидит Евлалия Григорьевна, которая «все знает». Григорий Михайлович на минутку остановился, посмотрел вдоль улицы и понял совсем другое: домой он не пойдет и материал обдумывать не будет.

Подошел трамвай. Как всегда, он был переполненный, а на остановке еще ждало человек 10-12. Григорий Михайлович не стал соображать, что это за трамвай, и куда идет он, а бросился к нему, чтобы обязательно сесть. И ему казалось, что ехать вот именно этим трамваем ему во что бы то ни стало нужно, что будет ужасно, если он пропустит этот вагон и останется дожидаться следующего. Он почти с отчаянием протискивался вперед, слышал, как кто-то оттягивал его за плечо, но рванулся, схватился за поручень и кое-как встиснулся на площадку. Трамвай пошел. «Это, кажется, Пушкинская улица? Значит, этот трамвай идет на вокзал? Это хорошо, это очень хорошо, что он идет на вокзал... Посижу там!»

На вокзале Григорий Михайлович прошел в общий зал, сел на скамейку в углу и тут только почувствовал, что он страшно устал, что ноги дрожат и даже немного болят в суставах. Он поднял глаза и посмотрел на большие часы напротив: было десять минут третьего. «Рано еще!» — со спокойным безразличием подумал он. Но это безразличие было только в мыслях, потому что что-то ненавистное щемило ему сердце. «Ничего! Ничего! — уговаривал он себя. — Я

ведь зашел сюда только так: посидеть и отдохнуть, вот и все!»

Он знал, что все его существо, каждая клеточка нервов, каждая капелька крови и каждая извилина мозга наполнены двумя: «она все знает» и «надо заготовлять материал на Триполева». Они были не только во всём, но они были всем: пониманием, сознанием, чувством и даже формой. Но вместе с тем, получалось так, что они, которые были всем, одновременно были настолько ничем, что он их не воспринимал. Они были, но для него их не было, как будто они были не в нем, а где-то вне его.

Но за этими двумя стояло еще нечто, чего Григорий Михайлович не допускал к себе. Оно было и оно стояло, но Григорий Михайлович смотрел, отворотясь от него.

Взамен того, чтобы подумать, он с обостренным любопытством присматривался к пассажирам. «Вот эта гражданка с двумя детьми... Она, кажется, ровесница Лалы, но... но почему у нее такое измученное лицо? А вот это, вероятно, партиец, и он едет в служебную командировку. Их всегда легко узнать, этих партийцев: они держат себя всегда очень уверенно, ни в чем не сомневаются и смотрят удивительно властно. Хозяева! Их, вероятно, слушаются только оттого, что они сами уверены: их не слушаться нельзя. А вот этот паренек с бегающими глазами, наверное, вор. Он никуда не едет, а ходит и ищет, где бы украсть чемодан у зазевавшегося пассажира». Григорий Михайлович пробегал глазами по лицам и с интересом давал всем характеристики, уверенный в том, что в этих характеристиках он не ошибается. «Но почему это на всех лежит такое серое? Что это такое серое лежит на них? — почти с тоской думал он. — Почему они, хоть каждый и по-своему, но все — в одно?» Он закурил папиросу и сел поудобнее.

Он подумал о том, что Евлалия Григорьевна, вероятно, с нетерпением ждет его и беспокоится. Но сразу

же краска стыда прихлынула к щекам: слова «с нетерпением» и «беспокоится» показались немыслимыми и недопустимыми. Стыд стал тоскливым, и он взволновался. «И... И про Вадима Николаевича она знает! — острой болью пронизало его. — А про Триполева она узнает? Вот то, что мне поручено, а я не отказался и даже, кажется, что-то обещал. Про это она узнает?» Он сделал последнюю затяжку, оглянулся, нашел глазами урну, подошел к ней и очень осмотрительно бросил в нее окурок. Потом поправил на себе шапку и пошел к кассам, бегая глазами по стенам. «Здесь должны быть вывешены расписания, вот именно где-нибудь здесь!» — упорно твердил он. Нашел расписание и стал его изучать. Долго бегал глазами по столбцам цифр, плохо ориентируясь в них, и, наконец, нашел: поезд на Москву приходил в 15.25, а уходил в 15.45. «Перронный билет, вероятно, надо взять?»

Он купил перронный билет и посмотрел на часы. До прихода поезда оставалось минут 15. «А может быть, он идет с опозданием? Где бы узнать?» Он в нерешительности поглядел по сторонам, а потом спокойно вышел на перрон.

Снег уже перестал идти, и та оттепель, которая так приятно предчувствовалась часа два тому назад, уже подошла. Воздух чуть заметно тянулся тепловатым ветерком, снег сразу свалялся в обмокшие комки, которые блестели, словно покрытые лаком. На шпалах мелкой дрожью дрожали растаявшие капли, которые только дрожали, но никак не могли стечь.

«Он идет на Москву! — соображал Григорий Михайлович. — Значит, он придет вот оттуда, с той стороны!» Он прошел в конец платформы и остановился у самого края. Подумал даже, не сойти ли с платформы и не пойти ли прямо по путям. «Это, вероятно, не разрешается, и меня, наверное, остановят! — сообразил он. — Все равно!»

На платформе уже скопились пассажиры с веща-

ми, и по ней с трудом протащили багажную тележку. Двое стояли с краю, и один из них что-то рассказывал, быстро маша рукой. Около груды корзинок и узлов бесцельно хлопотала пожилая женщина, замотанная в старый платок, все время зачем-то перекладывая с места на место узелки и каждую минуту одергивая мальчика лет 12, который безучастно стоял подле нее: «Вася, ты смотри! Смотри же! Тут жулья и нивесть сколько шатается!» Григорий Михайлович посмотрел на перронные часы: 22 минуты четвертого. «Значит, сейчас! — засуетился он и зачем-то расстегнул пальто, — Ну да, сейчас! Вот, может быть, это он уже идет?» — глянул он вдоль путей и поспешно застегнул пальто, которое только что перед тем расстегнул. Он всматривался в приближающиеся облака пара, которые окутывали что-то черное и большое, и вдруг отчетливо вспомнил, как он стоял в оранжерее и, замирая от несказанного ужаса, ждал вызова на смерть. Вспомнил и усмехнулся снисходительной усмешкой мудреца: «Что ж тут страшного? Ничего страшного в этом нет!» И глянул еще раз.

Большой паровоз на высоких колесах с шумом и грохотом (так казалось Григорию Михайловичу) нырял между стрелками и, кажется, ничуть не уменьшал своего хода, будто машинист, как лихой кучер, хочет на всем скаку подлететь к крыльцу и только там осадить зарвавшуюся тройку. Григорий Михайлович подошел к самому краю платформы и, вытягивая голову влево, что есть силы наклонился вперед, чтобы разглядеть обязательно издали и как можно лучше. «Осторожней!» — крикнул ему кто-то сзади, но в это время паровоз почти поравнялся с ним, и Григорий Михайлович рванулся вперед. Он еще услышал пронзительный женский крик, полный ужаса, но этот крик тут же оборвался, а вместе с ним оборвалось все.

ГЛАВА XVI

Григорий Михайлович уже ушел, его шаги по коридору уже стихли, и входная дверь уже хлопнула, а Евлалия Григорьевна все еще стояла и не решалась сойти с места. «Что я наделала?» — повторяла она, не зная, наделала ли она что-нибудь и случилось ли что-нибудь. Ощущение брезгливости и отвращения от поцелуя Григория Михайловича уже прошло (оно почти мгновенно прошло), и она никак не могла вспомнить и сообразить точно: что же, все-таки, произошло? Да и произошло ли что-нибудь? Со спутанным и тяжелым чувством она отошла от двери и села за машинку, печатать.

Прошло часа два. Евлалия Григорьевна все еще продолжала печатать, но она стала все чаще и чаще взглядывать на часы. «Ну, скажем, полчаса туда, да час там... Ну, обратно — тоже полчаса... Ему пора уже вернуться, совсем уж пора вернуться! Почему он не идет?» — думала и рассчитывала она. Наконец, не выдержала и пошла к Софье Дмитриевне. Та сидела и надвязывала чулок, а Шурик читал ей из «Букваря»: «Хороша каша у Маши»...

— Софья Дмитриевна! — дрогнувшим голосом сказала Евлалия Григорьевна. — Папы все еще нет!

— Задержался, верно! — с притворным равнодушием зевнула Софья Дмитриевна. — Рано ведь еще... Сколько сейчас времени?

— Три часа уже!

— Ну, вот видите: всего только три часа.

Чем дальше шло время, тем беспокойство все больше и больше охватывало Евлалию Григорьевну. Когда стемнело, она стала метаться по комнате и все порывалась «пойти и узнать». Шурик с тревогой следил за нею глазами, а потом не выдержал, расплакался и спрятал голову в ее колени.

— Куда вы пойдете, на ночь глядя? — урезонивала ее Софья Дмитриевна. — И кто вам сейчас что-ни-

будь скажет? Да, может быть, еще ничего и не случилось, а так только... Не маленький же он!

— Нет, нет! Они его опять арестовали! — металась в тоске Евлалия Григорьевна. — Он пошел к ним, а они...

— Гм!.. Арестовали! Кто ж их знает? — задумалась Софья Дмитриевна. — Но даже если оно и так, то сейчас-то зачем вам бежать? До завтрева подождать надо.

— До завтра? А если...

— Что за «если» такое? Никакого «если», может быть, еще и нет совсем!

Шурика уложили спать рано, а сами все сидели и спорили: Евлалия Григорьевна была уверена, что «что-то случилось», а Софья Дмитриевна твердила, что «подождать надо». Но часам к 10 и она согласилась с тем, что «что-то нехорошо».

Всю ночь Евлалия Григорьевна не спала, а рано утром, часов в 6, вскочила, быстро и беспорядочно оделась и приготовилась бежать. Софья Дмитриевна еле образумила ее.

— Да разве ж можно в такую рань? Да там же и никого нету еще, все спят! Подождите хоть до девяти-то часов.

Она взяла власть в свои руки и настояла на том, чтобы Евлалия Григорьевна подождала. Но в 9 часов отпустила ее:

— Идите уж, коли так! И не сходите с ума-то там, ради Бога! Дайте, вот я вас благословлю, голубенькая вы моя...

— И Шурик... Посмотрите за Шуриком!

В НКВД ее долго не пускали, спрашивали, кого ей надо и зачем, а она помнила только, что в повестке была 27-ая комната, фамилию же Воронченко она забыла. Наконец, ее пропустили. Воронченко встретил ее хмуро, даже озлобленно и сразу начал кричать:

— Кто? Володеев? Я вызывал? Вчера? Никого я не вызывал, путаете вы, гражданка!

Потом вспомнил, нахмурился еще больше и вызвал Золотухина. Золотухин принял ее очень вежливо, с притворным участием, и сказал, что он, действительно, вызывал вчера к себе «гражданина Володеева по одному пустячному делу», но что тот ушел «приблизительно, в начале второго».

— Так что же? — волновалась Евлалия Григорьевна. — Где же он?

— Возможно, что по дороге домой с ним произошел какой-нибудь несчастный случай, — подсказал Золотухин. — Обратитесь в милицию.

В милиции Евлалия Григорьевна тоже не могла сразу попасть туда, куда нужно, и ее всё отсылали из комнаты в комнату. В конце концов, какой-то дежурный сжалился над нею, стал телефонировать то туда, то сюда и, наконец, что-то узнал. Евлалия Григорьевна не слышала того, что ему сказали в трубку, но по тому, как он нахмурился и замигал глазами, поняла, что случилось что-то страшное.

— Что? Что? — вся холодея, спросила она, когда дежурный повесил трубку на аппарат.

— Поезжайте в анатомический театр! — уклончиво ответил дежурный, хватаясь за папку с бумагами и притворяясь, будто ему некогда долго разговаривать. — Там вам скажут.

В анатомическом театре ее встретили внимательно, участливо и даже тепло. Она не знала, кто был тот высокий, худой и белобрысый, в белом халате, совсем еще молодой, но он говорил с нею, как брат. Он так осторожно, так бережно и так мягко сказал ей все, что она, хотя обомлела и затрепетала, но овладела собою. И он ни за что не пустил ее в мертвецкую «посмотреть на папу»: она не знала, а он знал, что только постороннему и, к тому же, привычному человеку с крепкими нервами можно было смотреть на ту бесформенную и безобразную груду раздавленного и разорванного мяса, которая была свалена на оцинкованном столе.

— Вы потом, потом посмóтрите! Не сейчас! — мягко, но настойчиво уверял он. — Сейчас нельзя, мы еще не все сделали, что надо.

А когда Евлалия Григорьевна, пришибленная и оглушенная, встала, чтобы уходить, он в нерешительности заколебался.

— Дойдете одна-то? — почти робко спросил он. — Может, проводить вас ?

И, не дожидаясь ответа, крикнул в соседнюю комнату.

— Женечка! Идите сюда!

Вошла молодая девушка, тоже в белом халате. Он засуетился.

— Вы, Женечка, побудьте тут за меня, а я скоро вернусь. Надо!

— Но я сама... Я сама дойду! — тут только спохватилась и запротестовала Евлалия Григорьевна.

— Ну вот... Что мне, трудно, что ли?..

По дороге он все уверял ее, что это «хотя, конечно, и трагедия, но, все-таки, это только несчастный случай и не более того!» И по его словам, а, главное, по тону, выходило так, будто от того, что это «только несчастный случай», а не что-нибудь другое, от этого ужас совсем уж не так и велик. И этот странный довод действовал на Евлалию Григорьевну, и ей даже становилось легче оттого, что это только несчастный случай.

В квартире, конечно, сразу же все и обо всём узнали. Сталпливались в комнате Евлалии Григорьевны, сокрушенно качали головой, некоторые даже утирали слезы и все пробовали утешать Евлалию Григорьевну. А между собою судачили шопотком и высказывали ненужные соображения. А одна из соседок, уходя в свою комнату, тихо сказала мужу:

— Теперь Шептарева только с мальчиком осталась, а комната у них большая, такую на двоих не оставят... Поговори с управдомом, пусть он Шептареву в нашу комнату переселит, а нас — в ее!

— Да, это идея! — согласился ее муж. — Завтра же поговорю. Но ведь управдому сунуть надо будет.

На другой день приходили из милиции, о чем-то спрашивали, что-то записывали. Софья Дмитриевна поймала следователя в коридоре и остановила его:

— И что оно такое, скажите мне на милость? Как же это вышло?

— А кто ж его знает! — пожал плечом следователь. — Кто говорит, что он поскользнулся и упал, а кто говорит, что сам нарочно бросился.

— Да с чего ж ему бросаться-то было? И не с чего, кажется!..

— А этого я уж не знаю.

Часов в 5 приехал Семенов. Евлалия Григорьевна и вообще почти забыла в последнее время о нем, а в нервном беспамятстве вчерашнего и сегодняшнего дня она ни разу не вспомнила о нем. И когда она увидела его, то почувствовала, что не хочет сейчас видеть этого человека, что ей говорить с ним тяжело. Он, как всегда, властно, твердо и грузно, прошел по коридору в ее комнату, сам отодвинул стул от стола и сел, не дожидаясь приглашения.

— Знаю! — коротко сказал он. — Мне сегодня передали. Тяжело вам? Понимаю!

Евлалия Григорьевна ничуть не изумилась тому, что Семенов обо всем уже знает, и что ему «передали»: Семенов для нее был именно тем, кто должен все знать, и которому должны обо всем докладывать.

— Понимаю! — повторил он, но ни тени тепла или участия не было у него в голосе, а была только деловитость и озабоченность. — В милиции еще не всё знают! — сообщил он. — Факт известен, а причины и обстоятельства не выяснены. У вас из милиции были?

— Да, днем. Я все боюсь, Павел Петрович...

— Чего?

— Что это с ним в НКВД. Ведь его перед этим в НКВД вызывали и, может быть...

— Кто вызывал? Зачем? — вскинулся Семенов, и глаза его стали острыми.

— Я не знаю. Повестку прислали, чтобы пришел.

— Какую повестку? Когда прислали? — напористо спросил он.

— Вчера... То-есть, позавчера! Ему прислали повестку, он и пошел. Я жду его, а его все нет. И уж утром... вчера...

— Погодите! — остановил ее Семенов. — Это надо в точности разобрать. Кто прислал повестку?

— Не знаю. Вызывали в 27-ую комнату.

— В 27-ую? И он ходил туда?

— Да, ходил.

— Кто вам сказал? Вы сами наводили справки? Сами там были?

— Да, сама. Молодой человек, вежливый такой.

— Вежливый? Все они там вежливые! Ладно, выясню! А если и не выясню, то тоже ничего страшного нет. Самоубийство или несчастный случай, не все ли равно!

— Как — все равно? — нервно вскинулась Евлалия Григорьевна. — Ведь если это самоубийство, так ведь это же — я! Я!

— Что — вы?

— Я! — зазвенел голос у Евлалии Григорьевны. — Он... Вы тогда все про него рассказали мне, и все это, конечно, правда, но... Но он, когда оттуда вернулся, был такой несчастный, что... Мне надо было пожалеть его, уберечь, а я...

— Пожалеть? Уберечь? — сорвалось у Семенова. — А вас-то берегут? жалеют?

— Меня вы жалеете! — искренно призналась Евлалия Григорьевна.

— Я? — потупился Семенов, и страшная боль отразилась на его лице. — Я не жалею, я... другое!

Он опустил голову. Просидел так с полминуты, обдумывая свою глухую мысль и преодолевая что-то

упорное. А потом (преодолел?) поднял голову и сказал другим голосом:

— Я вам вот что скажу, голубенькая вы этакая: если вы даже и виновны перед ним в чем-нибудь, так даже и тогда вы ни в чем не виновны, вот оно как!

— Я не понимаю! — всматриваясь и вслушиваясь, сказала Евлалия Григорьевна. — Не виновна, даже если и виновна? Разве может быть так?

Он отмахнулся: переменил и позу и тон.

— Вы, стало быть, теперь одни остались. Оно и хорошо, и... нехорошо оно. Ну, сынишка, конечно, и старушка вот эта ваша чудесная... Софья Дмитриевна, кажись? А еще есть ли кто с вами и около вас? Посильнее, чем старый и малый, есть ли? Никого нет?

— Никого! — грустно созналась Евлалия Григорьевна.

Семенов задумался, перебирая пальцами.

— И до чего же мне странно смотреть на вас, если бы вы знали! — тихо, словно для себя, сказал он. — И как это вы в наше время образоваться такой могли? В революцию вы еще совсем девочкой были, и вырастали вы, стало быть, уж после революции: военный коммунизм, НЭП, коллективизация, две пятилетки... И ничего этого ни в вас, ни на вас нету, словно ничего для вас и не было. Чудно́! И какая же вы такая вышли, если вас по косточкам разобрать? Сил у вас нет, воли нет, зубов и клыков нет, понимания жизни нет и... и хороших людей возле вас нет! Погибать вам надо, одно только это и остается. А ведь не погибнете вы! Это я изо всех моих сил понимаю и знаю: не погибнете. Все может погибнуть, а вы — нет. И надо вас сберечь, обязательно надо. Для чего это надо, не знаю и знать даже не хочу, а... надо! Я большевик, я ничего не жалею, — очень сильно добавил он, — я разрушений не боюсь. Весь мир перевернуть, всю жизнь перестроить, все старое в огне попалить, — это я могу. Это — я! А вот вас-то... вот такую, как вы... Вас и для новой жизни сохранить

надо, потому что всякая новая жизнь без вас в тартарары провалится. А кто вы такая, не разберу я. Голубенькая вы, правда это, но... Но что такое — голубенькая?

Евлалия Григорьевна не понимала того, что он говорит, хотя и старалась не упустить ни слова. А Семенов вдруг оборвал, встал со стула и улыбнулся какой-то виноватой улыбкой.

— Ведь вот... находит на меня иногда чепуха всякая! — махнул он рукой. — Вы уж не слушайте, не обращайте внимания. Но только... Еще два слова. Никому не скажу их, а вам скажу: правду-то надо уметь видеть. Мы ведь — как? Найдем свиной хвостик и сразу балдеем от радости: «Я правду нашел! Я правду нашел!» Вот потому-то вас и сохранить надо, что, может быть, вся правда наша совсем не правда, а свиной хвостик. А у вас...

Он круто повернулся, подошел к вешалке, оделся и взял в руку кепку.

— Тут, конечно, по всему дому буза теперь пойдет! — сказал он совершенно деловым тоном. — Потому что комната, можно сказать, освободилась, а желающих — вагон! Так вы об этом не беспокойтесь и даже внимания не обращайте. Я поговорю там, — неопределенно, как всегда, мотнул он куда-то головой, — и там вашему управдому два слова скажут. Шелковый будет, не беспокойтесь. А мне уж пора. Поеду. До свиданья.

— Как вы... — благодарственно улыбнулась Евлалия Григорьевна. — Как вы обо всем подумали!

— О чем же это? — спросил Семенов, с удовольствием глядя на ее улыбку.

— А вот даже о комнате... Чтобы комнату у меня не отобрали.

— А, об этом! Об этом я подумал, да! А почему? Потому что это — вздор, свиной хвостик. И мы, как я по жизни нашей вижу, мы о вздоре всегда думаем, и мы его всегда загодя предвидим, потому что забо-

тимся о нем, дорог он нам. Большой ли вздор, маленький ли, все равно: комната, скажем, или план третьей пятилетки. А если что — не вздор, так вот о том-то мы и думать не хотим, потому что не умеем мы о «невздоре»-то думать. Нечем нам о нем думать! Нечем! А потому этот самый «невздор» мимо и проходит: мимо нас и мимо нашей жизни.

— Какой «невздор»? — уловив что-то значительное и близкое ей, спросила Евлалия Григорьевна.

— А этого я не знаю! — откровенно и искренно сознался Семенов. — Знаю, что есть «невздор», должен он быть, не может его не быть, а в чем он, — не знаю. И я, стало быть... Я... Пойду! — сдвинулся он с места. — А отца-то, говорите, в 27-ую вызывали? Ладно, разузнаю! Выясню!

Он повернулся и пошел. И странным образом его голова втиснулась в плечи, а шаги были не властные, а глухие и тяжелые.

ГЛАВА XVII

В начале декабря Любкина вызвали в Москву. Он пробыл там неожиданно долго, две недели, и вернулся 19 числа. Все предполагали, что он с собою «что-то привез», и немного насторожились, ожидая новостей, в которых, конечно, ничего приятного быть не могло. Но Любкин по приезеде не только не собрал совещания начальников отделов, но даже не приказал им явиться с докладом. Повидался с ними только по-обычному и делами поинтересовался поверхностно, вскользь.

— Все у тебя в порядке?

— Пожаловаться не могу...

— Вопросы ко мне имеешь?

— Да нет, все как будто бы ясно.

— Ну, и ладно. Подробности потом расскажешь.

По управлению тотчас же пополз слух, что «дело неладно», что «похоже на то, что наша Любка отстав-

лена». Никто ничего не знал, но что-то как бы чувствовалось, а поэтому все насторожились.

Супрунов, окончив официальную часть своего доклада, спросил, понизив голос:

— Есть что-нибудь?

Любкин ответил пристальным взглядом и, помедлив несколько секунд, сказал:

— Очень даже есть.

— Чрезвычайное?

— Вполне чрезвычайное. Не вообще, конечно, а для меня чрезвычайное. Личное.

— Мне сказать можешь?

— Тебе-то? А как же иначе? Я только того и жду, чтобы тебе сказать и с тобой потолковать. Но только здесь, на перепутье, об этом говорить нельзя, а надо говорить толком и... и под водку об этом говорить хорошо. Ты на сегодняшний вечер можешь освободиться?

— Часов с десяти?

— Можно и с десяти. И мы с тобой так сделаем: поедем в «Театральный» и там в отдельной комнатке посидим. И будет у нас там с тобой вполне веселый разговор. Идет?

— Отчего же...

Новость, которую Любкин привез с собой из Москвы, была, действительно, очень важная для него: он получал тайное и чрезвычайно ответственное назначение в Афганистан. Он, правда, ожидал другого: он думал, что ему поручат некоторую задачу в Румынии, о чем с ним говорили с полгода назад. Назначение в Афганистан было для него неожиданностью, но никакими неожиданностями он никогда не смущался, а всегда в таких случаях «брал быка за рога». Дело было очень большое. За время своего пребывания в Москве он, конечно, еще не успел изучить его во всем объеме и во всей глубине, но хорошо понимал, насколько оно сложно и трудно. Кроме того, оно было опасно, но об опасности он совершенно искренно не

думал. Озабочивало его другое: «Тонкое оно, шут его дери, дело-то это!» А оно, действительно, было тонкое. В этом деле был завязан узел сложной восточной политики: проникновение в Индию и создание угрозы для Англии. Надо было установить связь с индийскими коммунистами, перебрасывать им литературу, оружие, деньги и инструкторов и организовывать повстанческие отряды. Главное же, надо было вести двойную игру с индийскими националистами, одной рукой поддерживая национальное движение, а другой направляя его в сторону интересов коммунистической революции. «Доброму вору все впору! — рассуждали с Любкиным в Москве. — А националистами и сам Бог велит воспользоваться. Скрутить-то их потом никакого труда не составит, а пока что — пускай с нами в одном дышле идут!»

Трудность и опасность была в том, что задачу надо было выполнять не дома, а в чужой стране, правительство которой не доверяло ни одному советскому гражданину и тщательно следило за каждым из них. Маска представителя Внешторга, под именем которого должен был ехать Любкин, никого, конечно, обмануть не могла, и он понимал, как ему будет трудно выполнить задачу.

А кроме того, надо было все время считаться с настороженной и умной бдительностью англичан.

— Трудновато! — поеживался Любкин.

— Да ты разве не чекист? — подзадоривали его. — Ты разве в Монголии не почище дела делал?

— Я-то чекист, и в Монголии я дела делал, но... Англичанка, она ведь дошлая, ее на кривой не объедешь. Мудрено оно!

— Отказываешься, что ли?

— Не умею я отказываться, когда партия велит.

Но кроме деловых и технических трудностей, Любкина озабочивало еще и другое, чего он никому не говорил, но при мысли о чем губы его крепко сжимались, а взгляд вцеплялся в одну точку. Он угрю-

мо обдумывал про себя что-то, а потом, ни до чего не додумавшись, шумно вздыхал: ничего, дескать, не поделаешь! Эти мысли, видимо, удручали и тяготили его, но он следил за собой и молчал.

Ему предложили выбрать себе помощника, и тут произошло немного странное. Сначала он, даже не подумавши, назвал Супрунова, но против Супрунова слегка запротестовали: ему наметили передать управление. Но дня через два Любкин вдруг объявил, что Супрунова, действительно, надо оставить в управлении («Больше не на кого же передать!»), а своим помощником он попросил назначить Чичагина. Этому удивились: Чичагин был хороший работник и для этого дела вполне подходящий, но в наркомате знали, что между Любкиным и Чичагиным есть какие-то старые, очень тяжелые, счеты, и что Любкин откровенно не любит Чичагина.

— А ты сработаешься с ним? — осторожно спросили его.

— Нас с ним дело сработает! — хмуро ответил Любкин. — Ты не смотри, что я с ним на ножах, я с этим в деле не считаюсь, а объективно я вполне сознаю: он парень подходящий, и лучше его подыскать, действительно, трудно.

В основном, все было договорено: Любкин, не дожидаясь назначения, возвращается домой и подготовляет сдачу управления Супрунову.

Вечером, как условились, Любкин и Супрунов поехали в «Театралный» и заняли там большой отдельный кабинет. Прислуживать им отрядили старого Сергея Федоровича, который когда-то работал «у самого Кюба». Этот Сергей Федорович чинно и даже немного строго остановился в ожидающей позе, смотря на Любкина. Любкин живо повернулся к нему.

— У меня, товарищ дорогой, сегодня фантазии нету, а ты, коли хочешь другом быть, сам все сообрази, что получше. Еды давай поменьше да повкуснее, а питейного волоки больше. Скажешь Зажишину, что-

бы отпустил из того запаса, который, стало быть, не для всякой хари предназначен. Я сегодня, скажешь ему, без удержу хочу.

— Вполне понимаю.

— Ну, и соображай. Погоди! Принеси-ка сначала нарзанчику.

Он сел с Супруновым на диван и стал вполголоса рассказывать ему про свое новое назначение. Супрунов слушал очень внимательно, напряженно, но и хмуро. Время от времени, прерывал каким-нибудь дельным вопросом и, получив ответ, продолжал слушать, крепко сжимая пальцами серебряный портсигар. Иногда он поднимал глаза и всматривался в Любкина, а иногда он опускал их, чтобы слушать внимательнее. За все время рассказа он ничем не выразил своего мнения, но Любкин видел, что он чем-то недоволен и чего-то не одобряет.

— Ну, вот, стало быть, и все! — закончил Любкин и с полминуты помолчал. — Что скажешь? — подтолкнул он Супрунова.

Супрунов ответил не сразу. Медленно раскрыл свой портсигар, достал папиросу и, внимательно присматриваясь к пламени спички, закурил, пыхнув два раза.

— Большому кораблю большое и плавание! — с еле заметной усмешкой выговорил он.

Любкин поморщился.

— Ты это брось. Ты дело говори.

— А ты чего ж дела-то не говоришь? — резко повернулся к нему Супрунов. — Все сказал, а о главном умолчал! Или, думал, я не замечу?

— Я... Я ничего не умолчал! — насупился Любкин.

— Ничего? Хорошо! А почему это ты меня с собой не берешь? — сразу что-то открывая вопросом, спросил Супрунов.

Любкин притворился непонимающим.

— Я ж тебе сказал: управление ж!

— Управление? — нехорошо усмехнулся Супру-

нов. — А если это управление после твоего отъезда к чортовой бабушке полетит, так ты... что ж? Плакать от этого в Афганистане будешь?

— Не плакать, а... а...

Супрунов резко встал. Привычным, машинальным жестом оправил на себе пояс и, красиво держа папиросу между пальцев, строго посмотрел на Любкина.

— Коли говорить, Ефрем, так уж все говорить, до конца!

— Это ты правильно! — глухо согласился Любкин.

— Спасти меня хочешь?

— Спа... Спасти? Как — спасти? — очень неудачно притворился Любкин.

Но вошел Сергей Федорович и еще два официанта. Они стали накрывать на стол, откупоривать бутылки и устанавливать посуду. Потом вкатили столик с закусками. Сергей Федорович понимающим взглядом осмотрел стол и сделал пригласительный жест: милости-де просим.

Любкин засопел, уперся руками в колени и грузно поднялся. Сели за стол и налили по стопке водки.

— Чокнемся, Павлуша! А что ты это самое слово, «спасти», сказал, так это ты правильно, конечно... Спасти не спасти, а в яму мне тебя за собой тянуть нечего. Но сначала давай выпьем!

— Будь здоров!

— Постараюсь!

Супрунов пил, скрывая мрачную озлобленность, которая все больше нарастала в нем после рассказа Любкина, а Любкин пил с какой-то решительностью, словно хотел что-то залить и с чем-то покончить. Выпив, он морщился, крутил головой и крякал, а Супрунов холодно и четко вливал в себя водку.

— Ты говоришь «спасти»! — вернулся к делу Любкин. — Неправильное это слово, но... пусть так! Коли мне погибать надо, так тебе же зачем? А из Афганистана, брат, не вылезти! Никак!

— Никак! — твердо подтвердил Супрунов и поджал губы.

— Тут, Павлуша, как с Иваном Царевичем в сказке: направо поедешь — коня потеряешь, налево поедешь — сам убит будешь, а прямо ехать — дороги нет. Так? Если я это самое афганистанское дело плохо вести буду, так меня либо афганистанские парни сами на мушку возьмут, либо наши в Москву отзовут и там к стенке поставят за провал ответственного задания.

— Конечно, поставят. Но ты не провалишь. Справишься.

— Допустим. Но если я...

Он оглянулся, понизил голос и придвинулся к Супрунову.

— Ведь если я это дело хорошо проведу и до нужной точки его доведу, то ведь после окончания меня, все-таки, на Лубянке к стенке поставят.

— Непременно поставят! — уверенно подтвердил Супрунов.

— Потому что мне для этого дела ба-альшие секреты открыты будут. Международные секреты! А поэтому меня по окончании и ликвидируют: важных свидетелей оставлять нельзя.

— Их и не оставляют. Примеров — сколько хочешь. В Москве-то ведь ни одному человеку не верят и каждого боятся.

— Еще как боятся! Вот и выходит: каюк!

— И отказаться нельзя.

— Отказаться никак нельзя. Если откажешься, тогда сразу крышка: отказываться не позволяют. Вот и выходит: плохо дело сделаешь, чужую или свою пулю получишь; хорошо его сделаешь, как опасного свидетеля ликвиднут; а коли откажешься, сразу крышка. Я ж тебе говорю, оно совсем, как с Иваном Царевичем в сказке.

Он ковырнул вилкой в тарелке и поспешно потащил себе что-то в рот.

— Я это сразу и не раскумекал было, — проглотил он кусок, — и сперва даже попросил, чтобы и тебя со мной послали, а потом огляделся и... Батюшки-светушки! В самую, значит, пропасть меня бросают! Та-ак! Шел, шел да и дошел... Точка! Ну и, стало быть, зачем же мне с собой еще и тебя тащить? За то, что ты тогда с шестнадцатью ребятами на Омельяновский хутор открытой атакой пошел, чтобы меня из плена у белых выручить? За это, я так понимаю, другой монетой надо платить, а не... афганистанской! Нечего тебе со мной туда ехать, поживи еще! А я, — вдруг фыркнул он и почти весело заблистал глазами, — я себе в помощники, знаешь, кого выбрал? Петьку Чичагина, сволочь эту!

— Зачем?

— А затем, что — сволочь! Мразь такая, что хуже его я никого и не видал, кажись. Так пускай уж лучше его шлепают, а не тебя. А он, понимаешь ты, как ему про назначение сказали, ничего не расчухал, а нос кверху задрал: высшее доверие! высокое полномочие! Бал-лды кусок!.. А через годик или через два ему — «пожалуйте бриться!» Я давно хотел его в чем-нибудь под монастырь подвести, да он мне никак в руки не давался, а теперь — в самый раз! А тебя я отвел... Тебя к стенке тащить не стану.

— Ну, и что же?

— Ничего! — пожал плечом Супрунов. — Ты, конечно, правильно поступаешь, но надо ведь и выход искать.

— Выход? — прищурился Любкин. — Выхода, брат, нету: ни направо, ни налево, ни прямо. Зря и искать-то! И... и... И чего это меня сегодня водка плохо разбирает? Давай, участим!

— Давай!

Любкин выпил стопку, подцепил на вилку кусочек семги и проглотил его, не разжевывая, а только пососав языком. Потом отодвинул от себя тарелку, расчистил место на столе, смахнув ладонью крошки

со скатерти, поставил локти на стол и подпер голову руками.

— Что-то нехорошо во мне! — покрутил он головой. — Мысли всякие, понимаешь ты!.. И такое мне кажется, будто... В городе у нас жителей тысяч до пятисот будет, и все они Ефрема Любкина боятся! Все они, взять вот хоть и сейчас ночью, от страха перед Любкиным трясутся, а я... я, может быть, этого самого Любкина больше их боюсь! Любкина боюсь! Вот!

Вошел Сергей Федорович. Очень ловко и быстро он навел на столе порядок, забрал грязную посуду, поставил чистую, принес горячую закуску и критически оглядел стол.

— В порядке!

Есть ничуть не хотелось, но из-под крышек кастрюлек и от никелированныых сковородочек шел приятный пар. Супрунов потянул к себе одну из сковородочек, заглянул и положил ложкой в тарелку.

— Что там такое? — недовольным тоном спросил Любкин.

— Не знаю.

— Как же так? Ешь и не знаешь...

— А тебе не все равно?

Любкин подумал.

— Нет, не все равно! — с хмельным упорством настоял он на своем. — Каждая вещь свое имя должно иметь... название! А если ты не знаешь, как оно называется, так... так его и есть-то не вкусно!

— Разве?

— Рыба, что ли?

— Нет, почки... Суперфляй а-ля-пардон! усмехнулся Супрунов.

— А! Суперфляй! — бледно обрадовался, словно узнал это название Любкин. — С почками? Ну, коли так, то положи и мне.

Ели вяло, а больше пробовали. И пили уж не так часто и настойчиво. Любкин снял с себя пояс, пере-

кинул его через спинку стула и расстегнул воротник. Супрунов же ничего не снимал, а, наоборот, время от времени проверял движением пальцев застегнутые пуговицы или поправлял перекосившийся рукав. Он сосредоточенно смотрел перед собою, обдумывая что-то и поглаживая себе подбородок. Потом огляделся быстрой, привычной оглядкой и очень тихо, но очень твердо, без тени колебания, сказал, глядя Любкину прямо в глаза:

— А ты в Афганистане не дури! Ты подожди там, сколько надо будет, а потом, как осмотришься, — беги!

Любкин словно бы протрезвел сразу. Он широко открыл глаза и посмотрел на Супрунова так, как будто хотел проверить: ослышался он, услышав «беги», или же Супрунов и в самом деле сказал это странное слово. Оно ударило его, и он ни за что на свете не признался бы даже самому себе, что он и сам уже не раз тайно говорил это слово: и там, в Москве, и по дороге — в вагоне. Он говорил его, но тотчас же прогонял его и убегал от него, не останавливаясь около него ни на минуту.

— Так ведь это ж... измена! — с повышенным, а поэтому и немного фальшивым возмущением нашел он, чем отбиться от слова «беги». Но — странное дело — не только возмущения не почувствовал он в себе, но не почувствовал ни убежденности, ни решимости. Даже словно вопрос, даже словно просьба о чем-то прозвучала в его голосе, когда он сказал «измена».

Супрунов дернул углами рта. На одну секунду, на полсекунды даже, откровенная презрительная гримаса пробежала по нем, но тут же потухла. Он пожал плечами с видом превосходства того человека, который все понимает и все понимать умеет.

— Ты дураком никогда не был! — однотонно ответил он, но в этой однотонности была большая, скрытая значительность. — Зачем же теперь дураком быть?

— Дураком? — внезапно вспылил Любкин и что есть силы ударил кулаком по столу, так что тарелки вздрогнули, а стопочка упала. — Это ты... что ж такое? Что ты этим сказать хочешь? — с напористой расстановкой спросил он.

Супрунов опять улыбнулся с откровенной презрительностью, не пряча своих глаз от воспаленного взгляда Любкина.

— А ты подумай! Ты проверь! — спокойно сказал он.

— Нечего проверять: проверено! — запальчиво возразил Любкин. — Я ведь в партии с 20-го года! — подчеркивая и тоном и миной каждое слово, добавил он. — А с партией я даже и с 17-го!

Он сказал и посмотрел на Супрунова. Ему казалось (он был даже уверен), что после того, как он сказал, что он «с партией с 17-го года», никакое «беги» уже невозможно. Но Супрунов с несомненно обидным сожалением дернул плечом и бросил в ответ очень легко, с той легкостью, которая, сама по себе, должна убедить больше, чем смысл слов.

— Ты-то с партией с 17-го года... Так! Не спорю! А партия-то была ли с тобой хоть один день?

Если бы от Любкина потребовали объяснить этот вопрос Супрунова, он не смог бы его объяснить. Но, несмотря на это (а, может быть, благодаря этому?), он понял весь вопрос целиком, сразу, во всех частях и со всей значимостью. Была ли партия с ним? А была ли партия хоть с кем-нибудь?

— Наша партия, — ничуть не боясь своих слов, уверенно продолжал Супрунов, зубами заставляя вздрагивать свою папиросу, — коммунистическая партия, — повторил он так небрежно, как будто говорил о ничтожестве, — это осел. Что положишь в мешки, то и везет. Куда погонишь, туда и идет. Она сейчас идет за Сталиным, спора нет, а ты думаешь, что она не пошла бы за Троцким, если б тогда чуть иначе стояли пешки на доске? Или ты считаешь, что это

она, действительно, идет за Сталиным, а не «ее идут» за Сталиным?

— И... стало быть? — слегка приподнялся Любкин, готовый тут же рухнуть. — Стало быть... А кто ж «ее идет»? Кто мешки-то на осла кладет? — с внезапной силой выкрикнул он, приковываясь к холодным и твердым глазам Супрунова. — Ослом-то кто правит? Кто?

— Большевики! — совершенно спокойно ответил Супрунов и ткнул докуренную папиросу в недоеденный соус на тарелке. — И вот они-то, а совсем не партия, посылают тебя в Афганистан: завези-ка туда мешки и сдохни! Почему — «сдохни»? Потому что они большевики. И ты сам — большевик. Ты сам всегда делал то же самое. Ведь мы с тобой еще совсем недавно Варискина и Яхонтова убили. Забыл? А потому я тебе и говорю: беги!

Любкин опустился на стул. Он не только все понимал, но понимал с тем большей ясностью, что ни одно слово Супрунова не было для него новым. Каждое слово уже давно было в нем самом.

— Ты вот говоришь, — не меняя ни вида, ни позы, ни тона, размеренно продолжал Супрунов, — что тебе невкусно есть, если ты не знаешь, как оно называется. Смешно мне это слышать, чтоб ты знал! «Называется!» — слегка фыркнул он. — Чорт вас знает, зачем это вам обязательно название нужно! — дернул он плечом, не объясняя, о ком это о «вас» говорит он. — А чуть только я тебе какой-то дурацкий суперфляй назвал, так ты и попробовать захотел: вкусноде!.. Так я тебе, если ты хочешь, и если тебе это непременно надо, сколько угодно суперфляев назову: «коммунизм», «советская власть», «социалистическое строительство»... мало тебе? Могу и еще: Маркс, Ленин, Сталин. Еще мало? Так я могу и еще суперфляй назвать: «коммунистическая партия». Самый что ни на есть суперфляйный суперфляй! Мы с тобой в 18-ом году за коммунизм кровь проливали и умереть гото-

вы были, а ведь коммунизма-то и нет! Не в СССР его нет, про СССР и говорить нечего, а вообще его нет! Вообще! Суперфляй для дураков есть, а коммунизма нет и быть не может, потому что борьба не за коммунизм идет, а за то — кто наверху? у кого вожжи в руках? — властно и даже грозно выпрямился Супрунов. — Только в вожжах дело, Ефрем, только во власти дело, а совсем не в Марксе-Ленине! Что тебе нужно: суперфляй или вожжи? Коммунист ты или большевик? Сможешь ты, ради вожжей, эту самую коммунистическую партию к стене поставить и сам ей пулю в затылок всадить?

— Я большевик! — уверенно и гордо сказал Любкин.

— Так на чорта ж ты Любкина боишься? Что ж ты мне про какую-то идиотскую измену талдычишь? — откровенно рассердился Супрунов, и Любкин почувствовал себя в чем-то виноватым. — Большевик, Ефрем, это прямая линия. Совсем прямая! Большевик и сам к суперфляю не пойдет, и суперфляя в себя не пустит. Большевик — это если человек в себе, из себя и для себя. Только в себе и больше ни в ком. А главное, ни в чем. И все, что большевик делает, он из себя делает, а не из суперфляев. Полная свобода, совершенная свобода, от всего свобода: только в себе, только из себя и только для себя. Ничего другого: ни Бога ,ни человека, ни закона. Ни одного суперфляя! А ты говоришь — «измена». Кому измена? Суперфляю?

— Та-а-ак! — очень длинно протянул Любкин. — Пожалуй, оно и так: в себе, из себя и для себя. Свобода! Ото всего свобода! Но только...

Он прерывисто, немного судорожно, вздохнул (похоже, как бы всхлипнул), обтер ладонью слегка опьяневшее лицо и докончил — не то с сомнением, не то с тоской в голосе:

— Но только, как его этой свободы достигнуть?

Как его ото всего освободиться? Чтобы, действительно, уж без Бога, без человека и без закона быть?

Супрунов молчал. Любкин сидел, грузно опустившись на стуле всем своим захмелевшим телом. Просидел так с минуту и медленно ,настойчиво, с усилием покрутил головой, как будто хотел что-то выжать из нее. А потом через силу сказал, и видно было, что ему трудно говорить это:

— Это дело такое... «Беги»-то... Его ой-ой как тонко продумать надо!

И, поняв, что этим бессвязным ответом он высказал свое согласие, он живо встрепенулся.

— Но ведь опять же... — почти испуганным голосом добавил он. — Но ведь опять же получается — ненастоящее! «Измена» — суперфляй! Так! Согласен! Вполне! А «беги»-то — разве настоящее? А большевизм-то разве настоящее? А вдруг и большевизм — суперфляй?

И почти страстно добавил, вскидывая обе руки кверху:

— Так где же настоящее? Настоящее-то где же, Павлуша, скажи мне, сделай милость! В чем оно?

ГЛАВА XVIII

На другой день, когда Любкин проснулся, он сквозь мутную тяжесть давящего похмелья вспомнил «беги», но не повторил своего вчерашнего возражения («Измена!»), а пробурчал про себя иное:

— Суперфляй, мать его за ногу!..

Он целый день старался заниматься делом, подготовляясь к сдаче управления, но все время упорно понимал, что он только притворяется, что никакого дела он сейчас делать не может, что он не владеет мыслями, а, наоборот, мысли владеют им. Он все взваливал на похмелье, а поэтому попробовал было «поправиться»: выпил водки и с жадностью съел, по своей старой манере, несколько соленых огурцов. Но этим

он ничего не поправил, а все оставался таким же: озлобленным и угнетенным.

До разговора с Супруновым его угнетало только то, что он «попал в переплет», и что он стоит перед несомненной смертельной опасностью. Но после разговора источник угнетенности переместился, и он думал уже не об опасности, а о том, что он «не на том конце вожжей»: не он правит, а им правят. И он возмущался, ощущая вожжи, которыми им правят. «Я же большевик!» Крутая злоба охватывала его, и он через каждое слово сыпал крутой руганью. Он глубоко и несомненно чувствовал себя большевиком, а поэтому ему казалось недопустимым, что большевизм уничтожит его, большевика. В этом была для него какая-то чудовищная неувязка, адская ложь и гибель несомненного. «Да неужто большевизму так уж ничего не нужно, что ему даже большевики не нужны?»

Еще не решив, что он «убежит», он уже набрасывал примерные штрихи побега. «Денег-то будет много, а паспорт сварганить — плевое дело! И границу перейти там легче легкого, конечно. Все это пустяки, тут зацепки ни в чем не будет... И хорошо, что позади меня никого не остается: бобыль. Если бы, скажем, семья, так не очень повертелся бы. Ну, и бабы со мной нету!» И тотчас же вспомнил Елену Дмитриевну.

Он вспомнил ее без напряжения, но и без сожаления. Чуть только он понял, что решение им уже принято, как почувствовал себя свободным от всего и, уж конечно, от Елены Дмитриевны. «Не с собой же тащить! — усмехнулся он. — Наделал бы делов, если б и ее с собой потащил!» Будущее (он очень хорошо понимал это) должно быть совершенно освобождено от прошлого: «Совсем новый человек должен быть там, а уж ни в чем не Любкин!» — думал он, и вот этого-то нового человека и страшился он больше всего. Если же Елена Дмитриевна будет с ним, то — «какой же новый человек может быть? Тех же щей да пожи-

же влей!» Елена Дмитриевна мешала бы ему одним своим присутствием, но главное было не в ее присутствии, а в том, что она была «отсюда», и при ней он не сможет стать иным, новым. «Нет, уж если заново, так... заново!» — ударял он ребром ладони по краю стола. И он начинал думать о том, сможет ли он стать новым. «Каким это новым? Это, значит, перестать большевиком быть? Перестать по-большевистски думать и по большевистски чувствовать? Да как же это может быть? Нутро разве можно переделать?» — путаясь в мыслях, спрашивал он себя и не находил ответа, а поэтому и метался в мучительной тяготе.

К вечеру тягота усилилась. Когда в кабинете стало совсем темно, он не зажег огня: свет мешал бы ему. Он все сидел, грузно втиснувшись всем телом в мягкое кресло, и думал, перебегая с одной мысли на другую. Их было много, этих мыслей, и каждая была важна и значительна. Но самой важной и значительной была мысль о «новом Любкине». Он понимал, что в новой жизни старого Любкина быть не может, но может ли он стать новым, этого он не знал. «Убежать-то можно, но вот от себя убежишь ли? А если я такой, то что же я там делать буду, как жить буду?» Эта мысль растравляла его все больше и больше, нарастала в давящий ком и, усилившись до предела, обожгла его: «А бежать-то, выходит, нельзя, потому что бежать-то, выходит, не с чем!»

Его «беги» опрокидывало и убивало само себя: если он убежит, то он своим бегством уничтожит в себе большевика, а тогда в нем не останется ничего, потому что в нем, кроме большевика, ничего нет. Жизнь же «без ничего» казалась невозможной: «Разве же такое может быть?» Не позволяя себе думать слово «человек», заранее готовый издеваться над этим словом и топтать его ногами, он воровато, украдкой, вскользь, на одну только секундочку, позволял себе вопрос: «А человеком-то разве я не могу быть? Не большевиком, а вот просто — человеком? Как все!»

И в те секундочки, когда он позволял себе этот вопрос, возможность быть «просто человеком» казалась ему счастьем, но секундочка проходила, и он наполнялся мутным и тяжелым, т.к. понимал и видел: он не такой, «как все», он чем-то и в чём-то другой, а поэтому быть «просто человеком» он никак не сможет: убежав от большевика, он все же останется большевиком, а поэтому бегство невозможно. «Большевику без большевизма — это ж все равно, что рыбе без воды. И ежели за карасем даже сто щук погонятся, так он от них на берег бежать не станет, а все в воде трепыхаться будет, хоть и знает, что в воде ему — смерть! А как же это я без большевистской воды жить смогу? Как все живут? Да ведь я же — не «все», я же — другой, я — большевик!» Он метался, не видя ни выхода, ни решения.

Наконец, он не вытерпел, вызвал к себе Супрунова и опять поехал с ним в «Театральный». А там, еще не выпив ни капли водки, сразу пришел в смятение, стал бегать по кабинету и несвязно выбрасывать обрывки мыслей. Он подскакивал к Супрунову, хватал его за плечи, тряс, что есть силы, и говорил что-то странное, дикое, несуразное. Супрунов сначала пытался понять его, но увидел, что понять его невозможно, что Любкин «не в себе». А Любкин то уверял в чем-то, то проклинал, то грозил. «Ненастоящее» бессвязно сменялось ругательствами, ругательства переходили в неожиданные обличения, а после обличений он кричал, что бежать он не может и не хочет.

— Ведь оно непутево! Ведь оно совсем непутево выходит! — захлебывался он словами. — Ведь если я не убегу, чтобы большевиком остаться, так я здесь человеком не смогу быть! А если я, скажем, убегу, чтобы, все-таки, человеком стать, так я ж тогда не смогу большевиком оставаться, а... а куда ж я в себе большевика дену? Ты не смотри так, ты не смотри, Павлуша! Меня глазами-то не запугаешь! Ты думаешь, что человек, это — тьфу! что человека-то, может быть,

и нет совсем? А человек... Это, брат... Он.. Вот и выходит, что убежать мне некуда, совсем некуда! А в «некуда» разве возможно убежать?

Супрунов пробовал остановить его, но не смог и замолчал, а только следил за ним. Он знал, что иногда (очень редко, один раз в 3-4 года) на Любкина что-то «находит», и он тогда становится как бы невменяемым. Тогда (это лучше всего) его надо как можно скорее напоить, чтобы он заснул пьяным, мрачным сном, а потом, протрезвившись, обо всем забыл. И Супрунов начал настойчиво подливать Любкину стопку за стопкой, а тот судорожно хватал и, захлебываясь, жадно выпивал, ничего не разбирая и приходя в беспамятство. Очень скоро он совсем напился, окончательно потерял себя и исступленно кричал:

— Настоящее! Где оно, настоящее-то?

Сорвал с себя гимнастерку, разорвал рубаху, опрокинул стол и, распахнув окно, вставленное на зиму, вопил в ночную тьму:

— Граждане! Настоящее-то укра-али! Бе-е-ей!

Супрунов и не пробовал справиться с ним, а только сидел и наблюдал: спокойно и выдержанно, как знающий врач, следящий за проявлением болезни. Когда же Любкин, окончательно напившись, рухнул на диван, не то убитый алкоголем, не то сваленный отчаянием, он распорядился уложить его и не беспокоить, но «присматривать». А сам уехал.

— В случае чего, телефонируйте мне на квартиру. Хоть и буду спать, все равно — разбудите. Приеду.

Но ни телефонировать, ни будить не надо было. Любкин спал не просыпаясь, лежал мертвым телом на диване и хрипло дышал, словно сопел тяжело и страшно.

Проснулся он часов в 11. Открыв глаза, долго оглядывался, с трудом ворочал мысли и смутно припоминал минувшую ночь. Оглядывался по сторонам, стараясь сообразить и понять. Потом вспомнил и что

есть силы выругался. Встал застывшими и онемевшими ногами с дивана, прошелся несколько раз по комнате, заглянул в окно и почувствовал, что ему безмерно тягостно, а главное, ему все противно. Он вызвал дежурного официанта и, словно сердясь на него, приказал принести нарзану. Выпил несколько бутылок, мрачно привел себя в порядок, очень тщательно умылся, хмуро «поправился» водкой и огурцом, вызвал свой автомобиль и поехал к Елене Дмитриевне.

Он поехал, не предупредив ее о том, что едет: просто не подумал о том, что следует предупредить. По приезде из Москвы, он еще не успел дать ей знать, что приехал: оба эти дня было не до того. «Да когда ж это я приехал? — тупо соображал он, потеряв представление о времени. — Неужто позавчера только?» Ему казалось, что он приехал уже давно, чуть ли не неделю, и все не верил сам себе. Строго говоря, ему совсем не так уж и нужно было восстановить время, но тревожное нетерпение охватило его, и он тронул шофера за плечо.

— Сегодня какое у нас число? А?

— 21-ое! — полуоборотился к нему шофер, косым взглядом следя за дорогой.

— Гм! Это, стало быть, я только позавчера из Москвы приехал?

— Позавчера.

— Ишь ты!..

Он не давал себе ясного отчета, зачем он едет к Елене Дмитриевне. Была только смутная мысль — «надо и там все ликвидировать», но мысль пробегала неясно, без готовых решений и с почти неосознанным смыслом. «Скажу, что уезжаю и... все!»

Выпитая вчера водка, пьяное безумие и ночное беспамятство отняли у него стойкость и крепость: он стал податлив. Он стал податлив и мыслями, которые налетали своевольно, и чувствами, которые своевольно же охватывали его. Он то вскидывался, то ослабе-

вал, обессиленный. И все ему казалось противным, таким противным, что нельзя было даже и понять, как можно хотеть чего-нибудь, если все так противно, и если ни в чем и нигде нет «настоящего».

ГЛАВА XIX

Елена Дмитриевна не ждала его. Но по первому взгляду поняла и то, что он приехал «нехороший», и то, что ей надо обрадоваться его приезду. Эту радость она разыграла неловко, скомканно и сбивчиво, так что Любкин заметил и покосился: «Какая-то она такая... Радуется, словно и не рада совсем!» То прежнее, что приходило в него, когда он приезжал к Елене Дмитриевне за ее «люблю», не то отошло куда-то, не то было чем-то придавлено. Все было смутно, тягостно и, главное, противно.

Он довольно небрежно ответил на ее поцелуй, скинул с себя шинель, сильно и тяжело помогая себе плечами, не повесил шинель на вешалку, а бросил на стул и, крупно шагая, прошел в комнату.

— Жива? — бросил он, поворачиваясь к ней. — Давно не видел. Ну, как дела?

Он с размаху сел на диван, вытянул по полу ноги и посмотрел на Елену Дмитриевну.

— А я ночью здорово выпил! — признался он. — Буйственно!

— Оно и видно! — улыбнулась Елена Дмитриевна.

— О? Видно?

— Поправиться хочешь?

— Да я уж поправлялся. Хотя... водка есть?

Он, не вставая с дивана (тяжело было вставать), выпил, с секунду подумал и протянул руку со стопкой.

— Налей-ка еще!

Выпил вторую, очень откровенно и некрасиво икнул и сунул Елене Дмитриевне пустую стопку. А по-

том сел глубоко, с силой потер ладонями щеки и подвинулся немного в сторону.

— Садись! — пригласил он. — Серьезный разговор есть.

— Серьезный? — улыбнулась Елена Дмитриевна, скрывая этой улыбкой сразу вспыхнувшую настороженность. — Ничего страшного? — пошутила она и села рядом с ним.

— Страшного? Страшное только для зайцев бывает. Дело не в том, что страшное, а в том, что у меня изменение большое.

— Большое?

— Уезжаю я. Далеко. И насовсем.

Внутри Елены Дмитриевны что-то ёкнуло, и ее настороженность напряглась еще больше. «Вот оно! — подумала она, и ее зрачки немного расширились. — Значит, вот сейчас все и решится!»

— Куда? — неосторожно спросила она, но тут же спохватилась. — Ты прости, прости! Это я нечаянно! — ласково положила она ему руку на плечо. — Это как-то само вырвалось у меня, а я ведь знаю, что об этом нельзя спрашивать.

— Нет, отчего же... Секрета нету. В Афганистан еду.

— В Афганистан?

Название прозвучало неожиданно. Елена Дмитриевна напряглась, чтобы вспомнить поточнее. «Афганистан... Памир... Это где-то в Азии. Или это часть Индии? Англичане?» Она быстро-быстро соображала, пряча не только свои соображения, но и то, что она напряженно соображает.

Но соображать, т.е. разумно обдумывать, взвешивать и решать, она не могла: ее охватило почти истерическое нетерпение. Тот «сезон на Ривьере», который был для нее и всеохватывающим символом и реальной целью, вдруг показался ей и достижимым и близким. «Вот оно... Пришло!» Для нее пришло то,

ради чего она пустила Любкина к себе. Белая яхта на голубых волнах почти явственно проплыла перед ее глазами, и эта яхта плыла в мир. Если бы тогда, на грязной Караваевке, под холодным ветром и противным дождем, она перенеслась бы в залу, где нежные скрипки пели моцартовский концерт, она не была бы так взволнована, как сейчас, когда чуть не воочию увидела белую яхту на голубых волнах, которая под золотым солнцем плыла в мир.

Все напряглось в Елене Дмитриевне, все сжалось в ней в одну точку, и эта точка стала ею самою. Остатками еще не помутненного рассудка она понимала, что наступили решающие секунды: или Любкин, плененный ее «люблю», возьмет ее и отвезет с собою в тот мир, о котором с дрожью думала она столько лет, или... или... Что — или? Чрезмерным напряжением воли она скрывала свое волнение и свое нетерпение, но ноздри дрожали, и грудь дышала нервно, толчками. «Афганистан? Не Румыния? — страшно торопясь пыталась сообразить она. — Все равно, все равно! А он, дурак, не знал, как это я убегу так, что никто и не подумает, будто это я бегу!» Она чувствовала, что ее щеки стали горячими, но Любкин этого не видел: он все смотрел мимо нее. Это ее облегчало. Ей было трудно, очень трудно притворяться, она дышала уже чересчур глубоко и прерывисто, а глаза ее бегали, и она не могла сделать их обычными.

— Значит, насовсем? — стараясь говорить спокойно, спросила она, но не смогла справиться с собою так, как следовало бы справиться, и в голосе ее прозвучали посторонние, ненужные, нотки.

Любкин услышал эти нотки и, искоса взглянув быстрым взглядом, увидел ее глаза. И почувствовал, что с нею «что-то не то».

— Афганистан? Ведь это что-то экзотическое, да? — неловко играя в безразличие, спросила Елена Дмитриевна.

— Какое? — не понял Любкин.

— Экзотическое...

— И слова-то такого не слыхал! — напряженно улыбнулся он. — Азиатский он, Афганистан этот самый. Интересного мало.

— Как сказать... Все интересно!

— Это, конечно!

Нетерпение неудержимо нарастало в Елене Дмитриевне, и если бы она в эту минуту могла быть внимательной к себе, она увидела бы, что это нетерпение овладевает ею и подчиняет ее. Ни спокойных мыслей, ни спокойных рассуждений уже не было и в помине, а в голове стучало только одно: «Вот! Вот! Добьюсь!»

— Скоро едешь? — спросила она, и голос ее споткнулся о фальшивую интонацию.

— Отсюда-то скоро, а в Афганистан этот самый еще не знаю, когда попаду. В Москве поторчать придется.

Елена Дмитриевна через какую-то муть неясно понимала, что ей, вероятно, надо сказать или спросить что-нибудь осторожное и подготавливающее, так как торопиться и начинать все решать еще рано, еще нельзя, но нетерпение так властно охватило ее, что она не сдержалась и прорвалась коротким, сильным вопросом:

— А я?

И тут же почувствовала, что это — ошибка, что спрашивать так прямо было нельзя, а главное, надо было лучше подготовить Любкина к этому вопросу. Она поняла, что сделала промах, и от этого злоба сразу прилила к ней. Она кое-как сдержала ее, замерла в ожидании ответа, но глаза ее сделались острыми и хищными.

Любкин молчал, не смотрел на нее и даже не шевелился.

— А я? — еще раз переспросила Елена Дмитри-

евна, явно задыхаясь: «Будь, что будет!» — Ведь я люблю тебя! — добавила она, не понимая, надо ли добавлять эти слова.

Но она добавила их, и добавила так фальшиво и ненужно, что Любкин с тяжелой пытливостью посмотрел прямо на нее. Он уловил фальшь, задержал свой взгляд на ее глазах немного дольше, чем сам хотел этого, и дольше, чем Елена Дмитриевна могла бы вынести.

— Мне тебя брать с собой никак не рука! — с усилием, словно бы нехотя, но без тени нерешительности и колебания, ответил он. — Не такое оно дело, афганистанское-то...

В Елене Дмитриевне что-то оборвалось.

— Значит... — еще больше напряглась она и, кажется, хотела что-то добавить, но удержалась.

Она знала: то, что будет сейчас, вот в эту самую минуту и никак не позже, решит собою все. Она или вырвется из этой жизни, или останется в ней навсегда. Что надо сделать, чтобы Любкин сказал — «Ты поедешь со мною»? Что для этого надо сделать? Сейчас же, сию же секунду, сделать! Заплакать перед ним? Упасть перед ним на колени и умолять? Приказать ему?

— Но я же люблю тебя! — повторила она, но слова прозвучали так, что она сразу почувствовала: их не надо было говорить, а если и говорить, то не так, не так! Злоба еще сильнее охватила ее.

Любкин еще больше сдвинул брови, но ничего не ответил.

— Значит, мне... конец? — глухо спросила она.

Он грузно повернулся, так что пружина звякнула под ним.

— Чего ж «конец»? — не спеша ответил он, ничуть (по видимости) не тяготясь своим ответом. — Твоя жизнь еще впереди. Проживешь.

— Но я же... я же... я люблю тебя! — все на-

стойчивее повторяла она эти слова, чуть ли не в бессилии цепляясь за них и не находя других слов.

Он не поднял головы, а только покачал ею.

— Ни к чему это теперь! — очень невыразительно сказал он.

Злоба вспыхнула сильнее, и Елену Дмитриевну охватило негодование. Она даже не почувствовала, что негодование еще надо прятать, что еще надо говорить в другом тоне, что, может быть, именно в другом тоне еще можно договориться и сделать так, как ей нужно, обязательно нужно, до «жизнь или смерть» нужно. Но негодование охватило ее чересчур сильно, а сердце неудержимо и своевольно забилось. Она откинула голову чуть назад и, вздрагивая губами, приковалась остановившимся взглядом к какой-то точке.

— Ни к чему это? Один поедешь? — не справляясь со своим прерывистым дыханием, срываясь с голоса, спросила она. И в голосе послышался вызов.

— Выходит, что один! — однозвучно ответил Любкин, еще не замечая (на самом деле или умышленно?) того, что с нею делается. — Этот Афганистан... Это дело большое! — словно поясняя, добавил он.

— А я? — с совсем открытым вызовом бросила Елена Дмитриевна. — А я — что ж? Я — дело маленькое? Меня — бросаешь?

— Ты тут оставайся или... Я уж не знаю! Подумай, как лучше. Если что надо сделать тебе, сделаю.

— «Подумай»? Это, конечно... Это, конечно, очень просто и легко: «подумай!» — подгоняло ее негодование, которого она уже не могла ни остановить, ни скрыть. Да она и не останавливала его и не скрывала, а, наоборот, словно завороженная пропастью, бросалась в нее, полная озлобления. — Я, конечно, подумаю... Я... — совсем уж нехорошим голосом, ядовито, сказала она. — Да, я подумаю! Но

ты-то? Ты-то! — резко кинула она ему, — ты-то и подумать обо мне не хочешь?

Ее щеки пылали, и голос звенел.

— У меня свои думы есть.

— Свои? Ах, так!.. Свои! И ты...

Дыхание не слушалось, и она захлебывалась. Любкин поднял глаза и тут увидал ее всю. Злобная ненависть исказила ее лицо, а в глазах горели нехорошие огни. Он даже немного отшатнулся от нее, увидев в уголках ее рта мелкие, прыгающие пузырьки слюны. «Да что ж оно такое?» — пронеслось в нем, сильно ударив его. И по его глазам, по его тону Елена Дмитриевна увидела, что он ее понял: понял то ненавистное и злое, что охватило ее и что показало ему ее такой, какой она была. И оттого, что она так ненужно, так сразу, так нерассчетливо разоблачила себя перед ним, она сотряслась, готовая и плюнуть и бросить непоправимое слово.

«Стерва!» — мелькнуло у Любкина, и он сказал вслух это слово:

— Стерва!

Елена Дмитриевна вскочила с дивана, совсем не помня себя. Ее искаженное лицо исказилось еще больше, и руки начали дергаться в странной дрожи. Злобная ненависть охватила ее всю, охватила так, что удержать эту злобную ненависть уже было нельзя. Она не думала ни о чем, она не могла думать даже о том, что надо еще попробавать все изменить, спасти и сделать по-своему. Страсть охватила ее: броситься на него, за что-то отомстить, чем-то оскорбить, над чем-то надругаться. Вцепиться острыми ногтями, рвать лицо и плевать в глаза.

— Стерва? — задыхаясь, откинулась она всем телом, готовая наброситься. — Я — стерва? А ты думал, кто я? Ты думал, что я тебя люблю? Дурак! Разве тебя можно любить? У тебя руки в крови, у тебя душа в крови! Палач! Чекист! Палач! Я — стерва!

Мне одно надо было, мне одно только надо было — вырваться отсюда, из вашей подлой страны палачей и идиотов! В Румынию. Неужели ты и в самом деле поверил, будто я люблю тебя? Хам! Раб! Раб рабов! Ты даже на любовь мою не поддался, даже любовь тебе не дорога! Бросаешь?

— Не... Не... Не любила? — хриплым шопотом спросил Любкин, впиваясь в нее расширенными глазами. Только это одно услышал он, только это одно и понял. Все остальное проносилось мимо него, не доходя до сознания и ничем не трогая ни одного его чувства. Но то, что она не любила, то, что ее «люблю» было тоже проклятым «ненастоящим», ударом сразило его. Он до неуклюжести грузно поднялся с дивана, встал против Елены Дмитриевны, несколько секунд вглядывался ей в глаза, а потом цепким рывком схватил ее руки и сильно дернул их книзу, словно хотел повалить ее на пол. Она качнулась, но устояла на ногах.

— А ты верил? А ты верил? — издевалась она, охваченная злобой бессилия, и с наглым вызовом не прятала своих глаз. — Неужели ты верил? Идиот! Дурак! Мне одно было нужно: уйти на свободу! Ты понимаешь, что такое свобода? Ты можешь ее понять своей душонкой? Раб! Большевик!

Он не выпускал ее рук, а, судорожно сжав их пальцами, больно крутил их, скручивая все сильнее. Она извивалась, уступая его силе, не чувствуя боли, сопротивлялась только инстинктом. Смотрела ему прямо в глаза, задыхалась и бросала злобные слова.

— Я не боюсь тебя! Я ненавижу тебя! Ты мерзок! Мерзок! Разве ты человек? Разве ты собака? Собаку можно любить, но тебя любить нельзя! Ты понимаешь это? Нельзя! Ты должен, должен понять это! Нельзя! Нельзя! Нельзя! Я хочу, чтобы ты понял это: тебя любить нельзя!

Он крутил ее руки, сам не зная, что крутит их, и

все не отрывался от ее ненавидящего взгляда, как будто упиваясь им.

— Не любила? Не любила?

— Чекист! Ты убьешь меня теперь? Убивай! Как я рада, что могу плюнуть на тебя! Как я рада, что могу сказать тебе все! Если не свобода, то... то...

Она изо всех сил рванула руки, вырвала их и, не то спотыкаясь, не то падая на каждом шаге, отбежала в сторону. Остановилась, перевела дыхание открытым ртом, вся дрожа и дергаясь. Ей нехватало воздуха, и она так открыла рот, натянув губы, что Любкин увидел, как зубы блеснули у ней: хищно, но бессильно.

— Что ж... Убить... — тяжело дыша, тупо и глухо сказал он. — Только это теперь и остается. Что ж еще?

И вдруг он нашел слово. То слово, которое выражало для него все: и бесконечную ненависть к ней, и полноту этой минуты, и всю ее, и всего его. Захлебываясь от этого слова, с великой болью понимая его, охватывая им все, что только мог охватить он, он медленно, раздельно, полновесно выговорил его по складам:

— Не-на-сто-ящая ты!

И чуть только выговорил, понял, что уйти, оставив ее тут, он уже не может. «Ненастоящая!» Если бы он мог, он обрушил бы на все ненастоящее и свою былую силу, и самого себя, и миллионы человеческих жизней. Но он уже знал, непоколебимо знал, что настоящего нет нигде, что оно уничтожено ненастоящим. Он, не глядя, а только нащупывая пальцами, рывком отстегнул кобуру.

Елена Дмитриевна, ни на волос не сходя с места, пошатнулась всем телом. Она поняла его движение, и ненависть вспыхнула в ней с такой силой, какой может достигать только ненависть.

— Убьешь? — срываясь с голоса, крикнула она. — Убей! Гад!

Любкин вынул револьвер. И сразу же леденящий страх сковал Елену Дмитриевну. Она видела, как рука с револьвером поднимается (очень медленно — показалось ей), как дуло направляется прямо на нее, как Любкин делает к ней шаг. Она вскрикнула несильным, коротким вскриком, в котором не было ни одного человеческого звука, и бегом метнулась в спальню. Любкин, твердо и крепко ступая (она слышала за собой его шаги), тяжело, но уверенно шел за нею. Она подбежала к кровати, остановилась спиной к ней и протянула руки ладонями вперед, как бы отталкивая, не пуская и умоляя. Любкин близко подошел к ней и сильно толкнул ее левой рукой в грудь. Она, подогнув колени, упала на спину поперек кровати и успела простонать коротким, мучительным стоном. Любкин поднял руку и, впиваясь в нее прикованным взглядом, выстрелил ей в левый висок. Потом отошел на шаг назад, посмотрел, постоял секунды две, аккуратно засунул револьвер в кобуру и попробовал застегнуть на кобуре застежку, но не сладил. Повернулся, не спеша прошел через комнату, вошел в переднюю, надел шинель и фуражку, постоял в каком-то раздумье, а потом отворил дверь и вышел на лестницу.

«Не думал я, что оно вот так вот выйдет!» — очень медленно подумал он и захлопнул за собой дверь.

Вероятно, в соседней квартире слышали и крики и звук выстрела. Дверь оттуда осторожно приоткрылась на ширину ладони, и через нее выглянула на площадку какая-то пожилая женщина. Любкин успел заметить, что лицо у нее испуганное, а глаза бегают по его лицу и по рукам.

— Потом узнаете! — досадливо махнул он на нее рукой. — Уходите!

Она его, конечно, узнала (в доме все его знали), испугалась еще больше и поспешно захлопнула дверь. Любкин не спеша, а очень деловито и задумчиво, спустился по лестнице и сел в дожидавшийся автомобиль.

— В управление! — приказал он шоферу.

«Автомобиль-то настоящий ли? — со странным чувством, похожим на испуг, думал он. — Улица-то настоящая ли? Как же жить, как же жить теперь?» Он сидел прямо, нахмурив брови, вцепившись пальцами в колени, но это была не неподвижность воли, а неподвижность столбняка. «Ненастоящее» так плотно охватило его, что он не мог понять, он ли сам сидит и мучится, мучится ли он, и есть ли вообще мука. «Все, все ненастоящее! Теперь уж без ошибки вижу: все! И почему это мы всё потеряли? Что такое мы потеряли? А вот это самое: различать не умеем. Различение-то потеряли. Варискин-то... — вдруг вспомнил он. — Сам выдумал, сам и поверил. Ну, и я тоже: все выдумал, и сам всему поверил. Большевизм... Ха! Я в него поверил, а он совсем, совсем ненастоящий! Да неужто есть еще такие, которые ничего не выдумывают, а... а... а настоящим живут?» Он резко, судорожно глянул в окно, потом перекинулся и глянул в противоположное. Отвратительная слабость охватила его всего, и он почувствовал даже тошноту от этой слабости. Отчетливость мыслей исчезла, и только старое ненавистное впилось ему и в мозг и в сердце. Не замечая того, что он стонет, он застонал сквозь сжатые зубы. Неудержимым порывом, страстно и больно, он рванулся душой к ясному и светлому, никак не зная, что же ясное и светлое есть вообще, и что же ясное и светлое может быть для него. Но страсть и боль нарастали, а сквозь них, неведомым ветерком, непонятным дыханием, дошло до него и прикоснулось к сердцу что-то тихое, теплое и задушевное. Ласковое, как материнская улыбка, простое и бесхитростное, как детство, по-

нятное и доверчивое, как просьба ребенка, подошло к нему, стало нежно гладить его и говорить ему простые слова, мудрые своей простотой. В его душу все еще смотрела мучительная тоска, но его губы уже перестали кривиться. Он словно увидел кого-то, словно улыбнулся кому-то и словно бы к кому-то потянулся.

Автомобиль въезжал в улицу Розы Люксембург. И тут Любкин встрепенулся. Сорвавшись, он поднялся с сиденья и схватил шофера сзади за плечи.

— Не надо, Вася, в управление! — радостно крикнул он. — К чорту!

Шофер выключил газ, надавил ногой на тормоз и полуобернулся.

— Куда ж ехать-то? — спросил он. — Назад, что ли?

— Не назад, а... а...

Он как-то несмело, словно стыдясь чего-то, вполголоса сказал шоферу адрес, счастливо рассмеялся, не удержав этого смеха, и облегченно упал на мягкую подушку сиденья.

— Живо, Вася! Лупи по всем, по трем!

И опять рассмеялся: радостно и просветленно.

ГЛАВА XX

После смерти и похорон Григория Михайловича прошел месяц. В первые дни Евлалия Григорьевна ходила в страшном и большом сомнении: самоубийство или несчастный случай? Она боялась признаться себе в том, что Григорий Михайлович сам покончил с собой: если б дело было именно так, то в его смерти она считала бы себя виновной. В чем была ее вина, и в чем могла быть ее вина, она понимала смутно, да совсем и не старалась понять, а просто чувствовала, что она «что-то наделала». Софье Дмитриевне она обо всем этом не говорила, но та видела, что она мучится и объясняла это себе по-своему.

Потом Евлалии Григорьевне пришлось сходить в местпром, и ее там опять охватили неприветливые, отчужденные взгляды, с нею опять говорили сухим, холодным голосом и от нее враждебно отгораживались.

И в ней возникло непонятное ощущение: ей начало казаться, будто в том, что ее «в местпроме не любят», в этом как-то и чем-то виноват Семенов. Она пыталась разубедить себя: «Но ведь он же ничего, кроме хорошего, не делает мне!» Но когда она говорила себе эти слова, в ней возникало непонятное, но и несомненное: все плохое происходит с нею оттого, что именно Семенов делает ей хорошее. Это был, конечно, нелепый абсурд, но он ей ничуть не казался абсурдом, потому что она улавливала тайную логику: плохое происходит оттого, что хорошее делает Семенов, именно он.

А потом случилось внезапное.

Она не знала, что в ночь на 17 декабря у двух машинисток в местпроме случилось великое горе: у одной «взяли» мужа и старшего сына, а у другой — отца и брата. Она не знала и всего того, что истерически озлобленно стали говорить о ней на другой день в бюро, как приписывали ей все эти аресты и с каким страстным бессилием проклинали ее. А 20-го она получила по городской почте безымянное письмо.

Письмо было написано на машинке. Если бы Евлалия Григорьевна могла спокойно, вдумчиво и усердно изучить его, она хоть отчасти поняла бы, откуда пришло оно. Письмо было сумбурное, даже бессвязное, прыгающее с мысли на мысль, с обвинения на обвинение, и было оно так полно ненависти, что становилось ясно: его писал человек с окровавленным сердцем, потерявший и рассудок и понятие о справедливости. Кроме того, не могло не броситься в глаза и другое: его, казалось, писал мужчина («я видел», «я понял»), но в двух местах был недосмотр и прорыв: «когда я пришла» и — «я разгадала

вас». Евлалия Григорьевна всего этого, конечно, не заметила. Она сразу даже не поняла и содержания письма, но затрепетала оттого, что оно дохнуло на нее неудержимым, озлобленным, обезумевшим ядом ненависти и отчаяния.

Письмо было длинное, на трех страницах. Сначала в нем издевательски писали о том, что «все знают, как вы торгуете вашими прелестями», и что «чем скромнее вы пытаетесь себя держать, тем противнее знать, что вы услаждаете собой начальническую тушу». Было видно, что когда автор писал об этом, он изо всех сил старался укусить как можно больнее, запачкать как можно грязнее и высказать презрение как можно обиднее. Он нигде не употреблял грубых заборных слов, но не трудно было видеть, что он еле удерживается от них, потому что именно ими можно и надо говорить об Евлалии Григорьевне.

Потом автор перешел к главному: Евлалия Григорьевна — сексот. «Можете поздравить себя, ваши обнаженные прелести и ваши бесстыдные старания дали вам возможность занять это почетное место!» Вероятно, особое озлобление охватило автора в этом месте: неудержимо и страстно он стал обвинять Евлалию Григорьевну в том, что она не только «идет навстречу мужским требованиям наших палачей», но «угождает им и чужими жизнями»: с затуманенным ненавистью пылом автор обвинял ее в аресте многих служащих местпрома, в ее «подлом шпионстве», в ее бездушном предательстве» и прямо сказал, что «мужа своего вы, конечно, сами выдали (все это знают! все!), чтобы быть свободной для подлостей». И кончал автор бессильными, но истошными проклятьями.

Евлалия Григорьевна дочитала письмо и с остановившимся сердцем опустила руку с листом бумаги. В первую секунду она вся замерла, но через секунду сердце стало стучать изо всех сил, в голове запылало, глаза расширились, и брови напряглись. Она не завопила, не закричала, но вцепилась зубами в сжа-

тый кулак и задрожала сильной, судорожной дрожью. И все стояла у стола, без единой мысли, оскорбленная и раздавленная.

Самое страшное из того, что было после, было то, что Евлалия Григорьевна сообразила: «Надо приготовить обед, нельзя же Шурику быть без обеда!» И она не только сообразила это, но даже и приготовила обед, даже не забыла помыть Шурику ручки перед едой. Покормила мальчика и, сдерживая себя, чтобы не начать метаться в тоске, сказала Софье Дмитриевне, что ей нездоровится, и попросила ее взять Шурика к себе.

— Я полежу немного! — слабо сказала она.

— Ложитесь, ложитесь, голубенькая! — сразу захлопотала Софья Дмитриевна, пристально вглядываясь в нее. — На вас и в самом деле лица нет. Простудились, что ли, не дай Бог?

— Нет... Да... Простудилась... — почти беззвучно ответила Евлалия Григорьевна.

Софья Дмитриевна увела Шурика к себе, а Евлалия Григорьевна легла на кровать. Декабрьские сумерки сгущались, обволакивая потолок и углы комнаты. Занавеска на окне была спущена, и окно сначала серело мутным полусветом, а потом начало затягиваться темнотой: грустно и покорно. Через двойную раму, уже замазанную на зиму, уличный шум проходил смутно, притушенно, да и шум-то был слабый: только звонок трамвая иногда врывался в комнату или обрывистый гудок автомобиля, похожий на сердитое кряканье, слышался снаружи. Все остальные звуки тонули в мягком снеге.

Недалеко от окна стоял уличный фонарь. Его не было видно, но свет от него, немного наискосок, падал через окно и светился на полу очень неясным, едва различимым силуэтом. Комната и все вещи в ней затянулись темнотой.

— Завтра? — громко спросил кто-то, проходя по коридору.

— Да, вероятно, завтра! — кто-то другой ответил ему.

«Завтра?» — безвольно подумала Евлалия Григорьевна, дивясь тому, что еще может быть какое-то «завтра». Перед всяким «завтра» опустился тяжелый черный занавес, и всякое «завтра» перестало существовать. Позади (кажется?) что-то было, но впереди не было ничего. До такой степени не было ничего, что не было даже и Шурика.

Смутно и обрывисто мелькали отдельные слова из письма, и каждое слово хлестало пощечиной. Евлалия Григорьевна, конечно, знала, наверное знала, что все слова письма — ложь, но все же эта ложь оскорбляла ее со всей силой оскорбления.

«Но Чубук? Чубук то ведь знает, что я не...» — с силой мелькнуло в уме Евлалии Григорьевны, и она схватилась было за «Чубук же знает», но тут же перед глазами проплыло подмигивающее лицо Чубука, лукавинка в глазах, нечистый смешок. И она поняла: «Это он думает, будто я... с Семеновым!» И застонала открытым ртом.

Когда Софья Дмитриевна, даже немного просрочив обычный час, в который Шурику надо было ложиться спать, привела его, она очень пытливо глянула.

— Нездоровится? — осторожно спросила она, стараясь незаметно что-то подсмотреть в лице Евлалии Григорьевны.

— Нет, ничего... Пустяки! — спокойно, но беззвучно ответила Евлалия Григорьевна, застилая Шурику кроватку.

Она накормила Шурика, уложила его спать и рассказала ему сказку про кота в сапогах: эту сказку Шурик требовал каждый вечер, ложась спать. И когда мальчик начал засыпать, она все сидела у его кро-

ватки (как всегда), ожидая, пока он крепко уснет. Сидела безо всякой мысли, словно боялась, что каждая мысль отпугнет сон от Шурика. Мальчик заснул, и она видела, что он уже заснул, но все сидела, не пуская мыслей к себе. Потом встала и начала приготовляться ко сну. И только тогда, когда совсем уж приготовилась, спохватилась: «Что же это я? Ведь только половина десятого!» Но тут же вяло отмахнулась: «Все равно!»

Она легла в постель, чтобы «все обдумать и решить». Но ничего обдумать она не могла, потому что ее сознание было придавлено ощущением: «Я погибла!» Эти слова были немного неестественны, в них было что-то фальшивое, книжное, но именно их повторяла себе Евлалия Григорьевна. Почему она погибла, она не знала, и обрывками думала только о том, что из местпрома теперь надо уйти, с Семеновым порвать и... «А что же будет дальше?»

Но главное в этом «я погибла» было не то, что надо оставить местпром и порвать с Семеновым, а то, что все смешалось в ней и в ее жизни. «Вадя сослан, папу убили, а меня скомкали»... Она не отдавала себе отчета в этом «скомкали», но чувствовала его с такой же несомненностью, как если бы ее задавило землей. «Почему все так вышло? Семенов? Да, конечно, он, но... Почему же он так сделал: хотел хорошо, а вышло так плохо... Это оттого, что он — такой? Какой — такой?»

Заснула она только под утро, а проснулась совсем рано, но встала не сразу, а все лежала и пыталась что-то сообразить. «Что я могу? — спрашивала она себя. — Я ведь ничего, ничего не могу!» Она чувствовала свое бессилие, но проснувшегося Шурика расцеловала, как всегда, с добрым утром поздравила его, как всегда, и, как всегда же, умыла его, дала ему позавтракать и снарядила во двор — «погулять с саночками». О вчерашнем письме она думала уже иначе: не с чувством оскорбления, а с горечью. И вдруг спохва-

тилась: «Надо еще раз прочитать это письмо! Обязательно надо!» Она бросилась к бюварчику, куда засунула его вчера, и по дороге успела спросить себя: «Надо ли?» — но не остановилась на этом вопросе, достала письмо, вынула его из конверта и даже успела развернуть лист бумаги.

В это время кто-то позвонил три раза.

ГЛАВА XXI

Евлалия Григорьевна бросила письмо на стол и пошла открывать дверь. «Кто бы это?» — спросила она себя, совершенно не думая о Семенове. Да и звонок этот был непохож на его обычный звонок. Раньше, когда Семенов приходил, Евлалия Григорьевна его звонок узнавала без ошибки: он был короткий, уверенный и четкий. Казалось, будто сама проволока, кнопка и даже электрический ток зависят от пальца его руки и подчиняются этому пальцу. Но сейчас звонок был совсем другой, и Евлалия Григорьевна не узнала его: что-то торопливое и срывающееся.

Когда она открыла дверь и увидела Семенова, она слегка даже отшатнулась. Не то ее поразило, что он почему-то был в военной форме (она в формах разбиралась очень плохо), а поразил ее его странный вид: он был словно бы пьяный, с каким-то не своим лицом и с горячечным взглядом. Он хрипло и бессвязно сказал ей что-то и, не поздоровавшись, как следует, быстро пошел по коридору в комнату. Сам отворил дверь, вошел и остановился как-то странно, остолбенело.

Евлалия Григорьевна тоже остановилась, но недоуменно, выжидая. Она смотрела на него, но не знала, что ей надо сейчас сказать. А Семенов, постояв с полминуты, повернулся, но вдруг спохватился и, вытянув руку, посмотрел на рукав шинели. Быстро стащил с головы форменную фуражку (он так и стоял

в ней), посмотрел и на фуражку, а потом сморщился: не то от боли, не то от досады.

— Эк я... Забыл! Даже и не подумал об этом, а вот так к вам и приехал. Узнали, стало быть? Поняли, стало быть?

— Что... узнала? — посмотрела на него Евлалия Григорьевна и немного застыла, предчувствуя, что сейчас что-то будет.

— Да вот — в форме я. В чекистской. Совсем из ума вон у меня это дело. И, стало быть, дурака валять теперь больше нечего! — с какой-то дикой решимостью поднял он голову. — Да и чорт с ним: одно к одному! Конец, стало быть, Семенову? Ну, и конец, все равно! Я ж вам говорю — одно к одному! Понимаете?

Но Евлалия Григорьевна ничего не понимала и даже боялась понимать. Он увидел это, криво усмехнулся и махнул рукой.

— Конец Семенову! Нет Семенова! Был, да весь вышел! Что смóтрите? Ведь никакого Семенова нет и не было, а по-настоящему-то я — Любкин! По на-сто-я-щему!.. Да разве ж по-настоящему? — широко раскрыл он глаза. — Неужто ж по-настоящему?

Он спросил сам себя и посмотрел на Евлалию Григорьевну тупо, тяжело, даже с некоторым страхом перед этим словом.

Евлалия Григорьевна поняла то, что он сказал, поняла и фамилию — Любкин, но она так сильно не понимала, чтó все это значит, что даже не испугалась. Хотела что-нибудь сказать, но слова не складывались.

— Ну, вот: Любкин я! Понимаете? А никакого Семенова нет и не было. Выдумка это, Семенов-то... Я его сам выдумал, и сам было в него поверил, а я — Любкин. И Семеновым я быть не могу... Никак!

Вероятно, его что-то поразило в этих словах: он прислушался к ним и, прислушавшись, понял их не только так, как сказал, но и по-иному.

— Не могу! — с болью выкрикнул он. — Может

быть, я и хотел бы быть Семеновым, а... не могу! Любкин я! И, стало быть, туда мне и дорога!

— Вы сейчас очень взволнованы, Павел Петрович! — осторожно сказала Евлалия Григорьевна, не зная: то ли она говорит, что нужно сказать?

— Я-то? Я сейчас очень даже взволнован! Весь взволнован!.. И я... я сяду. Можно?

— Ах, да садитесь же! Я и не вижу, что вы стоите.

— И я не вижу. Ну, да все равно! Сяду...

Он сел около стола, положил вдоль его правую руку и тяжело задумался. Евлалия Григорьевна не знала, что ей делать: молчала и только поглядывала на него, нерешительно и боязненно. В ней все было спутано сейчас. Что значит это все: Семенов, который оказался не Семеновым, а Любкиным, его несвязные речи, горячечные глаза и рвущийся голос? С замиранием сердца она ждала того, что будет, бессильная предотвратить или остановить. Она все не садилась, а стояла почти подле него, и видела, как напряжение на его лице усиливается, и как ему все труднее и труднее сдерживать то, что неудержимо рвется наружу. Даже посеревшие его губы слегка вздрагивали, а брови были словно сведены судорогой.

Не в силах выдержать своего и его напряжения, Евлалия Григорьевна очень мягко прикоснулась концами пальцев к рукаву его шинели. Знакомая ей жалость к тому, кому тяжело, охватила ее, и ей захотелось сказать ему что-нибудь. Но она не успела: лицо Любкина внезапно исказилось, и все усилие, которым он пытался сдержать себя, сразу исчезло, как будто его изнутри что-то пересилило. Он вскочил со стула, сильно и порывисто схватил Евлалию Григорьевну за плечи, потряс ими со всей силой и со всей же силой глянул ей в глаза.

— Сила-то... Есть в вас сила? Что за сила? На-

стоящая она? — негромким и придушенным криком выкрикнул он.

И опустил руки.

Не давая ей ответить ни слова, он стал говорить сам, потому что его прорвало.

— Я сейчас до точки дошел... Я сейчас, надо полагать, до самой точки дошел! — срываясь с голоса и размахивая руками, заторопился он, чуть не захлебываясь. — Что дальше будет, про то загадывать нечего, а вот сейчас... сейчас вот... Коли есть в вас сила, так дайте мне ее, поддержите, потому что я, кажется, в самую яму падаю!

— Вы у меня... У меня вы силы ищете? — не сдержалась и тоже выкрикнула Евлалия Григорьевна.

— Конечно, у вас! Именно только у вас! Где же у другого? У кого, у другого?

— Но почему же? Почему?

— Потому что вы — настоящая! Вот это самое слово вы поймите: настоящая! Хоть и ничего в вас нету, но все же самое настоящее оно! А мне, кроме как в настоящем, спасти себя негде!

— Вы...

— Я это сразу увидел, сразу же тогда увидел! — еще больше заторопился Любкин, быстро и горячечно выбрасывая слова. — Вот когда я вас машиной толкнул и на землю повалил... Помните? Пришел с вами сюда, вот в эту самую комнату, а вы... Смотрите только, а я и увидел! То-есть, ничего я тогда еще не увидел, совсем ничего еще не увидел, а... увидел! Вот, вот! Очень правильно я говорю: не увидел, а все же увидел! Потому что никак невозможно было это все не увидеть: и глаза у вас, и голос, и... все! Ну, я и спрятался за Семенова, потому что уж больно непосильно мне было около вас Любкиным быть... А потом и пуще того... Совсем уж пуще, потому что и понять даже нельзя, как это вышло, и как это все в одной точке сошлось. В одной точке! Как, спрашиваю, вас зовут? А вы — «Евлалия»! Я услышал, а

меня и ударило! «Да неужто ж Евлалия? — думаю. — Неужто у нее, у вас, то-есть, все одно к одному в точку сходится? Это, думаю, мне не зря выходит, это зря никак не может выйти, и обязательно мне надо за это самое зацепиться!» Потому что вот этого самого у меня ведь нет... Нет!

— Почему же? Я ничего не понимаю... Почему? — почти взмолилась Евлалия Григорьевна.

— Я же вам сказал: и глаза, и голос, и... вся вы! А к тому ж вы еще и Евлалия... Было, было такое! — замахал он руками, предупреждая недоуменный вопрос Евлалии Григорьевны. — Давно это было, я тогда еще совсем молодой был... И была у нас такая барышня, помещиков наших дочь. «Барышня Люся!» Но она не Люся, а ее тоже Евлалией звали! — с таким усилием сказал он, словно на гору взобрался. — И такое тогда было мое к ней чувство! И осталась она, значит, во мне... Ее, может, давно и в живых нет, а она вот живая где-то во мне сидит. Живая? А? Живая? — порывисто набросился он. — Может такое быть, чтобы то, чего не было, через всю жизнь прошло и помереть не померло? Может?

Он опять не дал ответить, ужасно торопясь и сбиваясь.

— Вот потому-то меня тогда и ударило: смотрю на вас, на Евлалию, а старое новым во мне вскидывается! Ну, и вскинулось! Я и подумал тогда: а, Может быть, Семенов-то... то-есть, я, стало быть... Может быть, и я... могу? Вообще-то я не могу, никак не могу, а вот здесь... у вас... У вас, может быть, могу?

— Что — могу? — чуть ли не с отчаянием не поняла Евлалия Григорьевна.

Любкин сдвинул брови в внезапной судороге. Вероятно, он хотел ответить на ее вопрос, и, вероятно, он знал, что́ надо на него ответить, и даже имел ответ, но ответить все же не мог: то ли слова нужного

не было, то ли что-то не позволяло ответить. А вместо ответа (или это и был его ответ?), он сказал неожиданное, немыслимое и невозможное. С большим трудом, но очень явственно, хотя и заикаясь, он сказал такое, чего никак не могло быть:

— Я... Я сейчас... То-есть, час тому назад... Я человека убил! Женщину... Вот!

И протянул свои руки, широко растопырив пальцы: этими руками, дескать.

Может быть, это и был ответ на вопрос: какое «могу» показалось ему, когда он впервые увидел Евлалию Григорьевну, когда он узнал, что ее зовут Евлалия, и когда он понял, что она — «настоящая». Может быть, это и был ответ на этот вопрос, потому что, если бы он умолчал об убийстве, то никакое «могу» не было бы для него возможным: он обманул бы и себя, и свое «могу», и порыв к «могу». И, уж конечно, он бы тогда не смог дойти до того, до чего изо всех сил хотел дойти.

Евлалия Григорьевна глянула и сразу поверила: это так, это именно вот так, как он говорит. И «убил» не в каком-нибудь другом смысле, не иносказательно и не переносно, а убил именно так, как убивают убийцы: с кровью. Евлалия Григорьевна побледнела, качнулась на месте и, не помня ничего, схватила его за ту руку, которой он убил, совсем не думая о том, что это — рука убийцы.

— Вы?..

— А ты не ужасайся, ты не ужасайся, милая твоя душа! — забормотал Любкин, блестя глазами. — Ты не ужасайся, потому что во мне и пострашнее есть! Разве ж это я ее одну только? И во всем этом страха для меня ничуть нет, и ты тоже не ужасайся, потому что страх совсем не в том! Во мне ж пострашнее есть! — замахал руками Любкин. — Я ведь сейчас какой? Я ведь сейчас на таком перепутье стою, что вот его-то страшнее и быть не может! И не в том мне страх, что я тоже на смерть иду, что меня на убой

посылают, а в том мне страх, что мне теперь никуда уйти не возможно, потому что уходить мне не с чем!.. В смерти страху нет, я в этом ни одной капелечкой не сомневаюсь! — ужасно торопился он, комкая слова и обрывая мысли. — Вот твой отец под поезд бросился, стало быть, не боялся же он смерти!.. И, стало быть, совсем не в смерти страх... Я ли убил, меня ли убьют, об этом говорить нечего, и я того не боюсь! А вот сейчас я боюсь! Я... я... Я сейчас до ужаса боюсь, до самого до последнего ужаса!

— Чего? — едва успела кинуть Евлалия Григорьевна.

Она слушала с великим напряжением, не пропуская не только ни одного слова, но и ни одной интонации, ни одного подергивания губой. Но она не знала ничего предыдущего, не знала ни жизни Любкина, ни его сомнений, ни его смятения. Поэтому она ничего не понимала разумом, но чем-то иным она понимала все основное: этот человек потерял под собою все и потерял сам себя. Слушая его, она мимолетным обрывком вспомнила свой вчерашний день, жестокое письмо и мучительную мысль о том, что она «погибла». И оттого, что Любкин бросал ей бессвязные, полубредовые слова, оттого, что он потерял себя, оттого, что он убил, Евлалия Григорьевна стала видеть (словно через мглу, словно в тумане), что она совсем не погибла, потому что подлинная гибель в том, от чего гибнет Любкин.

— Чего боюсь? Чего я боюсь? — срываясь с голоса и перекашиваясь ртом, переспросил (вскриком) Любкин. — А того я боюсь, что... что... Яма! — конвульсией выкрикнул он. — Есть ли я? Кто я такой? Я для него — (он не сказал, для кого: то ли не посмел, то ли и без слов понятно!) — я для него, можно сказать, всего себя отдал, и сам я им сделался, а теперь вижу: не туда зашел! В ненастоящее зашел! Все стояло крепко, до того крепко, что крепче и быть не может, а под крепким-то... под крепким-то

— одно ненастоящее! Вот! И выходит, что наша соль бельшевистская... несоленая она! — с мукой выкрикнул он. — А ведь я большевик! — со страшной силой убедительности выкрикнул он и стукнул себя кулаком в грудь. — Я большевик, а соль-то большевистская — несоленая! Конечно, — хватая воздух открытым ртом, бессвязно бросал он, — конечно, если кто-нибудь со стороны смотрит, так тому кажется, будто солонее большевиков никого и на свете нет, потому что мы ведем себя до невозможности крепко, как никто! Такое строим и такое делаем, чего никогда не бывало, чего никакой головой охватить невозможно. А я вот все это на поверку взял да в самую суть, в самую существенную суть заглянул. И вижу: делов много, а соли нет! Нету у нас соли! Соль-то, выходит, у вас осталась!

— У меня? — так сильно изумилась, что даже бледно улыбнулась Евлалия Григорьевна.

— У вас, у вас! У кого же еще? У вас да вот еще у этой старушки вашей, у Софьи Дмитриевны!.. У вас и у нее соль настоящая, крепкая, соленая... Она не рассолонеет! Смысла у вас, может, и нет, а соль... соль есть! И если таких, как вы, всех таких без остатка истребить, так тогда нигде уж соли не останется, и тогда все в трубу вылетит, к чертям собачьим! Погодите!.. — вдруг так сильно всколыхнулся он, что совсем уж даже громко крикнул. — Погодите! У вас Евангелие есть?

Это было совсем неожиданно. Это было до того неожиданно, что Евлалия Григорьевна не сразу поняла: что такое он спрашивает? А когда (через секунду) поняла, то ей показалось, будто что-то очень большое близко пододвинулось к ней, и она видит это большое. Но тут же сообразила, что Евангелия у нее нет, и от этого ей стало горько и обидно: за Любкина и за себя.

— Нету! — почти неслышно созналась она, опу-

ская глаза, как виноватая. — Нету у меня Евангелия...

— Там про соль есть! — глухо пояснил Любкин. — А что там такое про соль говорится, — забыл. Прочитать бы хотелось: то или не то? Неужто то? А если то, так ведь... так ведь от этого ошалеть надо! Как же оно так, как же? Вот то самое, вот это самое, и вдруг — в Евангелии! А где ж ты его достанешь, Евангелие-то? Мне один человек говорит: «В СССР, говорит, Евангелия нигде достать нельзя, ты, говорит, прикажи своим чекистам, они тебе его достанут!» Но я, — вспыхнул он весь, — я не хочу, чтобы... чекисты! Я хочу, чтобы вы... Чтобы — у вас! А вот у вас тоже нету!..

— У Софьи Дмитриевны есть! — вдруг даже радостно вспомнила и догадалась Евлалия Григорьевна.

— У Софьи Дмитриевны? — тоже обрадовался Любкин. — Вот как это хорошо! До чего ж оно хорошо! Именно у Софьи Дмитриевны, именно у нее! А та стерва говорит: «Прикажи чекистам, чтобы они Евангелие»... Не хочу у чекистов! — с диким и злобным упрямством взметнул он головой. — Хочу у Софьи Дмитриевны! Она... она ведь «очень в Бога верит»...

— Я сейчас, сейчас схожу. Подождите!

Евлалия Григорьевна быстро вышла, почти выбежала из комнаты. Любкин посмотрел ей вслед. «Ишь ты! И идет-то как легко!» Он грузно прошелся по комнате, не в силах свалить с себя тяжесть, и бесцельно подошел к окну. «Ну, а будет мне теперь что-нибудь за стерву? — вспомнил и подумал он. — Смешно будет, если мне за нее дело пришьют: сколько народу угробил, и — ничего, а за стерву — отвечать? Да нет! — уверенно отмахнулся он. — Не станут они дурака валять! Кому это надо? Для чего?»

Он вернулся назад к столу и остановился в отупении. Вчерашнее письмо, которое бросила на стол Евлалия Григорьевна, услышав его звонок, раскрытое

лежало перед ним. Он, как-то не думая о том, что это — чужое письмо, взял его и стал читать. По первой странице ничего не понял, перевернул последнюю и глянул на подпись, но, вместо подписи, стояло: «Презирающий и ненавидящий тебя». Тогда он сразу все понял и стал очень быстро читать с самого начала, торопясь дочитать, пока не возвратится Евлалия Григорьевна. Дочитал, сжал губы и бросил письмо на стол. «Сволочи!» — с напором выругался он. Большая волна поднялась чуть ли не до самого горла, стеснив и сердце и дыхание. «Вот и ее, вот и ее, настоящую-то, я в ненастоящем утопил! — в тоске подумал он, готовый не то завыть, не то наброситься на кого-то. — Ишь ты! Ишь! — со злобой сжал он кулаки. — Все настоящее ненастоящим изгадили, а сами мир перевернуть хотим! Переворот-то наш настоящий ли? Переворачивается ли переворот наш?»

Он еще раз выругался отвратительным ругательством и стиснул зубы, словно впиваясь ими во что-то. Но в это время вошла Евлалия Григорьевна с книгой в руках.

— Есть, есть! — еще в дверях крикнула она. — Вот!..

— Где же это? — выхватил у нее книгу Любкин.

— А вот тут... Закладки... Софья Дмитриевна бумажками заложила!

Любкин открыл книгу на закладке и медленно, слово за словом, прочитал с обостренной, напряженной вдумчивостью:

— «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон, на попрание людям»... Та-а-ак! — с большим значением протянул он и посмотрел перед собою так, словно что-то видел. — Та-ак! На попрание... Само собою: больше-то на что?

— И еще есть: вот здесь! — показала на другую закладочку Евлалия Григорьевна.

— Еще есть? Где?

Он, путаясь пальцем в листах книги, открыл в другом месте и прочитал, так же медленно:

— «Соль добрая вещь, но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль»...

— И еще! И еще! — словно радуясь чему-то, показала Евлалия Григорьевна. — Вот тут, от Луки.

Любкин прочитал еще:

— «Соль добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!» — По-ни-маете вы? — с многозначительной расстановкой спросил он, закладывая пальцем книгу. — «Да слышит!» А если он никак не хочет слышать, нарочно не хочет? И ушей даже не затыкает, а вот просто не слышит, да и шабаш! Что ж с ним тогда делать? Он хоть и слышит, но не слышит, потому что — «не подходит, дескать, оно ко мне, не нужно оно мне!» Тогда что с ним делать? В навоз его? Он такое про себя думает, будто он — соль земли, а того совсем не видит, что в его соли солоности нет. Значит, — в навоз его! На попрание людям!

Евлалия Григорьевна тихо обошла вокруг стола и села сбоку от него. Она не хотела на него смотреть, а, тем более, всматриваться, но все время ловила себя на том, что все же смотрит. А он даже не видел ее, думая о своем и переживая только свое. Потом он передернул губами и тупо показал пальцем на лежавшее перед ним вчерашнее письмо.

— Стало быть, к Чубуку-то... К Чубуку-то вам, выходит, возвращаться нельзя? Заклюют? Ну, да это не важно! Я...

— Но ведь это же неправда! Вы же знаете, что это неправда! — страстно рванулась к нему Евлалия Григорьевна. Она даже не спросила себя, почему он

знает то, что написано в письме, и ничуть не смутилась от того, что он все это знает.

— Конечно, неправда! — с горькой злобой подтвердил Любкин. — Да суть теперь не в этом, не в этом! — весь скривился он и замахал руками. — Суть не в этом, а в том, что...

И Евлалия Григорьевна увидела, как боль отразилась в его глазах.

— В том суть, что все это ведь я наделал! — ткнул он пальцем в письмо. — Не само оно вышло, а я, я наделал! Хотел и старался, как бы получше для вас было, нарочно с Чубуком сговаривался да разные планы придумывал, чтобы и от работы вас освободить и зарплату вам увеличить, а оно вон куда все повернуло: в яму! Да почему ж оно так? — даже всплеснул он руками, с непередаваемой тоской в глазах и в голосе. — Почему у меня все так обратно получается? Хочу, чтобы — хорошо, а выходит — плохо. С Чубуком — плохо, с отцом вашим — плохо и... И с коммунизмом — плохо! Почему? Проклят я , что ли? Заклятье на мне лежит, что ли? Большевистский чорт, что ли, водит мною? Не можешь ты, говорит, ничего хорошего сделать, и обязательно хорошее у тебя на плохое перекинется! Так, что ли? За что угольщик не возьмется, все черным сделает. И большевик, выходит, тоже так? Конечно, так! А почему оно так, про это... про это ни у Ленина, ни у Сталина не сказано!.. Вот и живи, коли так! Вот и... беги! — совсем непонятным для Евлалии Григорьевны словом закончил он.

— Что... с отцом? — боясь своего вопроса, спросила Евлалия Григорьевна. — Что с отцом у вас вышло?

Что-то говорило в ней, что про это не надо спрашивать, но она все же спросила, потому что никак не могла не спросить.

— С отцом вашим? — отводя от нее глаза, ответил Любкин. — Вы меня за него, конечно, прокля-

тьем проклинаете, но ведь я... Я по-хорошему хотел! Я ведь его тогда у вас чуть не по первому взгляду узнал, потому что — бородка эта у него приметная такая. Вижу: наш сотрудник, видал я его там, у нас... Ну, а потом мне про него кое-что рассказали, да и справки я о нем навел: о нем ведь у нас всё знают, за такими мы ведь особенно следим. Ну, и определил я, каков он есть. И, стало быть, захотел... Для вас же по-хорошему захотел, чтобы для вас же хорошо было. Молчите! Молчите! — крикнул он в ответ на ее негодующее движение и даже поднял руку, останавливая ее. — Все знаю! Вы по-своему рассуждаете и чувствуете, а я — по-своему. Вы — по-настоящему, а я — по-ненастоящему. Разве я иначе умею? Я же — большевик! Вижу, что кроме вреда, ничего вам ваш отец не приносит, я и приказал арестовать его.

— Вы? — вся похолодев, слабо вскрикнула Евлалия Григорьевна. — Это... вы? Нарочно?

— Не нечаянно же! — с мрачной дерзостью усмехнулся прямо ей в глаза Любкин. — Неправильно разве? Несправедливо? — вызывающе бросил он.

Евлалия Григорьевна молчала: у нее не было ни одного слова.

— Неправильно? Несправедливо? — еще раз настойчиво повторил Любкин, но никакого вызова в его голосе уже не было, а звучала в нем только пытливость, словно он хотел именно для себя разрешить эту загадку: правильно ли и справедливо ли поступил он?

— По-моему, оно... вполне целесообразно! — с небольшой запинкой выговорил Любкин это слово и тут же рассердился на него. — Целесообразно! — несильно хлопнул он ладонью по столу. — А если целесообразно, значит, и справедливо! — так горячо сказал он, как будто хотел убедить не только ее, но (главное!) себя. — Ведь я, — сразу перешел он на другое, — ведь я особенного зла не хотел вашему

отцу, это я вам правду говорю. Я так сделал бы, чтобы его сослали, да не на Колыму и не в Воркуту, а куда-нибудь полегче, и чтобы он помаленьку работал там. Вот и все! Но только я между делом не доглядел, без внимания его оставил, и в этом я, конечно, перед ним и перед вами виноват. То ли я забыл, то ли не подумал тогда... Тогда у меня, надо вам знать, такие дела крутились, что... Не отметил я его, и он моим ребятам в руки попался, а те... Ну, те, конечно, нехорошо с ним поступили... целесообразно поступили! — криво усмехнулся он. — Я всего того, что с ним там сделали, даже и не знал, правду вам говорю. И думал я тогда, что вы особенно против всего этого возражать не станете, а в глубине души даже и рады будете, что с ваших плеч скверную обузу сняли...

— Рада? — сразу задохнулась Евлалия Григорьевна. — Рада?

— Ну... Поговорил я тогда с вами и увидел, что... ошибся я! Уж как я вас тогда искушал, как мучил, чтобы вы сказали мне: «Так и надо!» А вы — «к самому Любкину пойду!» Ну, и увидел я, что ваше настоящее никак сломать невозможно, потому что настоящее оно! И сразу же, на другое же утро, я и распорядился: немедленно освободить без последствий. А что его потом в 27-ую комнату вызывали, так это уж без меня, этого я и не знал даже, оно совсем косвенно вышло.

Евлалия Григорьевна слушала, изо всех сил стараясь не только все понять, но и все запомнить. Конечно, ей стало понятно то, что раньше казалось странным и загадочным, но чем понятнее все становилось, тем все большая тяжесть наваливалась на ее сердце.

— И вот вижу... Вижу! — продолжал Любкин, дикими скачками перепрыгивая с одного на другое. — Вижу, что лежит на мне заклятье: ничего хоро-

шего я уж сделать не могу. И ведь тогда, с самого-то начала, когда я вот вас в первый раз увидел... Меня тогда сразу ведь потянуло, без сомнения потянуло, всем нутром... А на что потянуло? Сказать? А? Сказать?

— На что? — спросила Евлалия Григорьевна, боясь, что он скажет еще что-то страшное.

— На что? Да я в ту минуту и сам не знал, как оно называется. Это я уж потом понял. На что потянуло? А на... на... на...

Одно слово, очень большое, охватило его, и у него забилось сердце от этого слова. Но непонятная сила связала его, и он никак не мог это слово выговорить. Он несколько раз судорожно хватал в себя воздух и уже готов был, совсем готов был, сказать его, это нужное слово, но тут же сковывался страхом перед ним. И наконец, поняв, что он не в силах выговорить то, что так страшно хотел выговорить, он искривился от внутренней боли и, задавив в себе нужное слово, пониженным голосом сказал другое, а не то, которое рвалось:

— Меня на... хорошее потянуло! И не для вас на хорошее, а вроде как бы для меня.

— Понимаю! — очень серьезно и очень честно ответила Евлалия Григорьевна, прямо смотря ему в глаза и не боясь своего взгляда. — Я это очень понимаю, Павел Петрович. Ваша жизнь, и вы... — немного неосторожно начала было она, но сразу же почувствовала свою неосторожность и остановила себя. — И вам добро нужно было, вам обязательно добро нужно было сделать, потому что вы... много зла делали! Я это очень, очень понимаю!

— Добро! — неудержимо сорвался Любкин, блестя глазами и весь подергиваясь, так что Евлалию Григорьевну поразило его лицо. Словно бы экстаз охватил его. — Вот-вот-вот! Вот-вот-вот! Вот это самое слово и есть! — завопил он, вскакивая на ноги

и размахивая руками. — Настоящее это слово, совсем настоящее! Его-то я сейчас и хотел сказать, всеми силами хотел, но только никак оно у меня не говорилось! Вот никак не говорилось, ни за что! Словно вот — «слава Богу» дьяволу не говорится! И раньше... и раньше... Тоже! Помнишь? Сказал я, что «и я, может быть, могу», а что именно — «могу», и сказать не в силах был. Добро могу сделать! На добро меня потянуло! Вот! И я... Я никак это слово выговорить не смел, а ты... легко его сказала! Как солнышко! Почему? — чуть ли не с рыданием всплеснул он руками. — Почему я не мог, а ты вот смогла? Что такое? Неужто ж слово-то это совсем уж не для меня? Даже слово не для меня! И права я на него не имею, что ли? Да неужто, — с больным отчаяньем воскликнул он, — неужто я и впрямь на него право потерял? Отказался я от него, продал за чечевичную похлебку, а оно и ушло от меня... Так? Ушло? А я, стало быть... я... на по-пра-ние!

Спазма перехватила ему горло, и он только усилием преодолел ее. Потерянный стоял он, ища выхода, который, казалось, хоть и был перед ним, но все же не давался. Он взглядывал на Евлалию Григорьевну со страшной силой надежды, но тут же опускал глаза, потому что боялся спросить себя: а может ли он надеяться?

— Я ведь уезжаю... Я ведь скоро уезжаю, насовсем уезжаю! — опять заторопился Любкин. — И это я к вам попрощаться зашел, потому что больше, может, и зайти не удастся. Вот я и хочу... Хочу, чтобы вы мне вашей силы дали, настоящей, соленой... Я ведь до такой точки дошел, что вот слова «добро» не мог сказать! Только хоть бы сказать, и то не мог... А! — в отчаянии махнул он рукой. — Одно, значит, и остается: на попрание!

— Павел Петрович! Господи! — не помня себя, вдруг вся встрепенулась Евлалия Григорьевна и схва-

тила его за оба локтя. Она знала, что он — убийца, и что эти руки убили, но об этом она даже не думала. На нем была кровь, и она знала, что на нем — кровь, но это, странным образом, не пугало ее, а пугало ее другое: то, что он не мог даже выговорить слово «добро». В этом она видела что-то такое большое и такое ужасное, что она не могла даже охватить это. Широко раскрытыми глазами засматривала она ему в глаза и не то искала в них что-то, не то сама давала им что-то. Он с жадностью, с восторгом, даже с каким-то упоением впивал в себя ее взгляд и чувствовал, как он сам все больше и больше слабеет.

— Го... Го... Голубенькая! — неслышным всхлипом пробормотал он, но с такой нежностью пробормотал, что слезы сдавили горло, и он едва успел удержать их.

— Это ничего! Это ничего! — бессвязно заговорила Евлалия Григорьевна, не отводя от него глаз. — Вы... Вам... Вы ведь потеряли что-то, вы что-то очень нужное потеряли, и не сейчас, а когда-то, давно потеряли, еще перед тем, как... Но вы найдете, потому что то, что вы для меня сделали... Нет, нет! — вдруг даже обрадовалась она, поймав нужную мысль. — Нет, не то, что вы «для меня» сделали, а то, «почему» вы для меня все это сделали!.. Понимаете? Понимаете? Ведь оно как раз и есть настоящее!

Он, не отрываясь от ее глаз и тоже схватив ее за руки, ловил каждое слово. Ни в одном ее слове не было ничего большого и значительного, даже смысла, может быть, не было, но когда перед ним промелькнуло проклятое слово «беги», которое еще вчера так издевалось над ним, он не испугался его и не смутился перед ним. Так иногда даже небольшой камень на рельсе может сбросить с рельс тяжелый поезд, если этот поезд мчится с безумной скоростью. А

разве не с безумной скоростью, разве не с безумием мчался по нечеловеческим рельсам Любкин?

— И вы от себя не уходи́те! — и просила и уверяла Евлалия Григорьевна, не зная, чего она просит и в чем уверяет. — Не уходи́те! Вот куда оно вас ведет, то что в вас сейчас, вы туда и идите: не бойтесь его! Я не поняла, что вы тут говорили, я многого не поняла, но ведь вы же видите настоящее, вы же видите, где оно!..

— Так, стало быть, бежать? — неожиданно спросил Любкин, удивительно остро чувствуя и ясно понимая это «стало быть».

— Куда бежать? Зачем? — удивилась Евлалия Григорьевна.

— Нет, это я так... — с болью нахмурился он. — Это я на свое... Потому что я так думал, будто мне бежать не с чем и некуда, а вы говорите, что... Я ведь знал, я ведь всегда знал, только не хотел знать, прятал от себя, и сам прятался. А оно — настоящее!

— Что вы знали? Что — настоящее?

— Машинка эта пишущая и... и вообще! Настоящее оно! А все другое — что ж? «Суперфляй»! — со страшной злобой вспомнил он. — Ну, уж ладно! Уж я теперь... Я уж теперь...

Он грузно опустился всем телом на стуле, с трудом продумывая что-то.

— Вы... Вы не бойтесь! — сказал он, овладевая собой и своими мыслями. — Я, конечно, уезжаю, и вы одна остаетесь, но я это все уж обдумал. Еще когда из Москвы ехал, так это я в вагоне обдумал, потому что оставить мне вас без поддержки никак невозможно: не отобьетесь вы. Но тут, вместо меня, Супрунов останется, а он — все равно, что я для вас будет. Я ему все скажу. С ним не пропадете. И это вот все... машинка и переписка... это все за вами, за вами сохранится: ваше! Ну, Супрунов вам, конечно, подходящую работу найдет, не у Чубука. А если

что-нибудь случится, то вы не сомневайтесь и прямо к Супрунову идите: он поддержит. Обязательно идите, не бойтесь. Хотели же вы «к самому Любкину» идти! — с горечью вспомнил он.

— Вы... Вы... — слегка рванулась к нему Евлалия Григорьевна, но он отстранил ее движение и ее слова.

— Вот, стало быть, и все. Я через неделю уеду, но к вам я еще зайду: с Супруновым. Из рук в руки передам. А Софье Дмитриевне вы от меня кланяйтесь, обязательно кланяйтесь! И за «соль» поблагодарите. Спасибо, мол! А я... Я пойду сейчас!

Он схватил ее за руку, но не так, как берут руку при встрече, а схватил за пальцы, поперек пальцев. Что есть силы сдавил (это было очень больно, но она не заметила боли) и весь передернулся. Кажется, хотел сказать еще что-то, но не сказал ничего, а вышел в коридор. Пошел тяжелыми шагами, как бы падая, и, не оборачиваясь, вышел на лестницу. Евлалия Григорьевна подождала, пока он не спустится с первого пролета, и только тогда закрыла дверь: очень осторожно, стараясь не стукнуть. И сразу же почувствовала, что стоит в полном смятении, в таком большом смятении, которое спутало в ней все ее мысли и чувства. Она очень быстро, почти бегом, пошла назад, но не зашла в свою комнату, а (на самом деле уже бегом) побежала к Софье Дмитриевне. Вбежала, схватила ее за плечи и, не в силах сдерживать себя, разрыдалась.

— Что такое? Что такое? — забеспокоилась Софья Дмитриевна. — Случилось что-нибудь? Что такое случилось?

— Он такой несчастный! Он такой несчастный! — сквозь рыдания судорожно вырвалось у Евлалии Григорьевны.

— Кто? Кто несчастный? Семенов этот?

— Он не Семенов... Он...

— Да сядьте же, сядьте! Успокойтесь! И что оно такое? Что оно такое, Господи!

Евлалия Григорьевна, сдавливая рыдания, бессвязно и путанно, сама плохо понимая, стала рассказывать Софье Дмитриевне «все», но у нее получалось так, что рассказывать было почти нечего: Семенов на самом деле — Любкин, и он уезжает «насовсем», вот и все. Остальное же было неясным и бесформенным, так что о нем и рассказать было нельзя, и Евлалия Григорьевна только путалась в словах. Она то говорила, что «он несчастный», то уверяла, что он «в папиной смерти не виноват», то хотела что-то объяснить про «соль», то пугалась, потому что его «на смерть посылают». Вспомнила про то, что она «на какую-то Евлалию похожа», и про то, что «машинка у меня останется»... Говорила бессвязно, сбивчиво, сумбурно и все уверяла, что ему «добра, добра хочется». О том же, в чем он сознался («женщину убил!»), она промолчала: то ли не вспомнила, то ли скрыла. Софья Дмитриевна слушала и, конечно, ничего не могла понять из ее слов, но, не понимая слов, она понимала сущность.

— Несоленая соль? Большевистская-то соль несоленая? В навоз ее бросить? — с очень большим одобрением переспросила она. — Та-ак!

— Да, он все об этом говорил! — сдерживая уже утихшие рыдания, сказала Евлалия Григорьевна. — «Ненастоящее», говорит!..

— Ненастоящее? — сурово нахмурилась Софья Дмитриевна. — Самое оно ненастоящее... Ничего настоящего в нем быть не может, потому что из злобы оно вышло и к злобе идет. Самое оно из всех ненастоящих ненастоящее!

— Да!.. И «меня, говорит, на смерть посылают, но я убегу!»

— Убегу? Это он не от смерти... Это он от чего-то другого убежать хочет.

Евлалия Григорьевна утихла и только вздрагивала плечами. И перед нею стало связываться в одно все то, что только что говорил Любкин. И когда связалось оно, то перед ее глазами неясно поднялось что-то большое, бесформенное, смутно напоминающее своими очертаниями человеческую фигуру, темное и зловещее, отсвечивающее кровью и ухмыляющееся ухмылкой давящей уверенности в себе.

— Софья Дмитриевна! — вся затрепетала она, хватая старуху за плечи и прижимаясь к ней. — Мне страшно!

Софья Дмитриевна ничего не ответила, а только нервно сжала ее руку.

— Мне страшно!.. Что погубило Вадю и папу? Что погубило и... его самого, Любкина? Что нас всех губит?

Софья Дмитриевна молчала, пожевывая губами. Потом вздохнула.

— А этого я не знаю... — медленно и тихо сказала она, наконец. — Навалилось оно на всех и давит, а что оно такое, я не знаю. И выходит так, вижу я теперь, что оно даже и на них самих давит, на тех, которые взвалили... Их, выходит, оно тоже раздавливает. Значит, оно такое, что оно только давить может, а больше оно ничего не может! Ну, и... Ну, и...

Она на секунду остановилась.

— Ну, а если так, то оно само себя задавит, не иначе! — очень уверенно закончила она.

А Евлалия Григорьевна все прижималась к ней.

КОНЕЦ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.
341